НОВЫЙ ЖУРНАЛ

XII

НЬЮ-ЙОРК

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатель М. О. ЦЕТЛИН

THE NEW REVIEW
RUSSIAN QUARTERLY

под редакцией
М. М. КАРПОВИЧА

XII

НЬЮ-ИОРК
1946

ОГЛАВЛЕНИЕ:

И. А. Бунин. — Месть 5
Б. К. Зайцев. — Путешествие Глеба 15
М. А. Алданов. — Истоки 48
В. С. Яновский. — Американский опыт 115

СТИХИ:

Ю. Балтрушайтис. — Мой щит. Слухом Новым. Вехи. Come le Onde. Стихотворения в 4 строчки 140

ВОПРОСЫ ДНЯ:

Ю. П. Денике. — Защита цивилизации 146
П. А. Берлин. — Руссификация интернационализма 160

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

В. А. Александрова. — И. А. Бунин 168
От Редакции. — Юбилей Бунина 178
А. Шик. — Гоголь в Ницце 179

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ:

В. А. Маклаков. — Перед Второй Думой 193
Вл. Новиков. — Встречи с советскими подданными 207
Б. И. Николаевский. — Как Япония вошла в войну 223
Б. П. Бабкин. — Политические взгляды И. П. Павлова 254
В. А. Оболенский. — Памяти П. П. Юренева 269
Н. К. Авьерино. — Памяти А. И. Зилоти 278
Н. В. П. — Академик А. Е. Чичибабин 281

БИБЛИОГРАФИЯ:

Анри Грегуар. — Византиноведение в Советской России 287
М. М. Карпович. — В. А. Маклаков. Первая Государственная Дума (воспоминания современника) 302
Н. С. Тимашев. — G. Gafenco. Préliminaires de la guerre à l'est. 306
М. В. Вишняк. — P. de Azcarate. League of Nations and National Minorities. — H. Lauterpacht. An International Bill of the Rights of Man 308
М. К. — Alexander Barmine. One Who Survived. 311

В ближайшем номере «Нового Журнала» появятся некролог Л. Е. Эльяшева, рассказ В. С. Варшавского, статьи С. П. Мельгунова, (о декабристе Лунине), И. М. Хераскова (о демократии), рецензия о воспоминаниях проф. В. Н. Ипатьева, не вошедшие в эту книгу.

Как уже было доведено до сведения подписчиков, «Новый Журнал», начиная с текущего года, выходит четырьмя книгами по 304 страницы в год (вместо прежних трех книг по 400 страниц).

МЕСТЬ

В пансіонѣ в Каннах, куда я пріѣхал в концѣ августа с намѣреніем купаться в морѣ и писать с натуры, эта странная женщина пила по утрам кофе и обѣдала за отдѣльным столиком с неизмѣнно сосредоточенным и мрачным выраженіем, точно никого и ничего не видя, а послѣ кофе куда-то уходила почти до вечера. Я жил в пансіонѣ уже с недѣлю и все еще с интересом посматривал на нее: черные густые волосы, крупная черная коса, обвивающая голову, сильное тѣло в красном с черными цвѣтами платьѣ из кретона, красивое, голубоватое лицо — и этот мрачный взгляд... Подавала нам эльзаска, дѣвочка лѣт пятнадцати, но с большими грудями и широким задом, очень полная удивительно нѣжной полнотой, на рѣдкость глупая и милая, на каждое слово расцвѣтающая испугом и улыбкой; и вот, встрѣтив ее однажды в коридорѣ, я спросил:

— Dites, Odette, qui est cette dame?

Она, с готовностью и к испугу и к улыбкѣ, вскинула на меня большіе голубые глаза:

— Quelle dame, monsieur?

— Mais la dame brune là-bas?

— Quelle table, monsieur?

— Numéro dix.

— C'est une russe, monsieur.

— Et puis?

— Je n'en sais rien, monsieur.

— Est-elle chez vous depuis longtemps?

— Depuis trois semaines, monsieur.

— Toujours seule?

— Non, monsieur. Il y avait un monsieur...

— Jeune, sportif?

Copyright 1946 by the New Review. All rights reserved.

— Non, monsieur. Très pensif, nerveux...

— Et il a disparu un jour?

— Mais oui, monsieur...

«Так, так! — подумал я. — Теперь кое-что понятно. Но куда это исчезает она по утрам? Все его ищет?»

На другой день, вскорѣ послѣ кофе, я, как всегда, услыхал в открытое окно своей комнаты хруст гальки в садикѣ пансіона, выглянул — она, с раскрытой, как всегда, головой, под зонтиком того-же цвѣта, что и платье, куда-то уходила скорым шагом в красных эспадрильях. Я схватил трость, канотье и поспѣшил за ней. Она, из нашего переулка, повернула на бульвар Карно. — я тоже повернул, надѣясь, что она в своей постоянной сосредоточенности не обернется и не почувствует меня. И точно — она ни разу не обернулась до самаго вокзала. Не обернулась и на вокзалѣ, входя в купе третьеклассnаго вагона. Поѣзд шел в Тулон, я на всякій случай взял билет до Сэн-Рафаэля, поднялся в сосѣднее купе. Ѣхала она, очевидно, недалеко, но куда? Я высовывался в окно в Напулѣ, в Тэулѣ... Наконец, высунувшись на минутной остановкѣ в Трэйясѣ, увидал, что она идет уже к выходу со станціи. Я выскочил из вагона и опять пошел за ней, держась однако в нѣкотором отдаленіи. Тут пришлось идти долго — и по извивам шоссе вдоль обрывов над морем и по крутым каменистым тропинкам сквозь мелкій сосновый лѣс, по которым она сокращала путь к берегу, к заливчикам, изрѣзывающим берег в этой скалистой, покрытой лѣсом и пустынной мѣстности, этот скат прибрежных гор. Близился полдень, было жарко, воздух неподвижен и густ от запаха горячей хвои, нигдѣ ни души, ни звука, — только пилили, скрежетали цикады, — открытое к югу море сверкало, прыгало крупными серебряными звѣздами... Наконец она сбѣжала к зеленому заливчику между сангвиновыми утесами, бросила зонтик на песок, быстро разулась, — была на босу ногу, — и стала раздѣваться. Я лег на каменистый отвѣс, под которым она разстегивала

свое мрачно-цвѣтистое платье, глядѣл и думал, что, вѣрно, и купальный костюм у нея такой-же зловѣщій. Но никакого костюма под платьем не оказалось, — была одна короткая розовая сорочка. Скинув и сорочку, она, вся коричневая от загара, сильная, крѣпкая, пошла по голышам к свѣтлой, прозрачной водѣ, напрягая красивыя щиколки, подергивая крутыми половинками зада, блестя загаром бедр. У воды она постояла, — должно быть, щурясь от ея ослѣпительности, — потом зашумѣла в ней ногами, присѣла, окунулась до плечей и, повернувшись, легла на живот, подтянулась, раскинув ноги, к песчаному прибрежью, положила на него локти и черную голову. Вдали широко и свободно трепетала колючим серебром равнина моря, замкнутый заливчик и весь его скалистый уют все жарче пекло солнце, и такая тишина стояла в этой знойной пустынѣ скал и мелкаго южнаго лѣса, что слышно было, как иногда набѣгала на тѣло, ничком лежащее подо мной, и сбѣгала с его сверкающей спины и крупных раздвинутых ног сѣть мелкой стеклянной зыби. Я, также лежа на груди и выглядывая из-за камней, все больше тревожился видом этой великолѣпной наготы, все больше забывал нелѣпость и дерзость своего поступка, приподнялся, закуривая от волненія трубку, — и вдруг она тоже подняла голову и вопросительно уставилась на меня снизу вверх, продолжая однако лежать как лежала. Я встал, не зная, что дѣлать, что сказать. Она заговорила первая:

— Я всю дорогу слышала, что сзади меня кто-то идет. Почему вы поѣхали за мной?

Я рѣшился отвѣчать без обиняков:

— Простите, из любопытства...

Она перебила меня:

— Да, вы, очевидно, любознательны. Odette мнѣ сказала, что вы разспрашивали ее обо мнѣ, я случайно слышала, что вы русскій, и потому не удивилась — всѣ русскіе не в мѣру любознательны. Но почему все таки вы поѣхали за мной?

— В силу все той-же любознательности, — в частности и профессіональной.

— Да, знаю, вы живописец.

— Да, а вы живописны. Кромѣ того, вы каждый день куда-то уходили по утрам и это меня интриговало, — куда, зачѣм? — пропускали завтраки, что не часто случается с жильцами пансіонов, да и вид у вас был всегда не совсѣм обычный, на чем-то сосредоточенный. Держитесь вы одиноко, молчаливо, что-то как будто таите в себѣ... Ну, а почему я не ушел, как только вы стали раздѣваться...

— Ну, это-то понятно, — сказала она.

И, помолчав, прибавила:

— Я сейчас выйду. Отвернитесь на минутку и потом идите сюда. Вы меня тоже заинтересовали.

— Ни за что не отвернусь, — отвѣтил я. — Я художник и мы не дѣти.

Она пожала плечом:

— Ну, хорошо, мнѣ все равно...

И встала во весь рост, показывая всю себя во всей своей женской силѣ, неспѣша пробралась по галькѣ, накинула на голову свою розовую сорочку, потом открыла в ней свое серьезное лицо, опустила ее на тѣло. Я сбѣжал к ней и мы сѣли рядом.

— Кромѣ трубки, у вас есть, может быть, и папиросы? — спросила она.

— Есть.

— Дайте мнѣ.

Я дал, зажег спичку.

— Спасибо.

И, затягиваясь, она стала глядѣть в даль, пошевеливая пальцами ноги, не оборачиваясь; иронически сказала вдруг:

— Так я еще могу нравиться?

— Еще бы! — воскликнул я. — Прекрасное тѣло,

чудесные волосы, глаза. Только очень уж недоброе выраженіе лица.

— Это потому, что я, правда, занята одной злой мыслью.

— Я так и думал. Вы с кѣм-то недавно разстались, кто-то вас оставил...

— Не оставил, а бросил. Сбѣжал от меня. Я знала, что он пропащій человѣк, но я его как-то любила. Оказалось, что любила просто негодяя. Встрѣтилась я с ним мѣсяца полтора тому назад в Монте Карло. Играла в тот вечер в Казино. Он стоял рядом, тоже играл, слѣдил сумасшедшими глазами за шариком и все выигрывал, выиграл раз, два, три, четыре... Я тоже все выигрывала, он это видѣл и вдруг сказал: «Шабаш! Assez!» и повернулся ко мнѣ: «N'est ce pas, madame?» Я, смѣясь, отвѣтила: «Да, шабаш!» — «Ах, вы русская?» — «Как видите.» — «Тогда идем кутить!» Я посмотрѣла — очень потрепанный, но изящный с виду человѣк... Остальное нетрудно угадать...

— Да, нетрудно. Почувствовали себя за ужином близкими, говорили без конца, удивились, когда настал час разставаться...

— Совершенно вѣрно. И не разстались и начали проматывать выигранное. Жили в Монте Карло, в Тюрби, завтракали иногда в кабаках на дорогѣ между Каннами и Ниццей, — вы, вѣрно, знаете, что́ это стоит! — жили одно время даже в отелѣ на Cap d'Antibes, притворяясь богатыми людьми... А денег оставалось все меньше и меньше, поѣздки в Монте Карло на послѣдніе гроши кончались крахом... Он стал куда-то исчезать и возвращаться опять с деньгами, хотя привозил пустяки — двѣсти, сто, даже пятьдесят франков... потом гдѣ-то продал мои серьги, обручальное кольцо, — я была когда то замужем, — золотой натѣльный крест...

— И, конечно, увѣрял, что вот-вот откуда-то получит какой-то большой долг, что у него есть знатные и состоятельные друзья и знакомые.

— Да, именно так. Кто он, я точно и теперь не знаю. Он избѣгал говорить подробно и ясно о своей прошлой жизни, и я как-то невнимательно относилась к этому. Ну, обычное прошлое многих эмигрантов: Петербург, служба в блестящем полку, потом война, революція, Константинополь... В Парижѣ, благодаря прежним связям, будто-бы устраивался и всегда может устроиться очень недурно, а пока — Монте Карло или же постоянная возможность, как он говорил, перехватить в Ниццѣ у каких-то титулованных друзей... Я уже падала духом, приходила в отчаянье, но он только усмѣхался: «Будь спокойна, положись на меня, я уже сдѣлал нѣкоторые серьезные демарши в Парижѣ, а какіе именно, это, как говорится, не женскаго ума дѣло...»

— Так, так...

— Что так?

И она вдруг обернулась ко мнѣ, сверкнув глазами, далеко швырнув потухшую папиросу:

— Вас все это потѣшает?

Я схватил и сжал ея руку:

— Как вам не стыдно! Вот я напишу вас Медузой или Немезидой!

— Это богиня мести?

— Да, и очень злая.

Она печально усмѣхнулась:

— Немезида! Уж какая там Немезида! Нѣт, вы хорошій... Дайте еще папиросу. Выучил курить... Всему выучил.

И, закурив, опять стала смотрѣть вдаль.

— Я забыл вам сказать еще то, как я был удивлен, когда увидал, куда вы ѣздите купаться, — цѣлое путешествіе каждый день и с какою цѣлью? Теперь понимаю: ищете одиночества.

— Да...

Солнечный жар тек все гуще, цикады на горячих, пахучих соснах пилили, скрежетали все настойчивѣй,

яростнѣй, — я чувствовал, как должны быть накалены ея черные волосы, открытыя плечи, сказал:

— Перейдемте в тѣнь, уж очень жжет, и доскажите мнѣ вашу печальную исторію.

Она очнулась, встала и мы обошли полукруг заливчика и сѣли в свѣтлой и знойной тѣни под красными утесами. Я опять взял ея руку и оставил в своей. Она точно не замѣтила этого.

— Что ж тут досказывать, — сказала она. — Мнѣ уж как-то расхотѣлось вспоминать эту исторію. Вы, вѣроятно, думаете, что я привычная содержанка то одного то другого мошенника. Ничего подобнаго. Прошлое мое тоже самое обыкновенное. Муж был в Добровольческой арміи, сперва у Деникина, потом у Врангеля, а когда мы докатились до Парижа, стал, конечно, шофером, но начал спиваться и спился до того, что потерял работу, превратился в настоящаго босяка. Продолжать жить с ним я уже никак не могла. Видѣла его послѣдній раз на Монпарнассѣ, у дверей «Доминика», — знаете, конечно, этот русскій кабачек? Ночь, дождь, а он в опорках, топчется в лужах, подбѣгает, согнувшись, к прохожим, протягивает руку за подачкой, неловко помогает, лучше сказать, мѣшает вылѣзать из такси подъѣзжающим... Я посмотрѣла, подошла — узнал, испугался, сконфузился, — вы не можете себѣ представить, какой это прекрасный, добрый, деликатный человѣк, — стоит, растерянно смотрит на меня: «Маша, ты?» Маленькій, оборванный, небритый, всеь зарос рыжей щетиной, мокрый, дрожит от холода... Я дала ему все, что было у меня в сумочкѣ, он схватил мою руку мокрой, ледяной ручкой, стал цѣловать ее и трястись от слез. Но что-же я могла? Только посылать ему иногда по сто, по двѣсти франков, — у меня в Парижѣ шляпная мастерская и я довольно прилично зарабатываю... А сюда я пріѣхала отдохнуть, покупаться — и вот... На днях уѣду в Париж. Встрѣтиться с ним, дать ему пощечину и тому подобное — очень глупая мечта и, знаете, когда я

поняла это? Вот только сейчас, благодаря вам. Стала разсказывать и поняла...

— Но всетаки как же он сбѣжал?

— Ах, в том-то и дѣло, что уж очень подло. Поселились мы вот в этом самом пансіонѣ, гдѣ мы с вами оказались сосѣдями, — это послѣ отеля-то на **Cap d'Antibes**! — и пошли однажды вечером, всего дней десять тому назад, пить чай в казино. Ну, конечно, музыка, нѣсколько танцующих пар, — я уж больше видѣть не могла без отвращенія всего этого, наглядѣлась достаточно! — однако сижу, ѣм пирожныя, которыя он то и дѣло заказывает для меня и для себя и все как-то странно смѣется, — посмотри, посмотри, говорит про музыкантов, настоящія обезьяны, как топают, кривляются. Потом открывает пустой портсигар, зовет шассера, приказывает ему принести англійских папирос, тот приносит, он разсѣянно говорит мерси, я вам заплачу послѣ чая, глядит на свои ногти и обращается ко мнѣ: «Ужас какія руки! Пойду помою...» Встает и уходит...

— И больше не возвращается.

— Да. А я сижу и жду. Жду десять минут, двадцать, полчаса, час... Представляете вы это себѣ?

— Представляю...

Я очень ясно представил себѣ: сидят за столиком, смотрят, молчат, по разному думают о своем гнусном положеніи... За стеклами больших окон вечерѣющее небо и глянец, штиль моря, висят темнѣющія перья пальм, музыканты, как неживые, топают ногами в пол, дуют в инструменты, бьют в металлическія тарелки, мужчины, шаркая и качаясь, напирают на своих дам, будто таща их к явно опредѣленной цѣли... Малый в крагах и в нѣкотором подобіи зеленаго мундира подает ему, почтительно сняв картуз, пачку «**High-Life**»...

— Ну и что же? Вы сидите...

— Я сижу и чувствую, что погибаю. Музыканты ушли, зал пустѣет, зажегся электрическій свѣт...

— Посинѣли окна...

— Да, а я все не могу подняться с мѣста: что дѣлать, как спастись? В сумочкѣ у меня всего шесть франков и какая-то мелочь...

— А он дѣйствительно пошел в уборную, сдѣлал там что нужно, думая о своей мошеннической жизни, потом на цыпочках пробѣжал по коридорам к другому выходу, выскочил на улицу... Побойтесь Бога, подумайте, кого вы любили! Искать его, мстить ему? За что? Вы не дѣвочка, должны были видѣть, кто он и в какое положеніе вы попали. Почему же продолжали эту ужасную во всѣх смыслах жизнь?

— Кого я любила? Не знаю. Была, как говорится, потребность любви, которой я по настоящему никогда не испытала... Как мущина, он мнѣ ничего не давал и не мог дать, уже давно потерял эту способность... Должна была видѣть, кто он и в какое положеніе попала? Конечно, должна, да не хотѣлось видѣть, думать — в первый раз в жизни жила такой жизнью, этим порочным праздником, всѣми его удовольствіями, жила в каком-то наваждѣніи. Зачѣм хотѣла гдѣ-то встрѣтить его и как-то отомстить ему? Опять наваждѣніе, навязчивая идея. Развѣ я не чувствовала, что кромѣ гадкаго и жалкаго скандала я ничего не могла сдѣлать? Но вы говорите: за что? А вот за то, что это всетаки благодаря ему я так низко пала, жила этой мошеннической жизнью, а главное, за тот ужас, позор, который я пережила в тот вечер в казино, когда он сбѣжал из клозета, когда я что-то лгала, вывертывалась, умоляла взять у меня в залог до завтра сумочку и когда ее не взяли и презрительно простили мнѣ и чай, и пирожныя, и англійскія папиросы! Послала телеграмму в Париж, получила на третій день тысячу франков, пошла в казино — не глядя на меня, взяли деньги, даже счетик дали... Ах, милый, никакая я не Медуза, Немезида, я просто баба и к тому же очень чувствительная! Я просто больна была всѣ эти дни с того проклятаго вечера. И просто сам Бог послал мнѣ вас, я как-то вдруг пришла в себя... Пустите руку,

пора одѣваться, скоро поѣзд из Сан-Рафаэля...

— Бог с ним, — сказал я. — Посмотрите лучше кругом на эти красныя скалы, зеленый заливчик, корявыя сосны, послушайте этот райскій скрежет.... Ѣздить сюда мы теперь будем уже вмѣстѣ. Правда?

— Правда.

— Вмѣстѣ и в Париж уѣдем.

— Да.

— А что дальше, не стоит загадывать.

— Да, да.

— Можно поцѣловать руку?

— Можно, можно...

3.6.44 **Ив. Бунин**

ПУТЕШЕСТВІЕ ГЛѢБА

ЮНОСТЬ

I

Балыковская глушь нижегородская, зима. Дом занесен снѣгом, у балкона звѣздочки слѣдов — ласка пробѣжала вороватая, прогарцовал зайчик. В дальнем углу покачивается на репеѣ овсянка, выклевывая зерна. Хладное серебро сыплется со стебля. На главной клумбѣ полузавѣянный невысокій столб, сверху розовый стеклянный шар — уродливо отражает он окрестность. Бѣло кругом, чисто, тихо. По саду, по сосновому парку пройдешь только на лыжах — но какого кристального воздуха наглотаешься!

Отец выстроил и пустил новую домну. Козла не посадил, все обошлось благополучно. Домна покойно выплавляет чугун, отец живет в теплом домѣ однообразно-покойно, ходит на завод и в контору, ѣздит в Илев, зайцев пострѣливает по порошѣ, послѣ обѣда спит в кабинетѣ. Вечерами читает или точит на токарном станкѣ перечницы, подсвѣчники деревянные, как бывало в Устах.

Из окна комнаты матери видна та самая узенькая, стройная голубятня, которую писал Глѣб акварелью. «Миленькая картинка» висит над кроватью. За голубятнею огород, другой дом в глубинѣ — все замыкается столѣтними соснами саровскими, онѣ гудят слабо, вѣчным, стеклянным тоном.

Мать подолгу сидит здѣсь — кроит, шьет... — мало-ли еще что дѣлает? Поглядывает на глѣбову кар-

тинку, а если-бы и не глядѣла, все равно о нем думала-бы. Как не думать о сыночкѣ? Началась разлука, болѣе чѣм когда нибудь. Он студент, живет один в Москвѣ, даже вот на Рождество не пріѣдет, какіе-то зачеты, чертежи, проекты. Не до Балыкова. Лиза тоже в Москвѣ. Учится в Консерваторіи. За нее менѣе страшно. А вот Глѣб? Снял комнату в другой части Москвы («да, конечно, Императорское Техническое на Коровьем Броду, в Лефортовѣ — иначе ему и нельзя!») Живет одиноко. Адрес такой странный: «Гавриков переулок». Положим, в Москвѣ все довольно странное... разныя Вшивыя горки, Собачьи площадки. Вообще герунда. (Мать говорила также: генварь).

Да. И Глѣб молодой человѣк. Такой возраст. Бог знает, куда попадет, в какую среду. Мало-ли там, в столицѣ, разных людей, кружков, студентов. Или встрѣтит легкомысленную женщину, вдову. (Мать болѣе всего боялась вдовы, которая может вполнѣ окрутить сыночку).

Послѣ обѣда она ложится на диванчик, но не спит, как отец, а просто лежит, думает, вздыхает — может быть на мгновенье дремота по ней промчится — и опять соскочит.

К шести в столовую подают самовар. На потолкѣ электрическая лампочка. В ней шестнадцать свѣчей. Она то сильнѣе свѣтит, то слегка вянет, в ритмѣ машины заводской. Но среди снѣгов нижегородских это такая роскошь!

Рыжеватая борода отца теперь с просѣдью. Он выходит нѣсколько хмурый, с полосатою отлежанной щекой, медленно пьет чай, курит, помалкивает. Мать мѣшает ложечкой в своей чашкѣ. — Надо-бы послать сыночкѣ еще пятьдесят рублей.

— Да вѣдь только что посылали?

— То за комнату и стол, но вѣдь ему надо и одѣться, и в театр иной раз пойти.

Отец курит равнодушно. Денег ему не жаль, да и

все равно, Глѣб безнадежно забалован. Хорошо еще, что порядочно учится.

Подражая воображаемым нѣмцам или чехам (отец любит развлекаться так), — отвѣчает:

— Зоглазна.

И погружается в «Русскія Вѣдомости». Узнает о тверских земствах и об «оплотах реакціи», о нижегородском губернаторѣ и преніях в Рейхстагѣ. (Там какой-то Рихтер вѣчно громит правительство).

Вечер идет тихо. Рихтер еще раз съязвит, тверскіе земцы еще раз покажут свое благородство. Может быть, заглянет фельдшерица Синельникова, попросит у матери «Русское Богатство». А может, и никто не заглянет. Мать опять будет шить, читать безконечный переводный роман («с датскаго») в «Вѣстникѣ Европы», а послѣ ужина разложит пасьянс.

Попивая из большой кружки пиво, отец станет ее поправлять. Мать лишена чувства стратегіи. Она аккуратно раскладывать карты, но разсчитывать не умѣет. «Туза, туза закладываешь, развѣ так можно?» Отец болѣзненно морщится: точно его кто обидѣл. Мать подымает на него строгіе, прекрасные и непонимающіе глаза. «Хочешь портить ряд, так по крайней мѣрѣ порти один, а не всѣ». Мать иногда слушается, иногда нѣт. И сурово поглядывая сквозь пенснэ (надѣвает его только для пасьянсов, чтенія и шитья) — ведет безнадежную свою линію.

Зимній вечер переходит в ночь. На дворѣ вызвѣздило, мороз. Бревна дома потрескивают. Лисы, зайцы поглубже зарываются в снѣг. В саровских лѣсах медвѣди Преподобнаго сосут лапу в берлогах, звѣзды раскаленно пламенѣют над вѣковыми лѣсами, снѣга леденѣют, воздух колок и вкусен как огненный напиток. Ночь идет, ночь идет над необъятным краем, уже Рождество близко, Оріон сіяет, Сиріус ломит взор синим огнем своим.

В должный час гаснет в домѣ свѣт. И отца и мать, каждаго в своей комнатѣ обымает тьма и они не слышат

уже гула сосен, стрѣльбы дерева в домѣ. Мать спит тонким сном, но в морозной этой ночи, слава Богу, не подозрѣвает, что Глѣб снял комнату именно у вдовы, и одинокой — Таисіи Николаевны Милобенской.

Гавриков переулок ничего общего не имѣет с Пречистенками и Арбатом. Гоголь, Хомяков, Аксаков не бывали тут. Но когда осенью Глѣб, выдержавши конкурсные экзамены в Императорское Техническое, проходил по переулку этому и увидѣл билетик на подъѣздѣ: «сдается комната», он менѣе всего думал о Москвѣ поэтической и старинной. Какая там поэзія! Начинаются лекціи, надо рано вставать, близко жить от Коровьяго Брода, гдѣ Училище.

На звонок отворила дама лѣт тридцати пяти, скромнаго и пріятнаго вида. Слегка робѣя показала в глубинѣ комнату — сама жила в двух смежных. Все в небольшой, тихой квартирѣ тускловатое, как бы подернутое кисеей и нѣсколько меланхолическое. Но Глѣбу показалось: жить так жить! Да, пусть и тут, не все-ли равно? Он сразу согласился. Дама-же оказалась хозяйкою, той самой вдовой, которая могла-бы скрутить сыночку.

К вечеру из гостинницы Ечкина переѣхал сюда глѣбов чемодан. Глѣб вынул и разложил книжки, бѣлье. Платье повѣсил в пустынный шкаф — началась «новая жизнь».

Она состояла в том, что Глѣб подымался в утреннем сумракѣ, умывался, старушка-Анфимьюшка подавала ему кофе, он его пил, а потом отправлялся на лекціи.

Сумрачно, хмуро! Глѣб идет переулками. Вот Нѣмецкая улица, отголосок времен петровских — а сейчас невысокіе дома, мелкое купечество, трактиры, булочныя. С ней свернешь в проулочек — и на небольшой площади, нѣсколько пониже, к Яузѣ, огромное бѣлое

зданіе: Императорское Техническое, Технологическій Институт Москвы.

Входить даже пріятно. Свѣтло, просторно, пахнет немного краской, лаком, слегка чѣм то лабораторным (но бодрым). Снуют студенты, в таких-же нарядных как у Глѣба тужурках — на плечах золотые вензеля. Здѣсь встрѣтит он и Сережу Костомарова из Калуги: вмѣстѣ держали, вмѣстѣ выдержали, поступили. Оба на химическое отдѣленіе. С прежнею жизнью Сережа — единственная связь. Все остальное новое. Нельзя сказать, чтоб было и совсѣм неинтересно. Большія аудиторіи, кафедры, приборы, черныя доски. Пробѣжит корридором профессор, полный, лысый, помахивая руками, странно раскачивая, не то вертя свое туловище. Взбѣжит на кафедру, начнет расписывать, разрисовывать по черной доскѣ чертежи — механику — с видом полугеніальнаго маніака. Сам как будто летит по этим кривым, в значках алгебраических, закидывая назад голову, постукивая в доску мѣлом: вот оно тут все, поймал за хвост!

Юноши в тужурках за ним записывают. Глѣб тоже. И никто не знает, насколько этот разсѣянный, неаккуратный, в смятых штанах, перепачканном вицмундирѣ с перхотью на воротникѣ человѣк есть свѣтило науки россійской, изобрѣтатель, предсказатель, утвердитель.

Химію слушают в другой аудиторіи. Тут окна в сторону. Яузы, рѣка не видна, но за ней лѣсистый подъем — парк Кадетскаго корпуса: старинныя желтоватыя зданія. За ними Анненгофская роща.

Приват-доцент химіи не такое свѣтило, но читает отлично — высокій, прямой, в очках, с большим лбом, по интеллигентски откинутыми назад волосами — их можно во время лекціи слегка поправлять. Ясно, толково, все пріятно. Тон бодрый и твердый.

Зато физик, в этой-же аудиторіи! Вытянутый скелет в желваках и узлах, руки в синих жилах, — что он ни говори, вынести трудно.

Во второй половинѣ дня забираются в чертежную, тоже огромную. На листах ватманской бумаги, натянутой на доску, изображают разные подшипники, разрѣзы гаек, части машин. «Чтобы сдѣлать хорошій чертеж, надо быть в душѣ художником», говорил Глѣбу в Калугѣ путейскій инженер. «Вы занимаетесь акварелью — весьма пригодится. Превосходно будете раскрашивать свои проекты. Профессора очень это цѣнят».

Может быть, насчет профессоров и был прав Александр Иванович. Но не насчет Глѣба. Как раз акварель с циркулем и нагоняла тоску. Нѣт, что-же говорить! Это не Левитан, не Рѣпин, это будущій инженер-технолог. «Кончишь Техническое, получишь отличное мѣсто колориста гдѣ-нибудь в Иваново-Вознесенскѣ».

Покорно благодарю! Неужели отец мог считать, что Глѣба занимают ситценабивныя фабрики, изученіе красок, составленіе узоров для обоев?

Глѣб унаслѣдовал, однако, здравомысленность и от отца и от матери. Надо работать и зарабатывать — надо. И заглушая в себѣ не-здравый смысл, вот покорно он ходит на лекціи, чертит чертежи, готовится к зачетам.

Возвратившись с Коровьяго Брода, обѣдает в небольшой столовой, отдѣляющей его комнату от Таисіи Николаевны. В этой столовой висит портрет покойнаго ея мужа, в спальнѣ другой, еще больше. В столовой піанино — там зеркальный шкаф, безупречное вдовье ложе под шелковым одѣялом. Висячій голубой фонарь, мелкія фотографіи на комодѣ, шкатулочки, искусственные цвѣты.

Глѣбу нравилось, что хозяйка привѣтливая и не надоѣдает разговорами. Вечером раздастся звонок — это Сережа Костомаров — она сама отворит, слышен ея негромкій голос: «Да, пожалуйста, дома. Осторожнѣе в корридорѣ, Анфимьюшка опять не зажгла лампочки» — и шаги Сережи, такого-же основательнаго, как и она. Вот это и есть знаменитая «студенческая жизнь»: слегка

застоявшійся, теплый «жилой» запах квартиры, голубой фонарь в спальнѣ Таисіи Николаевны, Сережа со своими записями лекцій и разговорами о репетиціях, за окном темный Гавриков переулок с керосиновыми убогими фонарями и в осенней тьмѣ Москвы на Коровьем Броду бѣлое зданіе, куда и завтра идти, и послѣзавтра. «Колористы в Ивановѣ-Вознесенскѣ зарабатывают по нѣсколько сот в мѣсяц»...

В воскресенье можно спать долго — Глѣб в десять еще не подымается. Конец ноября, выпал снѣг, забѣлил Москву. Смягчил, приодѣл и Гавриков переулок. Ломовики не грохочут, за окном слышен скрип саней, не раздражающій. Глѣб лежит на постели. В комнатѣ тепло, Анфимьюшка отлично натопила печку еще в темнотѣ. По потолку отсвѣт снѣга с улицы — живое, бодрое в нем. Вот узкое пятно протрусит по потолку: извозчик проѣхал в санках.

Когда Анфимьюшка подаст кофе, в пріоткрытую дверь потянет теплым запахом кухни. Таисія Николаевна уже давно копошится, ходит, присматривает. Варится суп — длинная исторія. Потом будут печь пирог: к завтраку по воскресеньям бывают Манурины, мать и дочь, родственницы Таисіи Николаевны.

Глѣбу запомнилась первая встрѣча.

Тщательно он одѣвался, чистил тужурочку свою с вензелями на плечах. Не дай Бог, чтобы вихор на головѣ торчал!

Наконец, все в порядкѣ, он вышел. В комнатѣ Таисіи Николаевны сидѣли уже гостьи. Вѣра — высокая дѣвушка лѣт двадцати семи, прямая, статная. Широкія плечи, прозрачные холодноватые глаза. Мать полнѣе. Нѣсколько горбится, в наколкѣ, на груди брилліантовая брошь.

В том, как подала ему руку Варвара Дмитріевна, слегка прищурилась, сказала: «очень пріятно», в том, как блестѣло кольцо на длинном пальцѣ Вѣры, как крѣпко и сухо подала она ему руку, было не совсѣм

привычное, не-свое. Глѣб знал, что Вѣра піанистка, кончила петербургскую Консерваторію, здѣсь с матерью проѣздом — послѣ Рождества уѣзжают заграницу. Но сейчас ни о чем этом не подумал, а ощутил дуновеніе прохлады, чего-то не вполнѣ женственнаго, почти жесткаго. Это его смущало. Но и подтягивало.

Анфимьюшка подала пирог, перешли в столовую. Глѣб сидѣл против Вѣры. Она разсѣянно осматривала комнату. Варвара Дмитріевна косилась, щурилась на хозяйку. «Таисенька, твой пирог просто прелесть. Забралась в этот Гавриков переулок и развела такое хозяйство... Молодой человѣк, она вас закармливает?» Глѣб улыбнулся. Таисія Николаевна порозовѣла. «Что ты, Варя, это обыкновенный пирог с вязигой». Вѣра ѣла охотно, не стѣсняясь и довольно просто. «Да, правда, очень вкусно».

Кладя Глѣбу второй кусок пирога — уже с грибами и ливером — Таисія Николаевна сказала:

— Вѣра, вѣдь, знаете, настоящая артистка. С золотой медалью окончила. Замѣчательно играет. Скоро концерты давать будет.

Глѣб не без важности отвѣтил:

— Я знаю, что артистка. Да если-бы и не знал, все равно, по рукам видно.

Вѣра подняла на него глаза.

— По рукам?

— Да, у вас руки уж такія — для рояля.

— А-а!

Она усмѣхнулась. Но Глѣб так прочно взял тон знатока, что улыбка не смутила его.

Варвара Дмитріевна спросила, любит-ли он музыку. Глѣб отвѣтил, что любит, но недостаточно знает. «Впрочем, я слышал нѣкоторых знаменитых музыкантов». «Кого-же именно?» «Рейзенауэра, Гофмана». «Ага, значит, вы из Гаврикова переулка и по концертам ходите»? Тут Глѣб нѣсколько осѣкся. «Нѣт, я слышал их еще в Калугѣ, учеником».

Вѣра налила себѣ воды, прозрачной и холодноватой, глотнула. Ни она, ни Варвара Дмитріевна на Калугу не обратили вниманія. Но Глѣб обратил. Счел, что марка его невысока. Студент из Калуги! Даже если прилично одѣт, в новой тужуркѣ, хорошо причесан, все-же невелика фигура. Он притих и покорно занялся куриной ножкой под рисовым соусом. Вѣра усердно обгладывала крылышко. И вдруг, поднявъ глаза, точно впервые Глѣба увидѣла, спросила: «А это что у вас на погонах за вензеля?» Глѣб объяснил, очень скромно: Императорское Техническое Училище, он будущій инженер. «Ну, да это все неинтересно».

Вѣра обтерла губы салфеткой. «Почему-же неинтересно? Дѣло и дѣло, как всякое другое. Отлично будете зарабатывать. Это самое важное».

Глѣб был нѣсколько удивлен. От артистки ждал другого. Всетаки было пріятно, что она не смотрит на него свысока. Впрочем, хоть внѣшне мог он и очень смущаться, но внутри крѣпость со рвами и бастіонами сидѣла, он чувствовал себя в ней довольно прочно, и хоть студент-химик из Калуги, но и сам с усам, никому поддаваться не намѣрен.

Да Вѣра его и не задѣвала. Они обмѣнялись всего нѣсколькими фразами, в тонѣ вѣжливо-сдержанном. Когда Глѣб на минуту вышел за пепельницей, Варвара Дмитріевна подмигнула хозяйкѣ. «Гдѣ ты этого студентика выудила?» «Ах, ну просто зашел и снял комнату» — Таисія Николаевна опять покраснѣла: ее вообще-то смущало, что вот у ней, одинокой вдовы, живет молодой человѣк.

Послѣ кофе Вѣра сѣла к піанино, такая-же прямая, высокая, покойная. Свѣт из окна падал прямо ей в глаза, они стали еще прозрачнѣе, но не теплѣе. Глѣб сидѣл в углу, спиной к свѣту и видѣл ее всю, отлично. Когда длиные пальцы неслись по клавіатурѣ, глаза продолжали быть безстрастны. Руки напомнили Софью Эдуардовну — вызывали нѣкоторое сочувствіе. Но Вѣра

играла не так, как та. Кто лучше? Он не рѣшился-бы сказать. Как виртуозка навѣрно — эта. Но с той связаны были дѣтство, нѣжность, с музыкою ея — поэзія. В Вѣрѣ поэзіи он не ощутил. Холодный, сіяющій блеск шел и от клавишей, и от нея самой, от летящаго, тонкаго бисера звуков. Он слушал с интересом. Что то бодрило, укрѣпляло его.

.....

Перед окном матери на кусту сидѣла синичка, все встряхивалась, охорашивалась, играла пестреньким своим, с желтизною и сизым, тѣльцем. Вѣтка качалась, осыпая снѣг. Балыковскій сад сребристо и безмолвно занесен был этим снѣгом. Тишина — и среди сосен саровских, и в самом домѣ.

Час предобѣденный. Отец еще не вернулся, мать только что получила два письма из Москвы, сидит в креслѣ у окна, в пенснэ, под игры синички медленно эти письма перечитывает. Глѣб пишет коротко, суховато: жив, здоров, много учится. С ним на одном курсѣ Сережа Костомаров. Квартирой и столом доволен... Мать вздохнула. Глѣб всегда такой был. Развѣ от него узнаешь что нибудь? Все в себѣ. (Она забывала только, что сама именно такая-же).

Лиза другой человѣк и письмо ея иное. «Милая мамочка, я так по тебѣ соскучилась, хочется вас обоих повидать...» Ну, это все очень хорошо, у Лизы нѣжное сердце, но повидаться, конечно, не так просто.

Квартира ея на Арбатѣ, она поселилась с подругой, какой-то Вилочкой Косминской, тоже консерваторкой. «Глѣба вижу рѣдко. Он очень занят, да и я тоже. Притом, он устроился далеко, за Разгуляем («какія в этой Москвѣ названія!») А всетаки в прошлое воскресенье мы с Вилочкой к нему собрались. У него довольно хорошая комната, он снимает ее у одной вдовы, г-жи Милобенской. Нам у него понравилось, хотя мѣстность

там скучная, живет он одиноко, мало с кѣм встрѣчатеся. Хозяйка его милая и простая. Мы его звали к себѣ, чтобы чаще приходил, у нас всетаки веселѣе, бывают университетскіе студенты, вмѣстѣ ходим в театр. Глѣбу, по моему, одиноко жить там. Настроеніе у него неважное, но ты сама, мама, знаешь, что от него трудно добиться чего нибудь болѣе яснаго».

Синичка улетѣла, ныряя в воздухѣ. Мать сняла пенснэ, отложила письмо на столик и встала. Лицо ея было задумчиво, выражало заботу. Она не замѣтила, как в дверь просунулась вязанка дров, косолапый мужик Аверьян, в полушубкѣ и валенках, с размаху грохнул ее у печки. Мать вздрогнула, обернулась. Аверьян будто смутился. «Ах, как ты гремишь». «Дровешек, было, тово...»

Мать прошла в столовую. Старый лакей Ипатыч, лысый, с больными ногами, накрывал на стол. «Пива барину достали из погреба?» «Так точно-с...» Мать оглядѣла столовое свое хозяйство — как будто все в порядкѣ: графинчик водки перед прибором отца, соленые огурцы, красная капуста.

Кое что она, всетаки, поправила: весело-ли на душѣ, хмуро-ли, хозяйство священное дѣло, о своих чувствах думать не приходится.

Отец весело раздѣвался в прихожей. Насвистывая, прошел умыть руки в умывальную, отклеил ледышку с уса: мороз порядочный. Потом расчесал боковой пробор, пригладил волосы щѣткою, явился в столовую.

Мать, в накидкѣ, как бы слегка озябнув, садилась уже на свое мѣсто.

— Меню? спросил отец. И налил рюмку водки. Он, когда бывал в духѣ, всегда спрашивал меню, «чтобы знать наперед, чему сколько оставить мѣста». Но мать как раз этого слова и не любила. В нем было для нея что-то ресторанное.

Отлично зная, что сегодня разсольник и на второе баранина, она отвѣтила независимо:

— Вот сам увидишь.

Отец заѣдал водку огурцом.

— Для того и спрашиваю, чтобы услышать, а не увидѣть.

Мать ничего не отвѣтила, позвонила Ипатычу. Через минуту внес он дымящійся разсольник. Отец выпил вторую рюмку и сказал, что опять ему придется ѣхать в Илев, дня на три: пріѣзжает из Петербурга Ганумов с членом правленія.

— Дурачье петербургское, опять начнут мудрить, дѣлать вид, что понимают что-то в заводском дѣлѣ. А что они понимают? Ровно ничего!

Отец говорил будто-бы иронически, но тоном бодрым. Он и дѣйствительно вовсе непрочь был съѣздить в Илев, выпить с Ганумовым коньяку, сыграть в винт — а может, и дамы какія пріѣхали из Петербурга — распустить хвост, похохотать. Мать все это чувствовала. Лицо ея становилось строже.

Послѣ баранины была еще размазня. Отец ѣл ее медленно, намасливая, приглаживая и приминая ложкой — получалось вродѣ геометрическаго тѣла — по правильным секторам он выгребал содержимое.

— Я получила из Москвы письма, сказала мать: от Глѣба и Лизы.

— А-а! Ну, как, здоровы?

Отец спросил привѣтливо, но довольно равнодушно.

— Прочти сам.

Послѣ размазни отец налил кружку пива, надѣл пенснэ и взял письма.

— Учится, учится. Та-ак.

Он отложил письмо Глѣба, взял Лизино. Нѣкоторое время читал молча.

— Вдовы Милобенской... хозяйка милая и простая... — снял пенснэ, вынул кожаный портсигарчик — еще из Устов — закурил папиросу и хлебнул пива.

— Вот эти милыя и простыя хозяйки, симпатичныя вдовы и любят молоденьких студентов.

Мать строго на него взглянула.

— Что ты этим хочешь сказать?

Отец курил — пускал кольца синеватаго дыма. Онѣ плыли плавными легкими валиками, потом таяли.

— А то и хочу сказать, что говорю. Сколько я таких случаев знал!

— Сыночка по другому воспитывался, он...

— Твой сыночка совершенно так же устроен, как и всѣ.

— Вопервых, он такой-же твой, как и мой.

— Не сомнѣваюсь.

— Да и сыночка не станет заводить романов с первой встрѣчной женщиной. Он слишком серьезен.

— В этом возрастѣ всѣ кажутся очень серьезными, а думают только об одном.

Мать стала еще холоднѣй.

— Если судить по собственному опыту, то, конечно...

— Э-э, брат, причем тут собственный опыт? Природа! Так человѣк создан. Против рожна не попрешь.

Мать сама думала почти так-же. В молодости любила отца возвышенной, чистой любовью. Но возвышенная любовь — одно, жизнь другое. Долгіе годы с отцом доказали это. Теперь она говорила о любви реально, полу-медицински. Вглуби-же, запрятанное, очень оскорбленное, сидѣло и прежнее.

— Разумѣется, если видѣть только животную сторону человѣка...

Отец не поддержал разговора. У него был такой вид, что не стоит спорить: дѣло ясное, жизнь идет по своим законам, не нами установленным. И по этим вот законам он допьет свое пиво, перейдет в кабинет, гдѣ пахнет ружьями, патронташами, медвѣжьей шкурой у письменнаго стола — заляжет на турецком диванѣ да так заснет, что просто прелесть.

Так оно и произошло. И вторую часть дня они провели по разному. Отец, выспавшись, еще раз сходил на завод, вернулся в настроеніи хорошем. И весь вечер напѣвал пѣсенку, которая неизмѣнно развлекала его.

«Вѣю, сѣю, сѣю, вѣю,
«Пишу письма архіерею.
«Архіерей мой архіерей,
«Давай денег поскорѣй».

Мать тоже прилегла. Печка, которую знатно растопил Аверьян, потрескивала и бросала на пол красновато-золотистый отсвѣт. Мать постелила на подушкѣ дивана чистый носовой платочек, прилегла вздремнуть — не так, как отец, но дремотою тонкой, однако отдохновительной. Нынче дремота не шла. «Конечно, одному скучно, грустно в таком городѣ, как Москва. А тут рядом женщина, опытная, ловкая...» Дальше шли мысли в том-же родѣ. «Да, и не замѣтит, как она его затянет. Развѣ у него есть опыт? Он ничего еще в жизни не знает, она этим и воспользуется».

Зимній день кончился. Голубятня, занесенная снѣгом, стала́-было погружаться во мглу, но сквозь сосны саровскія сначала блѣдно, а потом явственнѣй засвѣтила луна, она катилась безшумно-таинственно в небесных безднах. То заволакивалась молочною бѣлизной, то проносилась по лазури в узорах звѣзд, тогда ярче и чище заглядывала в окно дома Балыковскаго, гдѣ на своем диванѣ передумывала Глѣбова мать тѣ-же думы, какими томятся, томились, будут томиться тысячи матерей. В снѣжной, фантастической пустынѣ за окном все было хорошо — дыханіе Господа сил. В женском сердцѣ все тоскливо, смутно, несмотря на золотые узоры, уже тянувшіеся из окна по полу.

По временам мать переворачивалась, вздыхала, вполголоса произносила: «О, Боже мой!» — полу-вздох, полумолитва, (но если молитва, то безсознательная: сознательно мать не молилась).

Весь этот вечер она была не в духѣ. И вполнѣ ушла в себя. С отцом больше не подымала разговора о Глѣбѣ. Переходя с мѣста на мѣсто, садясь, вздыхала. «О, Боже мой, Боже мой!» — как будто тот Бог, к которому была она прохладна, слѣдовал за ней повсюду.

Пасьянс послѣ ужина прошел мрачно. Мать совсѣм не слушалась совѣтов отца, вся его глубокомысленная стратегія пропадала. Он довольно быстро махнул рукой, усиленно занялся пивом, слегка подпѣвал: «Архіерей мой архіерей, давай денег поскорѣй». Мать подняла глаза. «Что тебѣ так нравится в этой глупой пѣсенкѣ? Ничего смѣшного!» Отец улыбался. «Вѣю, сѣю, сѣю, вѣю...» Мать смѣшала карты — пасьянс не вышел. «Просто герунда».

На другой день отец в дохѣ, сѣрой мерлушковой шапкѣ закатился в Илев. Мать осталась одна, в снѣжной своей обители. Она много шила, читала роман в «Вѣстникѣ Европы», надѣв валенки ходила по хозяйству. Многими своими вздохами пришла к нѣкоторому рѣшенію. Большія-ли рѣшенія, малыя-ли, созданныя в одиночествѣ, крѣпки. Мать невозможно уже было сдвинуть с того, что она уѣзжает в Москву — «недѣли на двѣ, чтобы посмотрѣть, как живут Лиза и сыночка».

.....

Зима россійская катилась — над столицами, над захолустьем. Вѣял снѣжок над Петербургом, гдѣ молодой царь входил в силу власти, и над Москвой, гдѣ правил дядя его, высокій, изжелта-костистый, москвичами нелюбимый Великій Князь Сергѣй. И Петербург, Москву, далекое Балыково несло одно дыханіе равнины русской, с заметюшками, морозами, полузасыпанными снѣгом избами, заиндевѣлыми бородами, сизо-мохнатыми лошаденьками.

Глѣб, живая точка, ежедневно направлялся на Коровій Брод, слушал там лекціи, чертил с Сережей Косто-

маровым части машин, сдавал зачеты, дома ѣл скучноватые щи — издѣлія Анфимьюшки или Таисіи Николаевны. Квартирка все так-же тиха, Таисія Николаевна так-же робка. В спальнѣ попрежнему голубой фонарь, будто и призывающій, а освѣщает всего лишь благоустроенную, но одинокую постель. И портрет мужа ничѣм не смущен.

Пріѣзжали, как прежде, Манурины. Завтракали. Вѣра как всегда много ѣла, покойно смотрѣла прохладными глазами. Брилліант блестит на пальцѣ, отсвѣты снѣга в глазах.

«Что-же, вы все Рождество сиднем будете сидѣть вот так в этой мурьѣ?» спросила она раз, зайдя к Глѣбу в комнату. Закурила, сѣла за письменный стол, вытянула длинныя ноги. «Вѣдь вы-же молодой студент, неужели не хочется Москву посмотрѣть, в театр сходить?»

Глѣб отвѣтил, что в театр охотно собрался бы. «Да, но нужно, чтобы вам достали билет, посадили на извозчика и сдали в багаж?»

Глѣб улыбнулся. Ему отчасти нравилось, что взрослая барышня, гораздо старше его, артистка, разговаривает с ним так запросто. Но хотѣлось, чтобы его-то она не считала совсѣм простым. «Я в театрах и бывал и буду бывать, но в общем жизнь настолько неинтересна, что пойдешь лишній раз или не пойдешь, она лучше не станет». «Глупости. Эти философіи вовсе ни к чему. Жизнь на что-то дана, нельзя ее прокапчивать». «Да, вы артистка, для вас...» «Надо заниматься таким дѣлом, которое интересует. Вы вот говорили, что инженерство вам не нравится. Жаль, что не нравится, но ваша воля. Не нравится — пишите стихи».

Она говорила отрывисто, побалтывая ногой, перебирая пальцами на столѣ разныя мелочи. Вдруг развернула тетрадку, на ней надпись: «Дневник».

— А, вон это что такое! Угадала. Писатель!

Глѣб смутился. «Нѣт, пожалуйста, положите. Никакой не писатель, просто так... Ерунда всякая».

— Ну, не буду.

Он взял рукопись, покраснѣл и как будто даже разсердился. Вѣра осталась совершенно покойна.

«Полное ваше право писать, сочинять, ничего дурного в этом не вижу».

Глѣб и сам знал, что ничего дурного. Всетаки... Тетрадку свою он завел недавно, записывал разныя, казавшіяся ему значительными, свои мнѣнія «о жизни», иногда сценки. Чаще всего изливал горечь. Иногда смутно казалось, что может быть, слѣдует и серьезнѣй попробовать. Но все это было тайное, никому не открытое, даже Лизѣ и Сонѣ Собачкѣ. А тут Вѣра Манурина сама налетѣла.

Как бы заглаживая это, Вѣра встала, сказала рѣшительно: «А в театр поѣдем. Я вам достану ложу на Шаляпина. Слыхали? Молодой пѣвец, но очень талантливый».

Глѣб отвѣтил: Шаляпина знает, в театр пойдет с удовольствіем.

Вошла Таисія Николаевна. «Таисенька, я везу вас всѣх в театр. Знаешь, по семейному, как в бани. Мы уж уговорились с Глѣбом Николаевичем. Не смѣй отказываться». Таисія слегка покраснѣла: «семейныя бани» — это не ея стиль. «Ах, Вѣра, ты всегда так скажешь...» «Никаких отговорок. Я все равно скоро уѣзжаю, пусть это и будет вродѣ прощальнаго бала».

На том и порѣшили. Вѣра ушла.

Через нѣсколько дней она прислала номер ложи на «Юдифь», в Шелапутинском театрѣ. Глѣб с Таисіей Николаевной должны были пріѣхать вмѣстѣ, Вѣра одна — Варвара Дмитріевна на нѣсколько дней уѣхала в Петербург.

И в назначенный вечер извозчик вез Глѣба и Таисію по заснѣженным улицам Москвы на Театральную площадь. Глѣб чувствовал себя напряженно, бодро: впереди, хоть на сегодня только, нѣчто такое занятное. Рядом в санках Таисія Николаевна в ротондѣ с мѣховым ворот-

ником, тщательно пріодѣтая, надушенная. Глѣб придерживал ее слегка за талію — под скромный трух лошаденки плыла вокруг них в вечерних огнях Москва. всѣ эти Красныя Ворота, Маросейки и Мясницкія с вывѣсками нѣмецких контор, площадь Лубянская в снѣгу, зеленоверхія башни Китай-города за Политехническим музеем. Они были дома, в родной странѣ, в сытной и покойной Москвѣ, собиравшейся предлагать им свои дары.

Извозчики подъѣзжали к театру — ссаживали дам в шубах и капорах, мужчин в мерлушковых шапках. Ботики скрипѣли по снѣгу. Подходили и пѣшком, и всѣ вваливались через хлопающія двери в вестибюль: сразу тепло, свѣтло, нарядно.

Глѣб забезпокоился. Вѣдь билета у них нѣт? Только номер ложи. Если Вѣра не пріѣхала еще, то их не пустят.

Он подымался в бель-этаж с непріятным ощущеніем: вот они скажут, что у них такая-то ложа, капельдинер спросит билет — показать нечего... — он навѣрно подумает, что они пройдохи какіе нибудь, хотят в чужую ложу забраться.

Все это быстро пронеслось в головѣ, как легкій, но нерадостный пожар, так-же быстро и угасло: да. Вѣра еще не пріѣхала, но старик капельдинер с пробритым между бакенами подбородком, напоминая писателя Григоровича, не заподозрил их в самозванствѣ. Очень любезно отворил дверь ложи, снял ротонду Таисіи, повѣсил на вѣшалку. Глѣб успокоился, но не совсѣм. А вдруг Вѣра не пріѣдет? Вот тогда и доказывай, что имѣл право на эти мѣста!

Безпокойство Глѣба было недолго. Благоухая духами, высокая, широкоплечая, Вѣра пріѣхала во время — ни раньше, ни позже, чѣм надо. Усѣлась с Таисіей Николаевной, выложила на барьер коробку конфект, прекратила всѣ треволненія Глѣба: никакой Григорович не властен теперь над ними.

Оркестр заиграл, свѣт погас. В верхних ярусах отво-

рялись для запоздалых двери лож и балконов. Мелькали свѣтлые прямоугольнички и захлопывались. Партер еще слегка кишѣл — струйками, но успокаивался. Романтическій сумрак надвинулся: радость, обольщеніе театра.

Глѣб сидѣл позади, перед ним Вѣра и Таисія. Иногда головы их двигались и рисовали какіе-то узоры на оркестрѣ, на нижней части занавѣса. А потом занавѣс этот легко пошел вверх. На сценѣ полутемно. Можно, однако, различить древній восточный город, группы женщин в хламидах, мужчин. Опера началась. Надо было повѣрить, что это времена Юдифи, Олоферна. Кто хотѣл — вѣрил, кто не хотѣл — нѣт. Глѣб не думал об этом. Просто сидѣл, вдыхал в полумглѣ слегка застоявшійся, смутный запах театра, за хорами и іудеями не слѣдил, понемногу вдавался в мечтательное, сладостное броженіе. Куда оно направлялось? Этого и не могбы сказать. Ничего он не знал о себѣ, ничего будто-бы и не хотѣл. Двѣ женских головы перед ним, попритихшія, внимательно музыку слушавшія, тоже его не занимали: это свое, обычное. Но из глубины шел зов к необычному и очаровательному, чего точно опредѣлить он бы и не мог.

Таисія нагнулась к сосѣдкѣ. «Вѣрочка, гдѣ-же Шаляпин? Вон тот высокій в плащѣ?» «В первом актѣ Шаляпина нѣт. Успѣешь увидать. Это просто статист». Таисія скромно умолкла, покраснѣла: как с ней часто случалось, представилось, что сказала глупость ужасную. Но ея шопот безвѣстно потонул в скрипках, переливах хора, всѣх этих біеніях рукою в грудь, запахиваніях хламид, подбѣганіях, убѣганіях. Шаляпина дѣйствительно еще не было. Но театр плел уже всю свою и наивную, мило-снѣжную, но и трогательную сѣть.

Во втором актѣ Глѣб не впадал уже в мечтательность. Таисія Николаевна не спрашивала, гдѣ Шаляпин: в шатрѣ лежал на низком ложѣ Олоферн, борода смолянисто-курчавая. Олоферн приподымался на локтѣ, обводил огромным подведенным глазом полную Юдифь,

поправлял ожерелье, потягивался — и пѣл, конечно: разводил бархат свой несравненный. Вот он Шаляпин, волжскій плод, в теплых объятіях Москвы растущій. Пѣвчій из Казани, высоченный, с рыжеватыми бровями, почти бѣлыми рѣсницами! А откуда-же Восток, древность, ассиро-вавилонское? Олоферн потянулся, потянулся, да как вскочил, легким тигром, страшным и прекрасным, зашагал вдруг по ковру в шатрѣ своем, поиграл мечем, попугал Юдифь — опять запѣл.

Слава Олоферна начиналась. Послѣ второго акта вой стоял в театрѣ, треск рукоплесканій. С верхов сбѣгали вниз студенты, «чуткая молодежь», барышни. Лѣзли в проходы партера, орали, апплодировали: хотѣлось поближе протискаться к сценѣ, получше Олоферна разсмотрѣть.

Глѣб чуткою молодежью не был, но выйдя из ложи попал в общій поток. Он сам был взволнован, улыбался, хлопал — в том настроеніи театра, когда рядом хлопающіе кажутся друзьями — всѣ в одной радости.

«Глѣб, и ты тут?» Глѣб обернулся — сзади держала его за рукав Лиза, веселыми, смѣющимися глазами на него глядѣла. «Вот хорошо! А правда замѣчательный Шаляпин?»

Глѣб тоже ей заулыбался. «Ты что-же, одна тут?» И только что это сказал, увидѣл за нею студента в синем пальто с золотыми пуговицами. Лицо его некрасиво, но мило, над невысоким лбом ровный бобрик, глаза маленькіе, длинные усы, горизонтально, в разныя стороны, слегка подкрученные. Тоненькая шея из воротника мундира, подмышкой папаха. Он яростно апплодировал, хоть и мѣшала суковатая дубинка — на ремешкѣ висѣла над кистью правой руки. «Браво, Шаляпин! Браво! Тащыть его сюды, качать зараз, під потолок его».

Лиза смѣялась. «Разошелся хохол. Теперь не удержишь. Это знакомый мой один. Ну, Артюша, будет вам, вот познакомьтесь лучше с Глѣбом».

Ярила обернулся, лицо его расплылось улыбкой. Усы поѣхали вверх. Он пожал Глѣбу руку.

— Грищенко, Артемій. Третьяго курса, медик. Очень рад! А как поет, сукин кот! По сценѣ як тигр ходит! Браво Шаляпин, браво!

Лиза отошла с Глѣбом в корридор. «Первый раз слышит Шаляпина, впал в восторг. Он очень славный. А ты один тут?» Глѣб сказал с кѣм. Лиза сдѣлала хитрую лисью мордочку, подмигнула. «С тихенькою хозяйкой?» «Брось, глупости! Все так неинтересно»...

Антракт кончился. Лиза велѣла непремѣнно приходить к ним на Арбат.

— С разными Таисіями да Мануриными по театрам ѣздишь и к нам с Вилочкой можешь собраться. Моя Вилочка прелесть — вот увидишь.

Глѣб обѣщал. В толпѣ мелькнули усы Артюши, он весело кивнул Глѣбу — разные потоки разнесли их — Лизу с Артюшей наверх, Глѣб через три минуты был уже в своей ложѣ. «Ѣшьте, вот конфекты, для того и привезла». — Вѣра сидѣла вся в свѣту, высокая, прямая, опершись голым локтем на балкон и ѣла. Таисія Николаевна разсматривала залу в бинокль: ей как будто покойнѣе было, уютнѣе за стеклами увеличительными.

Вѣра дожевала свою тянучку.

«Я послѣ театра вас с Таисіей к Тѣстову свезу. Растегаев поѣдим, это будет дѣло».

Глѣб не знал ни что такое Тѣстов, ни что такое растегаи. Но принял вид равнодушія и спокойствія: ничѣм нас не удивишь!

Вновь свѣт погас, занавѣс поднялся. Вновь шатры на сценѣ, іудейки, хламиды, плащи, городскія стѣны, мечи, хоры, много всякаго добра, полагающагося в оперѣ. И над всѣм один хозяин — Олоферн. Как ни распѣвал, однако, он, как ни гнѣвался, ни ластился потом к Юдифи, дѣло его обернулось плохо. Хитрая еврейка отрубила-таки ему голову — когда заснул. «Правильно!

сказала Вѣра: «голова отскочила, а сейчас он будет выходить на вызовы, кланяться публикѣ».

Она не ошиблась. Чуткая молодежь вновь орала и апплодировала, самая чуткая наводнила партер и из опустѣлых первых рядов, бенуарных лож все звала, все звала любимца. Олоферн выходил — высокій и гибкій, тонкій, мягко-тигровый. Кланялся, прижимал руки к груди — так растроган.

Вѣра поднялась. «Душенька, я Шаляпина очень люблю, но психопатничать не собираюсь. Ѣсть, ѣсть хочу, меня тянет в кабак».

Таисія спрятала бинокль, покорно собиралась. Но слово кабак неодобрила — не ея стиль. У ней вид был такой: «что-жь, Вѣрочка со странностями, я ее с дѣтства знаю. Какая есть, такую и примем».

.....

Туман, мороз, у Большого театра два костра. Извозчики, кучера невообразимой толщины, городовые попрыгивают, притоптывают по каленому снѣгу ногами, хлопают руками в рукавицах: холодно! Господа слушают оперы, в Малом театрѣ смотрят Островскаго. А на улицѣ пятнадцать градусов, того и гляди нос отморозишь или уши: три, три их! У кого башлык — и слава Богу.

Вѣра, Глѣб и Таисія пѣшком пересѣкли площадь, мимо Охотнаго, отеля Континенталь, мимо нотаріуса Шереметевскаго. Прямо пред ними часть стѣны Китай-города, правѣе громада Думы, и вот подъѣзд Тѣстова.

Уже бы и подыматься по нехитрой лѣстницѣ, да Вѣра вдруг передумала.

— Бог с ним с Тѣстовым. Там одни обжоры. Пойдем в Большой Московскій.

Еще нѣсколько шагов, другой подъѣзд, понарядньѣе. Ряд лихачей («пожа-пожалуйте, купец, подвезу!»), есть пары на пристяжку — голубки.

В раздѣвальной сразу пахнуло теплом, свѣтом,

пальто переплыли в услужливыя руки, перед зеркалом дамы оправили прически. Во второй этаж подыматься по лѣстницѣ в красном ковръ. Издали музыка. Прислуга в бѣлом, носятся взад-вперед с блюдами, блистающими никеллированными кастрюлями, из них вкусно попахивает: стерлядь кольчиком, вареный цыпленок, мало-ли что еще.

Метр д'отель поклонился, провел в залу. Двусвѣтная зала Большого Московскаго — не из маленьких. На хорах цвѣты, оркестр, тоже столики, но главная игра здѣсь.

Вѣра усѣлась, взяла карточку.

— Вот это ресторан так ресторан!

Таисія Николаевна устроилась скромно, но привычно: «Очень красиво, Вѣрочка, только таких растегаев как у Тѣстова не дадут». «Неплохо будет, не думай». «Я и не говорю, здѣсь тоже хорошо кормят, но покойный Михаил Акинфіевич Тѣстова ставил выше». «Да, уж твой Михаил Акинфіевич любил покушать. А я хочу, чтоб нынче пошикарнѣй было».

Глѣб осматривался. Нарядно! Свѣт, музыка, духи, туалеты дам, сіяніе колец, сережек, шей московских...

«Человѣк» в бѣлой рубахѣ, бѣлых штанах подал ледяной, запотѣвшій графинчик. Икра, горячій калач, вымоченная в молокѣ селедка с дымящимся картофелем — машина заработала.

Она работала тут ежедневно и ежевечерне. Москва торговая, зажиточная и богатая кормилась и кормила. Вѣра, Глѣб, Таисія — гости случайные, не типическіе. Мало-ли тут завсегдатаев, разных Бардыгиных и Гавриловых, Грибовых и Тарасовых, не говоря уже об именах всероссійских?

Вѣра пила водку покойно. Таисія на нее поглядывала: «Не бойся, выпить могу сколько хочешь». Глѣб тоже старался. Вѣра с ним чокалась. «Видите, это и есть Москва, Опера, Большой Московскій...» «Да, мнѣ очень нравится». «И Шаляпин понравился?» Понравился

и Шаляпин. Значит, все, слава Богу в порядкѣ. Не зря выплыли.

За осетриною («американ, соус пикан») Вѣра говорила, что все это очень мило и пріятно, но Москву она не любит. «Жирно, шумно, пироги, Замоскворѣчье». «Как-же так», замѣтила Таисія: «Вѣрочка, в Москвѣ вѣдь настоящая Россія. Кто Москву не любит, тот пожалуй и Россію не чувствует». «Ну, уж ты, конечно, со своей Таганки...» «Вовсе не с Таганки. Я на Чистых Прудах родилась, в Москвѣ замуж вышла, в Москвѣ овдовѣла. Да по правдѣ сказать вся моя жизнь в Москвѣ прошла, не могу пожаловаться».

Вѣра налила ей еще бѣлаго вина. «Выпей, и разскажи, но не впадай в чувствительность».

Таисія Николаевна отпила из зеленоватаго бокала, посмотрѣла на нее ясным, сѣрооким взором. «Я, Вѣрочка, и не собираюсь никак впадать в чувствительность. Мало-ли что там. Тебѣ одно нравится, мнѣ другое».

Глѣбу показалось, что сказала она очень покойно, твердо — не уступала. «Да я ничего... Таисенька, я тебя не задѣвала. А тебѣ нравится это вино?»

Таисія вновь глотнула. «Вино хорошее, но извини меня, я предпочитаю послаще. Это очень сухое. Михаил Акинфіевич любил, чтобы я выпивала немного Шато Икэм или Барзак». «Да, разумѣется, ты женщина, настоящая женщина. Тебѣ-бы помягче, послаще». «Ну вѣдь и ты не мужчина». «Конечно. Но я одиночка, бродяга, так какая-то личность, играющая на фортепіано».

Вѣра показалась Глѣбу сейчас странной. Показалась — и недолго он на этом задержался. Близкой она не была, не могла быть. Он очень благодарен, что она его вывезла, все отлично и сейчас весело, блестяще в этом залѣ ресторанном, и Таисія славная, но для него под всѣм этим он, он сам — все остальное украшеніе.

Нѣсколько мужчин, дам вошло в зал, пріостановилось. Метр-д-отлель низко кланялся, показывая рукой на

угол. Голова — много выше других — высунулась из за двери, что-то знакомое в легком, тигровом движеніи тѣла, поворотѣ шеи. Но теперь ясно видно, какой блондин Олоферн с Волги, с рыжеватыми бровями, свѣтлыми рѣсницами. Метр д'отель продолжал приглашать к большому угловому столу. Атаман быстро оцѣнил все глазом.

— Не могу-же я, голубчик, в общем залѣ...

Произошло нѣкоторое смятеніе, головы лысыя, дамскія шеи и прически обернулись к дверям. «Шаляпин, Шаляпин!»

Ватага повернула обратно — только раззадорила сидѣвших здѣсь.

Вѣра обернулась к Глѣбу.

— Ну, теперь до утра. Голову ему отрубили, а он в отдѣльный кабинет и сколько шампанскаго с этой Юдифью выпьет... Так. Глѣб Николаевич, Таисенька, еще раз, за здоровье Шаляпина!

Она подняла бокал. Всѣ чокнулись.

— У него слава большая. И есть и будет. — Вѣра будто даже задумалась. — Он назначенный к этому человѣк. — Вѣрочка, а я за тебя хочу, сказала Таисія. — За твои успѣхи, и за твою славу. Не одному Шаляпину этим заниматься. Ты тоже развернись. Так, знаешь, прогреми заграницей, возвращайся знаменитою піанисткой. Только тогда тебя в Гавриков переулок не затащишь.

— Слава, слава... Тут, братцы мои, что кому на роду написано, заказать нельзя.

Она говорила покойнѣе, даже мягче, задумчивѣй обыкновеннаго.

— Глѣб Николаевич, а вы о славѣ думаете?

Глѣб удивился.

— При чем тут я? Какая там слава?

Вѣра пристально на него посмотрѣла.

— Мнѣ кажется, думаете тайно. Да ничего — думайте! Нечего прятаться. Я вот прямо говорю: я бы хотѣла славы.

Глѣб улыбнулся, поднял бокал, слегка тронул им Вѣрин. Она сказала спокойно:

— Но у меня славы не будет.

Таисія Николаевна забезпокоилась.

— Таисенька, не тревожься. Я могу выпить сколько угодно. Все равно — она говорила почти с раздраженіем: славы у меня не будет, да и вообще из жизни моей ничего не выйдет. А заграницу поѣду, по пяти часов в день за роялем сидѣть буду, и так именно надо, а Глѣб Николаевич пускай свои стихи пишет.

— Я никогда стихов не писал.

— Все равно, какія-то там штучки... пишет, прячет, все таит, а потом окажется, что написал цѣлую повѣсть.

Глѣб не знал, принимать-ли всерьез, обижаться-ли, нѣт-ли... — все-таки, не обидѣлся.

Вокруг стало просторнѣе. Кое гдѣ на опустѣвших столиках потушили лампы. Вѣра под столом сунула Глѣбу сторублевую бумажку. Он был в ужасѣ. «А платить-то вѣдь надо? Мужское дѣло! Сдачу мнѣ отдадите!» Таисія Николаевна улыбалась. «Вѣрочка нынче нас угощает, ничего, ничего! Только вы счет провѣрьте, не приписали-бы лишняго».

Глѣб обѣщал, но когда счет подали, провѣрить ничего не смог, спазма смущенія сдавила. Свободнѣе вздохнул только когда вернул Вѣрѣ сдачу.

А еще свободнѣе — возвращаясь в Гавриков, на морозѣ, при звѣздах, придерживая на раскатах Таисію Николаевну. Оба молчали. Глѣб полон был собою, сегодняшним вечером, новым видѣнным, слышанным, пережитым.

Так продолжалось и дома в то время, когда при голубом своем фонарѣ, заперев дверь, смиренно разоблачалась Таисія Николаевна, тоже взволнованная. Именно вот тогда, менѣе всего о Таисіи думая, вытащил Глѣб свою тетрадку. Вѣра Манурина считает, что он пишет стихи! Никаких стихов, но ч т о - т о ему хочется

з а п и с а т ь, н а п и с а т ь. Странно она сказала нынче о славѣ... Слава! Мурашки вдруг прошли у него по спинѣ. Шаляпин, театр, апплодисменты...

Глѣб развернул тетрадку, стал изливать в нее то, что в подобныя-же тетрадки изливали и изливают, будут изливать сотни юношей на распутіях жизни. Ему казалось, что лишь он, впервые, именно этими, а не иными словами, в одинокій час ночи изображает свои тягости — «кровію сердца».

Заснул он не ранѣе четырех утра.

.....

Около двѣнадцати в переднеи позвонили. Анфимьюшки не было, отворила Таисія Николаевна. Перед ней стояла дама невысокаго роста, немолодая, в шляпѣ слегка старомодной со страусовым пером в дорожном строгом пальто. И в ней самой показалось Таисіи Николаевнѣ нѣчто прохладное, строгое, в карих больших глазах будто знакомое. Дама спросила, здѣсь-ли живет Глѣб. Таисія отвѣтила: здѣсь. «Я его мать. Можно его видѣть?» «Ах, очень пріятно... разумѣется, можно. Пожалуйста, входите. Он, кажется, еще не вставал, но это ничего, я постучу».

Мать вошла в переднюю как в бастіон непріятельской крѣпости. Таисія сразу заробѣла. Отворила дверь в столовую. «Будьте любезны, присядьте... я сейчас.»

Мать вынула старинные золотые часики на тонкой цѣпочкѣ, взглянула.

«Без десяти двѣнадцать. Что-же, он спит?» «Право, не знаю. Но из своей комнаты еще не выходил. Мы вчера очень поздно вернулись... моя родственница повезла нас на Шаляпина». «Развѣ театры так поздно кончаются?» «Нѣт, конечно, но потом мы попали в ресторан».. «А-а, в ресторан!»

Мать смотрѣла мимо Таисіи. У той заколотилось сердце. «Боже мой, какая я дура! Что-же подумает матушка? Вчера очень поздно вернулись!?»

Покойный Михаил Акинфіевич говорил о Таисіи: достойная женщина, но не весьма сообразительная — он жену свою знал.

— Я сейчас постучу, Глѣб Николаевич будет страшно рад...

Выраженіе лица матери не измѣнилось. Она не нуждалась в том, чтоб от г-жи Милобенской узнать, что сыночка рад ея пріѣзду.

И пока не весьма сообразительная г-жа Милобенская стучала в дверь к сыночкѣ, робѣя пріоткрыть ее — вполголоса, взволнованно объясняла кто пріѣхал, мать сидѣла в столовой. Страусовое перо на шляпѣ поколыхивалось. Она разсматривала внутренность вражеской крѣпости: портреты Михаила Акинфіевича в черном сюртукѣ и бѣлом галстухѣ, піанино, на котором играла Вѣра, в полуоткрытой двери — голубой фонарь. Угол хозяйкиной постели, уже убранной, почти нарядной. Мать слегка вздыхала. Театр, ресторан... какая-то Вѣрочка... «эта» гусыня. Неудивительно, что он спит до полудня. Мать полузакрыла глаза. И вздохнула уже глубоко. А если онѣ его спаивают?

Чрез нѣсколько минут вышел и сам Глѣб, в наскоро натянутой тужуркѣ, еще неумытый, остроугольно-худощавый, но с тѣм нѣжным румянцем на щеках, который и есть юность. Мог он и поздно лечь, и волноваться, и чувствовать себя непонятою натурой, обреченной на одиночество и тоску — но одного никак не мог-бы убить в себѣ: юности, она выпирала изо всѣх щелей.

Нѣт, никто его не спаивал. Это все тот-же Глѣб, только в студенческом обличьѣ.

— А-а, мама! Вот не ожидал!

Он ласково ее расцѣловал.

— Даже не написала ничего!

.....

Мать вполнѣ могла-бы остановиться в квартирѣ

Лизы на Арбатѣ, но поселилась у Ечкина, на Неглинном. Она знала, что там останавливается отец. Раз отец — значит, хорошо. Комнату-же взяла самую дешевую. И на чай давала умѣренно: незачѣм баловать прислугу.

Лизѣ сказала, что не хочет ее стѣснять. Это было отчасти вѣрно — мать смотрѣла на свою поѣздку — как на нѣкоторую научную экспедицію: изслѣдованіе жизни дѣтей. А для этого надо находиться в сторонѣ, чтобы ничто не мѣшало.

У Глѣба, Лизы бывала она постоянно, но не этим одним занималась: дѣлала покупки — отцу, дѣтям (меньше всего себѣ), по хозяйству (огородныя, цвѣточныя сѣмена). «Непремѣнно побывай у моей подруги Матильды Грелль», весело говорил отец, провожая ее: «на Воробьевых горах, рядом с Ноевым. Пусть вышлет нам свѣженьких прививков» — мать недовольно хмурилась: терпѣть не могла легкомыслія — какая там «подруга»? Всего два три раза и видѣл эту Грелль. Но отец был неисправим.

Первое непріятное впечатлѣніе от Гаврикова переулка прошло. Мать пріѣзжала туда обѣдеть с сыночкой, иногда вечером. Познакомилась ближе с Таисіей Николаевной. В дѣлѣ хозяйственном у них нашлось даже общее. «Нѣт, эта скромная. Ничего тут не будет» — так ее опредѣлила. Встрѣтилась и с Мануриными — вѣжливо, но прохладно. Онѣ ей не очень понравились. («Слишком много о себѣ думают. А дочь к тому-же чудачка. Нѣт, это герунда»). Но и в них опасности не усмотрѣла.

А Глѣб у нея на глазах жил, как полагается: рано вставал, отправлялся на Коровій Брод, слушал там лекціи, чертил чертежи. Вечером совѣщался иногда с Сережей Костомаровым об учебных дѣлах. Все это вполнѣ естественно. Сережу мать знала еще по Калугѣ, сочувствовала ему — серьезный мальчик. Тоненькій студент с капелькой пота на веснушчатом носу, оттопыренными ушами, был он в Москвѣ дѣловит, усерден. Иногда по-

могал Таисіи Николаевнѣ починить стул, перевѣсить портреты, склеить попорченную шкатулку.

В Глѣбѣ-же одно несовсѣм матери нравилось: он как-то печален. Вѣдь вот и молод, здоров, условія жизни хорошія, впереди карьера. Отчего-же у него такой вид, будто его давит что-то?

И у себя в спартански-монашеском номеркѣ на диванчикѣ, в сумерки, мать все о сыночкѣ думала. Вот он и ласков, и мил с ней — упрекнуть не в чем, о себѣ-же не скажет ничего. «Жизнь не стоит того, чтобы ей интересоваться» — такое или в этом родѣ постоянно срывается у него с языка. Но вѣдь это не значит открывать душу!

И мать переворачивается на другой бок, вздыхает. «О, Боже мой, Боже мой!»

Лизу нашла она в хорошем видѣ, но и о ней безпокоилась. Ах, это ученіе! Дома часами гаммы, в Консерваторіи уроки, разныя сольфеджіо, гармоніи, контрапункты. А Лиза слабенькая — сколько в дѣтствѣ хворала! При нравѣ веселом и даже насмѣшливом (в отца), всегда была жалостлива и нѣжна, всегда разные хромые цыплята, котята у ней. Мать считала: за Лизой нужен уход, опека, любовь. Кого-то, как встрѣтит она в жизни? Вон у нея какія маленькія ручки, им приходится изо всей силы растягиваться, чтобы брать аккорды: Вилочка берет их легко, но вѣдь у нея длинные пальцы.

Так, отдумав о сыночкѣ, мать надумывала о дочери, опять перевертывалась.

Когда-же с ними самими бывала, то чувствовала себя лучше.

Однажды Глѣб пришел в воскресенье к Лизѣ под вечер. Мать сидѣла за піанино, в передней услышал он вальс из «Фауста». Мать улыбаясь играла, как-то странно и по старомодному пробѣгая пальцами по клавіатурѣ. Глѣбу вдруг ясно представилось, что это не Москва, а Усты, зима, ему лѣт восемь, Лиза дѣвочка, как в устовской гостиной играет эти «Ах, скажите вы ей, цвѣты

мои»... — и она гораздо моложе, спокойная и слегка улыбающаяся, меланхолически-мечтательная мать. А вот вальс оборвался, начался галоп — под него в Устах-же преважно раздѣлывали они с Лизой и Соней Собачкой фигуры кадрили.

Глѣб подошел, обнял мать сзади, поцѣловал около уха. «Мама, Усты вспомнила!» Она обернула к нему тонкое, сейчас не такое важное как обычно лицо — полное любви и ласки.

— Да, сыночка, ты был тогда вот еще какой маленькій.

Она показала рукой невысоко от полу. «И кажется, бил иногда Лизу?» «Нѣт, это уж ты на себя наговариваешь. Может быть, раз-д[illegible]гой... но в общем вы жили дружно».

Глѣб здоровался с Вилочкой Косминской — худенькою, высокою дѣвушкой, блондинкой, часто хмыкавшей носом. Из другой комнаты выглядывали усы Артюши.

— Мама, спросила Лиза: ты любила Усты?

Мать улыбнулась.

— Мы жили там очень скучно.

— А нам с Глѣбом нравилось. Глѣб, правда, там хорошо было? Глѣб отвѣтил серьезно и как бы задумчиво:

— Лучшее время жизни.

Мать взяла лизину голову руками, пригладила выбившуюся кудерьку.

— Слава Богу, вам хорошо было.

Вилочка вновь хмыкнула носом. — Господа, чай начинаю разливать.

Мать поднялась, всѣ двинулись в столовую. Усты, на мгновеніе выплывшіе — для одних заря, для других заточеніе — вновь канули, чтобы дать мѣсто другому.

А другое это — столовая. В студенческом синем сюртукѣ, с золотыми пуговицами, с бобриком на небольшой головкѣ засѣдал уже там Артюша, пил чай с

блюдечка и подмигивая не то самому себѣ, не то всему міру, напѣвал:

«Ай, грайте музыки,
«Натягайте басы...

— начало пѣсенки, продолженіе которой лучше-бы мать и не знала: впрочем, дальнѣйшаго он при ней и не изобразил.

Чай вышел довольно веселый. Мать не стѣсняла. И сама нынче была в хорошем расположеніи: она с дѣтьми, дѣти ласковы, молодежь тоже приличная. Мать раза два даже так разсмѣялась, что Лиза бросилась ее цѣловать, пощекотала у шеи, как в дѣтствѣ дѣлала, в знак восторга.

Вспоминали опять Шаляпина. Разсказывали о нем матери. Артюша вдруг вскочил, присѣл на корточки и как бы в восторгѣ три раза перевернулся вокруг себя самого. Бѣшено крутил усы.

— Як на сцену выйде, як начне пѣть, то просто таки... у-у, собачій сын как поет!

Потом бросился цѣловать матери ручку, ухватил Глѣба, с ним пытался танцовать. Вилочка хмыкала носом за самоваром. Послѣ чаю Лиза сыграла с ней в четыре руки увертюру «Коріолана». Мать слушала уже серьезно. Артюша тихо сидѣл. Ей пріятно было — Лиза сдѣлала большіе успѣхи.

За ужином ѣли окорок, пріѣхавшій с матерью из Балыкова. Долгій путь — знатный гостинец. Чокнулись и наливочкой за здоровье матери.

— Дай Боже! сказал Артюша. — И почаще к нам в Москву наѣзжать. Глѣб, за маменьку! Глѣб, коллега! Я Университет, вы Техническое. Вмѣстѣ и рядышком. У нас забастовка буде, то вы поддержите, у вас что нибудь, то и мы тут как тут, зараз развернемся.

— Какая забастовка? спросила мать. — Развѣ пред-

полагается что нибудь? Артюша быстро взглянул на Лизу, будто смутился.

— Это я так... вообще. Никакой забастовки и нѣт, а я просто на случай... по товарищески.

— Да, я что то слышал, сказал Глѣб разсѣянно: будто у вас неспокойно.

Вид у него был такой: слышал да мало заинтересовался.

Разошлись в началѣ одиннадцатаго. На углу Арбата и Староконюшеннаго Глѣб нанял извозчика — завезти мать на Неглинный, а самому дальше, в Гавриков. Вечер был нехолодный. Порошил снѣжок. Не то метель, не то оттепель. Глѣбу было пріятно ѣхать с матерью. У ечкинскаго подъѣзда она его перекрестила, извозѣц затрусил далѣе, по Трубѣ, гдѣ когда-то видѣл Глѣб герольдов Коронаціи, к Срѣтенкѣ, Красным Воротам. Москва была уже тиха, пустынна. Деревней и метелью вѣяло с Рождественскаго бульвара. Чѣм дальше ѣхал Глѣб, тѣм болѣе завозил его извозчик в темень, глушь ночи. «Ах, скажите вы ей, цвѣты мои...» — как мило мать играла, как все далеко, Усты, дѣтство, счастье.

«Ну, во всяком случаѣ прекрасно было».

В это самое время мать, раздѣваясь в своем номеркѣ, думала о другом. Через два дня надо уже трогаться. Вновь Балыково, сосны, думы. Вновь дѣти далеко. А сегодняшній вечер был очень пріятен. Всетаки...

Что это говорил Артемій о забастовкѣ? Какая забастовка? Из за чего? А если и в Техническом, у сыночки?

Мать отлично знала, что ни в пользу и ни против забастовки ничего не могла сдѣлать. Все-же появилось ощущеніе, что чего-то она в Москвѣ недодѣлала — пожалуй, самаго главнаго. Опять она ворочалась. Заснуть было трудно.

Бор. Зайцев

(Продолженіе слѣдует)

ИСТОКИ *)

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I.

К очередному засѣданію совѣта профессоров накопилось нѣсколько важных дѣл; пренія должны были затянуться. Михаил Яковлевич предупредил жену, что не вернется к обѣду. В послѣднее время ему было все тяжелѣе наединѣ с Лизой, и он всегда был рад случаю пообѣдать в ресторанѣ.

— Это как нельзя болѣе кстати, — сказала Елизавета Павловна. — Я тоже ухожу. Значит, обѣ наши красавицы могут нынче отдохнуть. Я их отпущу.

— И прекрасно, — холодно замѣтил Черняков. Он демонстративно не спросил жену, гдѣ она обѣдает, и сам подумал, что его семейная жизнь свелась к незначительным демонстраціям, которых Лиза, повидимому, даже не замѣчала.

Засѣданіе было назначено на два часа, слѣдовательно должно было начаться в три. Перед засѣданіем Михаил Яковлевич читал лекцію. Она прошла с успѣхом, студенты апплодировали, хотя и в мѣру. «Конечно, не «бурные апплодисменты, переходящіе в овацію», но «аудиторія наградила лектора рукоплесканьями», — с усмѣшкой подумал, сходя с кафедры, Черняков.

В залѣ засѣданій собралось уже довольно много людей. В первой группѣ стоял молодой радикальный профессор, ставшій в послѣднее время любимцем учащейся молодежи. Он обладал способностью с необык-

*) См. 4-ую, 6-ую, 7-ую, 8-ую, 9-ую 10-ую и 11-ую книги «Нового Журнала».

новенным подъемом высказывать мысли, бывшія общими мѣстами в радикальном кругу. Михаил Яковлевич поддерживал с ним корректныя отношенія, как со всѣми, но почему-то этот профессор всегда своим видом нагонял на него дурное настроеніе, — оттого ли, что Черняков считал не очень заслуженной его популярность, или потому, что самого Михаила Яковлевича с нѣкоторых пор уже не причисляли к профессорской группѣ молодых (он все не мог с этим примириться: так незамѣтно — и точно вполнѣ естественно! — это произошло). «Ну, да и твоей, братец, популярности хватит ненадолго»... Все в молодом профессорѣ раздражало Чернякова. «Другіе носят бороду — и ничего, а у него борода с надрывом, народолюбивая и соціалистическая... И рубашка с надрывом... А между тѣм имѣет и доходный домик, и капиталец. Удивительно, как у таких людей все хорошо устроено: убѣжденія сами по себѣ, а капиталец тоже сам по себѣ, это вещь посторонняя, соціализма и никого не касающаяся. Он страшно обидѣлся бы, еслиб кто спросил: как же собственно так?.. Я вот живу только на заработок, но я, видите ли, буржуа. И забавно то, что наша глупенькая молодежь именно за соціализм его и любит, ибо лектор он весьма средній. Может, с годами он и свой соціализм продаст, но уж не продешевит себя, как Іуда»... — Михаил Яковлевич сам подумал, что зашел слишком далеко и крайне несправедлив к профессору, ничего дурного не сдѣлавшему. «Да, характер у меня тоже начинает портиться»... Чтобы покарать себя за не-джентльменскія мысли, он любезно поговорил с молодым профессором и даже похвалил его послѣднюю статью.

У окна собралась другая группа. В ней был и Муравьев, разсѣянно слушавшій разговоры. Говорили о ближнем бояринѣ. Так граф Валуев называл ставшаго в послѣднее время всемогущим Лорис-Меликова. Придворныя сплетни немедленно становились извѣстными всей Россіи. Сѣдой профессор разсказывал

новости: Валуев ненавидит ближняго боярина потому, что его собственный конституціонный проект был царем забракован. Не понравился и проект, составленный великим князем Константином. Царь никому кромѣ Лориса больше не вѣрит.

— Августѣйшаго братца государь всегда недолюбливал, — весело сказал профессор-балагур, тот, который слѣдовал методу Светонія. — Михаил Тарелкович умница или, вѣрнѣе, хитрая бестія. За его проект высказываются еще два-три министра. Но они вродѣ тѣх маленьких божков, которые у древних арабов назывались «товарищами Бога». Одного только я, хоть убейте, не могу понять: почему проект ближняго боярина именуется конституціонным? С таким же правом его можно было бы называть, напримѣр, конногвардейским или противочумным. Конституціей там и не пахнет.

— Да он и есть противочумный, — сказал, тоже смѣясь, сѣдой профессор. — Вѣдь все дѣло в борьбѣ с революціонной заразой.

— Что-ж, террор как будто идет на убыль.

Разговор перешел на революціонеров. Черняков разсказал, что в одной из революціонных коммун было постановлено в цѣлях борьбы с предразсудками съѣсть коммунальную собаку.

— Это для испытанія стойкости убѣжденій.

— А женщины у них обязаны носить мужскія сорочки.

— Насчет собаки и сорочек я не знаю, — сказал Муравьев раздраженно. Всѣ на него оглянулись. — Но я знаю, что такой прекрасной молодежи, как у нас, нѣт нигдѣ в мірѣ.

— Это сильное преувеличеніе, — отвѣтил профессор. — У нас, давно извѣстно, все самое прекрасное в мірѣ. Мы очень скромны, но никто так себя не хвалит — с самым скромным видом, — как мы. Стоит напримѣр, на западѣ кому-либо сдѣлать какое-либо открытіе, как тотчас оказывается, что у нас это открытіе было сдѣ-

лано на сто лѣт раньше и по чистой случайности осталось никому не извѣстным. Точно также, когда...

— Это может быть, но я не об этом говорю. Я вообще не охотник до національной психологіи. Шопенгауер справедливо сказал, что каждая нація издѣвается над всѣми другими и всѣ совершенно правы. Однако и без національнаго самохвальства можно сказать, что у нас юноши и дѣвушки не такіе, как на Западѣ. У нас, грѣшных, три четверти помыслов уходит на собственныя, личныя дѣла и дѣлишки, и развѣ одна четверть, да и то нѣт, на заботы об интересѣ общественном. А у них соотношеніе обратное, это вещь рѣдкая и цѣнная. Кромѣ невѣжества, я им ничего в вину поставить не могу, а невѣжество в двадцать лѣт простительно.

— Жаль только, что эти двадцатилѣтніе мальчишки и дѣвчонки находят возможным рѣшать судьбы міра. Они убѣждены, что за них весь рабочій народ. Между тѣм кружок чайковцев выдали именно рабочіе, распропагандированные этими мальчишками.

— Однако, господа, пора бы начинать, — сказал сѣдой профессор, почувствовавшій, что разговор становится непріятным. — Который час? Я часов не ношу... В старину говорили, что имѣть часы грѣх: это провѣрять Господа Бога.

— Без четверти три... Одно все-таки сдѣлал хорошее ближній боярин, это что убрал дорогого нам всѣм графа Толстого, общую нашу симпатію, — сказал профессор-балагур. — Мнѣ говорили, что, когда его уволили, то в дворцовой церкви люди цѣловались: «Толстой ушел, воистину ушел!»

— Ну, и преемничек его ненамного лучше!

— Да может быть, господа, в Англіи то же самое. Вот уж на что ругали Биконсфильда, а многіе находят, что Гладстон еще хуже.

— Ну, это как Глинка, который говорил, что Рубинштейн играет е щ е х у ж е Листа.

Ректор сѣл в кресло посрединѣ длиннаго стола и позвонил в колокольчик. Засѣданіе началось.

«Отчего они так любят говорить?» — думал Муравьев, слушая пренія. По каждому вопросу высказывалось не менѣе пяти-шести профессоров. Всѣ они говорили складно, гладко, даже интересно. Павел Васильевич соглашался было с одним оратором, когда выступал другой, говорившій не менѣе убѣдительно; трудно было не согласиться и с ним, хотя он возражал первому. «Должно быть, это потому, что всѣ переливают из пустого в порожнее. А может быть, дѣло просто в моем совершенном равнодушіи к их борьбѣ, не стоющей выѣденнаго яйца»... Он перестал слушать и начал рисовать на лежавшем перед ним листѣ бумаги свой новый спектроскоп. «Кто у них так прекрасно чинит карандаши?... Вот, теперь еще и этот!.. Шепелявый, а туда же!.. Приду домой, выпью чаю с лимоном и прилягу. Незачѣм и работать, за послѣдніе два мѣсяца не было ни одной мысли... Раньше шести вѣрно не кончим... Как же мнѣ быть с Машей?».. Павел Васильевич чувствовал, что с обѣими его дочерьми, особенно с младшей, происходит что-то очень тяжелое. Это горе у него совпало с другим, — в его жизни научная работа занимала такое большое мѣсто, что огорченіе от ея неудач могло сравниться с семейным несчастьем. Вдобавок, работа, быть может, не шла именно от того, что для нея требовалось душевное спокойствіе. «Спросить ее — опять скороговоркой скажет: «ничего, рѣшительно ничего, папочка»...

Засѣданіе кончилось рано: главное дѣло было отложено, чѣм, повидимому, несмотря на его важность, всѣ были очень довольны. Черняков собирал компанію для обѣда в ресторанѣ. Уходя Павел Васильевич отозвал зятя в сторону.

— У меня нынче есть билет в Александринскій театр. Торжественный спектакль в честь Георгіевских кавалеров, кажется, сегодня их праздник. Я, разумѣется,

не пойду, Маша тоже не может. Хотите пойти, Миша? — спросил он, как всегда дѣлая над собой небольшое усиліе, чтобы так назвать зятя. Они остались на вы послѣ женитьбы Чернякова. Павел Васильевич не был на ты почти ни с кѣм. В виду разницы лѣт, зять называл его по имени-отчеству.

— А что дают?

Муравьев развел руками.

— Ей Богу, не знаю. Мнѣ всучили билет. Вот он... Или Лизѣ отдайте.

— Лиза на такой спектакль не пойдет, убѣжденія не позволяют, — сказал Михаил Яковлевич. — Ну что-ж, спасибо за подарок. А как вы, Павел Васильевич? Что-то вид у вас озабоченный?

— О нѣт. Просто работа не очень идет, я всегда в таких случаях не в духѣ.

— Работа пойдет. Это бывает, я по себѣ знаю.

Компанія для обѣда не образовалась, да и было еще слишком рано. Михаил Яковлевич вспомнил, что давно не был у сестры. «Развѣ Колѣ отдать билет?» Ему самому не очень хотѣлось идти в театр.

Швейцар поздоровался с ним как будто нѣсколько смущенно. «Или о н здѣсь?» — с непріятным чувством спросил себя Черняков. Послѣ того, как его сестра и Мамонтов почти одновременно вернулись из заграницы, Черняков старался не встрѣчаться с Николаем Сергѣевичем, старался даже о нем не думать. Он рѣдко ссорился с людьми, и, когда ссорился, не очень огорчался, тѣм болѣе, что почти всегда был прав в ссорах. «Бог даст, помиримся, а нѣт, так tant pis», — говорил он себѣ в таких случаях. Мамонтов был школьный товарищ и старый друг; но и разрыв с ним не слишком огорчил бы Михаила Яковлевича, еслибы произошел по какой-либо допустимой причинѣ. Тут же непріятнѣе всего было то, что причины как будто не было. Собственно

не было даже и разрыва: был только большой холод, о причинах котораго думать не слѣдовало.

— У барыни гости, Василій? — спросил Черняков, отдавая шубу. О нем в домѣ сестры никогда не докладывали.

— Их сіятельство, граф Лорис-Меликов, — вполголоса, значительным тоном сказал швейцар. Михаил Яковлевич остановился. «Вот так штука! Не помѣшаю ли я?.. Что-ж, не уходить же теперь!» — нерѣшительно подумал он. — «Послать спросить Соню? Перед Василіем неловко»...

— А Николай Юрьевич дома?

Коли дома не было. Швейцар, не вѣшая шубы, поглядывал на Чернякова, точно понимал причину его замѣшательства. Михаил Яковлевич нахмурился и прошел в гостиную.

— Ах, как я рада, что ты пришел, Миша! — сказала Софья Яковлевна. — Я тебя искала весь день, и нельзя было прійти болѣе кстати... Позвольте, Михаил Таріелович, представить вам моего брата, — обратилась она к сидѣвшему у камина генералу в парадном мундирѣ с голубой лентой. — Граф Лорис-Меликов.

Генерал поставил на столик чашку, привстал и крѣпко пожал руку Чернякову, окинув его внимательным взглядом.

— Профессор Черняков? Очень рад познакомиться. Знаю, слышал, читал, — сказал он с привѣтливой улыбкой. Михаил Яковлевич только поклонился. Лорис-Меликов был слишком высокопоставленным человѣком для того, чтобы можно было отвѣтить: «Я тоже очень рад» или «Я тоже знаю и слышал». «На вид невзрачный, а лицо умное. Это, кажется, Андреевская лента?..» Черняков не раз встрѣчал сановников в домѣ сестры, но Андреевских кавалеров никогда не видал.

II.

.....

III.

«Я знаю, надо дѣлать поправку на то, что они говорят в обществѣ либеральных людей», — взволнованно думал Черняков, выходя из дома сестры. — «Но он несомнѣнно замѣчательный человѣк и, быть может, именно ему и суждено вывести Россію на путь нормальнаго конституціоннаго развитія. Разумно ли предвзято-отрицательное отношеніе к нему со стороны наших радикалов, Михайловских и tutti quanti? «Лисій хвост и волчья пасть», это не разговор! В первый раз министр, и даже не просто министр, а фактическій глава правительства протягивает нам руку. Было бы безуміем, еслибы его протянутая рука повисла в воздухѣ!»

Михаил Яковлевич допускал, что из бесѣд с Лорис-Меликовым может выйти большое политическое дѣло, и ему хотѣлось поскорѣе обсудить вопрос с нѣкоторыми ближайшими единомышленниками. «Конечно, я не закрываю глаз на то, что личная любезность обладает большой подкупательной силой и заставляет закрывать глаза на многое. Он был со мной очень любезен, это правда, но развѣ в этом дѣло? И развѣ я на что-либо закрываю глаза? Я все знаю и, конечно, мы ни на одну іоту не отступим от наших принципов и политических требованій. Если они пойдут нам навстрѣчу, слава Богу, и будет ему великая историческая честь. А нѣт, так прощайте, ni vu ni connu, мы вам сказали правду, а ваше дѣло принять или не принять наши условія. И первым нашим условіем, конечно, будет созыв не шуточнаго, а настоящаго парламента, введеніе в Россіи подлинной конституціи. Мы за властью не гоняемся и от нея не отказываемся. Никаких личных интересов у нас и у меня

в частности нѣт», — говорил себѣ Михаил Яковлевич совершенно искренне.

Личный интерес им в самом дѣлѣ не руководил, но он не мог не понимать, что на этих собраніях в домѣ его сестры на его долю выпадет одна из руководящих ролей. Для такого дѣла надо было создать «иниціативную группу». Иниціаторов же иниціативной группы естественно должен был намѣтить он сам. «Затѣм все придет в норму, и я буду настаивать, чтобы на главныя роли были выдвинуты люди старше и извѣстнѣе меня». Очень подходил для бесѣд с Лорис-Меликовым редактор его журнала; подходили два извѣстных адвоката; необходимо было пригласить трех или четырех профессоров. «Может быть, и из писателей кого-нибудь? Но очень расширять первоначальный состав участников бесѣд тоже не слѣдует... Главное, чтобы позднѣе моральная отвѣтственность за отказ от таких встрѣч не пала на нас. Да, было бы истинным безумiем, еслибы его рука повисла в воздухѣ». Черняков впрочем почти не сомнѣвался, что рука в воздухѣ не повиснет, но думал, что кое-кто из его единомышленников от бесѣд с Лорис-Меликовым откажется.

Михаил Яковлевич еще недавно был настроен мрачно. Его несчастная семейная исторiя, как ему казалось, разбила его жизнь. Однако в самое послѣднее время Елизавета Павловна нѣсколько измѣнилась. Перемѣна произошла и в ея наружности. Лицо у Лизы вытянулось, стало блѣднѣе; она почему-то перемѣнила прическу. Все это очень к ней шло, — и тревожило Михаила Яковлевича. «Что-то, кажется, ее грызет? Неужто их Рокамболевскія дѣла?..» Он все-же старался вѣрить, что в наиболѣе Рокамболевских дѣлах его жена участія не принимает: это было бы слишком ужасно. Лиза стала и душевно мягче. Ея прежняя рѣзкость почти исчезла. «Она всегда жила на какой-то пружинѣ, и теперь эта пружина как будто сдала. Вопрос, почему сдала, и хорошо ли это или плохо? Возможно и то, и другое», — со своей про-

фессорской логикой думал Михаил Яковлевич. Теперь, в том радостном и возбужденном настроеніи, в котором он находился, ему казалось, что как-то устроится и его личная жизнь.

Созданіе инициативной группы не слѣдовало откладывать. «Сейчас уже дома никого не застанешь»... Черняков вспомнил, что один из намѣченных им участников бесѣд — записной театрал. «Вѣрно он нынче будет в Александринкѣ. Тогда, пожалуй, не стоит обѣдать: послѣ спектакля отправимся с ним к Палкину и в предварительном порядкѣ провентилируем вопрос». Он посмотрѣл на часы. Еще можно было заѣхать домой за биноклем.

Окна кабинета в его квартирѣ были освѣщены. «Так Лиза дома», — радостно подумал он, входя. На лѣстницѣ был непріятный запах сыра. В их новом благоустроенном домѣ этого никогда не случалось. «Надо будет сказать Степану». Запах усилился на площадкѣ и как будто шел из их квартиры. Из за двери слышался мужской голос, смѣх Елизаветы Павловны. «Странно!» — подумал Михаил Яковлевич и отворил дверь ключем. Голоса тотчас замолкли. Лиза вышла в переднюю из освѣщенной кухни, затворив за собой дверь.

— Добрый вечер... Но вѣдь вы сказали, что не будете обѣдать дома?

— Да... Вы кстати сказали то же самое... Засѣданіе кончилось раньше, чѣм я думал. Павел Васильевич дал нам билет на сегодняшній парадный спектакль в Александринском театрѣ. Не хотите ли вы им воспользоваться?

— Я? Нѣт, я занята. Но почему бы вам не пойти?

— Я и пойду, если вы не хотите. Я вернулся за биноклем. У вас, кажется, гости?

Она засмѣялась.

— Что-ж дѣлать, попалась! Мой любовник сидит на кухнѣ.

Он холодно, без улыбки, смотрѣл на нее, ожидая объясненій. Ему показалось, что Лиза смущена.

— Это лавочник принес сыр... Вы надѣялись пообѣдать дома? У нас ничего нѣт и вдобавок, обѣ наши бабы ушли, я их отпустила.

— Нѣт, я пообѣдаю в ресторанѣ, — отвѣтил он и, взяв в кабинетѣ бинокль, снова вышел. «В самом дѣлѣ какая-то сцена из пьесы с адюльтером»... В передней Михаил Яковлевич невольно бросил взгляд в сторону кухни.

— Ушел ваш поставщик сыра?

— Ушел... Вы на меня сердитесь?

— Я давно поставил себѣ правилом ни на что не сердиться... До свиданья.

На лѣстницѣ Михаил Яковлевич столкнулся с каким-то господином в военной фуражкѣ, неторопливо поднимавшимся на площадку. Оба они посторонились, пропуская друг друга, и улыбнулись. «Гдѣ-то я его, кажется, встрѣчал? Уж не к нам ли он?» — подумал Черняков. Но господин на их площадкѣ не остановился и так же медленно, не оглянувшись, пошел вверх по лѣстницѣ в третій этаж.

Извозчика не было. Михаил Яковлевич остановился на углу, у освѣщеннаго фонарем круглаго столба, и принялся разыскивать афишу Александринскаго театра. Попадались все другія афиши. «Оперетка... Крестовскій»... Черняков ахнул: господина, только что столкнувшагося с ним на лѣстницѣ, он видѣл в Липецкѣ в тот день, когда читал книгу штабс-ротмистра Крестовскаго о русско-турецкой войнѣ.

Собственно в происшествіи ничего особеннаго не было. Черняков отлично знал, что Лиза постоянно встрѣчается с революціонерами. Но он не думал, что они бывают в их домѣ тайком от него. «Конечно, он шел к нам! Значит, поднялся в третій этаж для отвода глаз!» — В третьем этажѣ жил старый полковник. — «И этот

«лавочник» в седьмом часу вечера! Нѣт, положительно нам надо поговорить с ней обо всем очень серьезно!..»

IV.

Михайлов на лѣстницѣ тотчас узнал Чернякова, лицо котораго навсегда запомнил в Липецкѣ. «Все путает!» — сердито подумал он о Лизѣ. Постояв нѣсколько минут на площадкѣ третьяго этажа, он осторожно спустился, прислушался, затѣм дернул звонок так, как полагалось.

— Ты говорила, что у тебя никого не будет, — проворчал он, войдя в переднюю. — А он тут как тут!

— Вы сначала поздоровались бы, Дворник, — сказала Лиза. — Будьте пай-мальчик, скажите «здравствуйте, тетенька»... Кто «тут как тут»?

Он большинству членов партіи говорил «ты», но Елизавета Павловна, как и нѣкоторые другіе, продолжали говорить ему «вы». Михайлов с этим не считался: как кому пріятнѣе, так пусть и говорят. К Лизѣ Черняковой он относился благодушно-пренебрежительно. Толка от ея работы было мало, да он ничего важнаго ей и не поручил бы. С нѣкоторых пор подумывал даже о том, как бы под благовиднымъ предлогом отправить ее заграницу.

— Твой муж. Я с ним встрѣтился на лѣстницѣ.

— «Мой муж» не имѣет чести быть с вами знакомым, Дворник, — отвѣтила Лиза, раздражавшаяся когда революціонеры называли Михаила Яковлевича ея мужем. Михайлов знал, что брак Лизы фиктивный, но это мало его интересовало. Для него в их бракѣ был важен только надежный адрес. — Да, Черняков нагрянул неожиданно. Но он Богдановича и Якимовой не видѣл, хоть они уже здѣсь.

— Нѣт никаких Богдановича и Якимовой. Есть Евдоким Кобозев и его жена Надежда... Впрочем, с ея бумагой что-то неладно: не то она Надежда, не то Елена,

это надо будет провѣрить... Знаю, что они здѣсь: сыром пахнет во всем домѣ! Вѣдь я велѣл ему положить побольше бумаги. Из за таких улик люди иногда и гибнут. П-поймите же, что если мы не поставим технику на надлежащую высоту, то все пойдет к чорту.

— Все равно, все пойдет к чорту, — широко зѣвая, сказала Лиза. Он бросил на нее гнѣвный взгляд. — Какая же улика сыр?

— Если их схватят, ты будешь знать, какая улика! — сердито отвѣтил Михайлов и прошел на кухню. «Как можно скорѣе сплавить ее!» — рѣшил он. За кухонным столом пили чай высокій бородатый человѣк и некрасивая, плохо причесанная женщина. Они были одѣты по простонародному.

— Здравствуйте, Александр Дмитріевич. Как вас Бог милует? — радостно спросила Якимова. Он критически ее осмотрѣл и остался доволен. К ней он относился благосклонно. Якимовой предназначалась роль лавочницы в домѣ на Малой Садовой, и у нея был развѣ один шанс спастись из десяти.

— Я не Александр Дмитріевич, а Дворник.

— Вы наш дорогой отставной поручик артиллеріи Константин Николаевич Поливанов, — сказала Лиза, наливая ему чаю. — С каким сыром прикажете бутерброд? У нас все есть... Они третій день зубрят, готовятся к экзамену.

— Напрасно купили такія большія порціи, денег ох как мало, — сказал Михайлов, садясь. Он посмотрѣл на Богдановича, неодобрительно качая головой.

— Чѣм я опять провинился, барин?

— Бѣда с вами. Умное лицо. Просто профессор какой-то!

Всѣ засмѣялись. Дѣйствительно, Богданович наружностью не походил на лавочника.

— Значит, горе от ума. Другіе, напротив, хвалят, Фигнер говорила: просто охотнорядец!

— Вот ты, Надежда, гораздо лучше, — похвалил

Михайлов. Он чуть было не сказал, что Якимова безобразна как смертный грѣх. Впрочем, в душѣ не понимал, почему она могла бы обидѣться или огорчиться; по его мнѣнію, это для нея было большим преимуществом: не будут приставать дворники и сосѣди.

— А что? Настоящая дура-баба? Да еще морда, правда? — почти совсѣм весело спросила она, угадав его мысль.

— Молодцом. Хорошо тоже, что чай пьешь в прикуску, надо пріучаться. Берите с нея примѣр, Евдоким. А вот курить в лавкѣ, Надежда, думать не смѣй! — строго сказал он. — П-первый кто зайдет донесет полиціи: лавочница курит, тут что-то не так.

— Да мы еще вѣдь не скоро въѣзжаем, — сказал, вздыхая, Богданович. — Ремонт, оказывается, довольно затяжной.

— Ничего не подѣлаешь, — сказал Михайлов и отпил глоток чаю. — Ну-с, ладно, пожалуйте бриться. Какіе бывают сыры, Евдоким?

— Сычужные и кисломолочные. Сычужные дѣлятся на твердые и мягкіе.

— Сычужные дѣлятся на коровьи, овечьи и козьи, а уж потом на твердые и мягкіе. Какіе есть коровьи мягкіе? — обратился он к Якимовой.

— Лимбургскій, бри, камамбер, Жерве, куломмье.

— «Жерве», «куломмье», — передразнила Лиза ея русское произношеніе французских названій. — Да кто у нас эти сыры спрашивает? У нас знают швейцарскій, зеленый, голландскій, мещерскій, вот и все.

— Ты кончила? — презрительно спросил Михайлов.

— Кончила.

— Ну, так спрячься. Лавка между Невским и Итальянской, там живут богатые люди, они знают всѣ сыры. Сколько стоит фунт рокфора? — спросил он Богдановича. В это время раздался условный звонок. Михайлов взглянул на часы и одобрительно кивнул головой. — Аккуратны.

— Это мой дѣтскій сад, сигналисты, — пояснила Лиза и, простившись с Богдановичем и Якимовой, вышла в переднюю. В квартиру вошли Маша и два молодых человѣка. Маша потянулась было, чтобы поцѣловать старшую сестру, но спохватилась. Елизавета Павловна начальническим тоном спросила:

— Все в порядкѣ?

Старшій из молодых людей, улыбаясь, доложил, что все в порядкѣ, очень вѣжливо поздоровался с хозяйкой, ловко помог Машѣ снять ботики. Другой юноша угрюмо пожал Лизѣ руку, не сказав ни одного слова.

— Пожалуйте сюда, — уже по товарищески сказала им Елизавета Павловна. У нея сердце сжалось при видѣ Маши. «Эти глаза!.. От румянца и слѣдов не осталось. Ах, зачѣм, зачѣм я ее к нам ввела!» — в сотый раз подумала Лиза. — Ну, вот, садитесь, господа хорошіе. Чаю хотите? Впрочем, я лучше вам дам коньяку, вѣдь очень холодно.

Лиза все не могла найти надлежащаго тона с этими двумя молодыми людьми, не знала даже, как их называть. Она вначалѣ радостно ухватилась за предложеніе Михайлова «поработать с молодежью». Отвѣтила, как всегда полушутливо, что такая работа «зажжет ее революціонным огнем». Теперь ей казалось, что молодежь попалась не интересная и никого огнем зажечь не может. «Да, чего ждать от этих мальчиков? Не мѣшало бы их накормить. Кажется, на кухнѣ что-то есть, но гдѣ? Впрочем, им не надо знать, что там старшіе... Этот, говорят, страшно бѣдствует».

Рысаков, смущенный роскошью квартиры, сидѣл в креслѣ, не прикасаясь к спинкѣ, и молча мял безформенную фуражку, скатывая ее в трубочку. Это был совсѣм мальчик. Ему было девятнадцать лѣт, а на вид казалось шестнадцать. «Этакое воплощеніе радости жизни! Именно «Мы-ж утратим юность нашу — Вмѣстѣ с жизнью дорогой», — подумала Елизавета Павловна,

больше всего любившая у Пушкина эти два стиха. Рысаков состоял в наблюдательном отрядѣ, докладывавшем обо всѣх важных дѣлах Перовской, которая теперь, под именем Воиновой, жила в одной квартирѣ с Желябовым. Лизѣ им собственно ни о чем докладывать не приходилось. Михайлов придумал эти доклады больше для того, чтобы ее занять.

Второй юноша, постарше, Гриневицкій, впрочем теперь называвшійся как-то иначе, одѣт был лучше, чѣм Рысаков, носил бѣлую рубашку с отложным крахмальным воротничком, с большим темным галстухом бабочкой. Пока Елизавета Павловна доставала бутылку, рюмки, печенье, Гриневицкій внимательно разсматривал картины и гравюры на стѣнах. Кто-то говорил Лизѣ, что он прекрасно рисует цвѣты и очень любит живопись. Любезно улыбаясь, он помог хозяйкѣ поставить поднос на стол, сказал, что выпьет с удовольствіем, затѣм похвалил коньяк. Рысаков уронил печенье, разсыпавшееся на коврѣ, и густо покраснѣл, оглянувшись на хозяйку. «Бѣдный бука, мама далеко», — подумала Лиза. Гриневицкій доложил о первом номерѣ «Рабочей Газеты». Говорил он медленно, с легким польским акцентом, кратко и ясно. Лиза одобрительно кивала головой, точно это революціонное изданіе чрезвычайно ее интересовало. «Кажется, умный мальчик»... Собственно Гриневицкій был почти одних лѣт с ней, но она примкнула к партіи раньше, и как-то так вышло, что он причислялся к молодежи, а она к с т а р и к а м. Елизавета Павловна одобрила его дѣйствія по выпуску газеты и начала общій политическій разговор. Молодой человѣк и этот разговор поддержал вполнѣ прилично. «Фуражка у него польская, с коротенькими полями. Кажется, он из литовских шляхтичей. Недурен собой, только волосы — щетина. Руки красивыя, ногти чистыя. Конечно, он толковѣе того угрюмаго увальня. Но и из него толка не будет», — почему-то рѣшила Лиза. Ей никак не приходило в голову, что именно этот мягко

улыбающійся юноша, хорошо рисующій розы, убьет Александра II.

— ...Да, да, тысячу раз прав поэт: «бывали хуже времена, но не было подлѣй», — сказала Лиза, оглядываясь на Машу, которая сидѣла на стулѣ у стѣны, безжизненно опустив руки. Она все время молчала.

— Он вѣдь только передѣлал это в стихи, мысль принадлежит Хвощинской: «бывали времена хуже, но подлѣе не было», — улыбаясь, поправил ее Гриневицкій. Лиза на него посмотрѣла. «Пани Хвощинской», — мысленно сказала она за него.

— Так прочтите же эту передовую статью, — сказала она и усѣлась в креслѣ удобныѣе. «Читает с подъемом» — думала Елизавета Павловна, разсѣянно его слушая. «Были красные дни и на русской землѣ! Было время, когда на привольных полях и в лѣсах дремучих, на рѣках и морях был хозяин один — вольный русскій народ. Ни царей с их чиновниками, ни помѣщиков, ни лживых попов, никого он не знал. Управлял сам собой. Сам давал законы. Сам страну защищал, не нуждаясь в солдатах», — читал Гриневицкій. — «Когда же это были такіе красные дни?» — думала Лиза. — «И совсѣм я не хотѣла бы тогда жить, в лѣсах дремучих... Они находят, что теперь хуже»... — «...Всяк остерегается другого, какой-то темный дух, дух злобы и корысти всѣми обуял. Брат брата предает; мать дочерью торгует; отец не рад семьѣ. Свѣт Божій опостылѣл»... — «Тут они все-таки хватили. Неужто это Желябов писал?.. Но гдѣ же о царѣ? Да, вот»... — «...Что же сам запѣвала? Какую роль царь ведет? О, это злодѣй обстоятельный! Сейчас видать — всему дѣлу голова... Не любит царь сѣрой публики и по улицѣ-то не ѣдет, а мчится как оглашенный: видно на ворѣ шапка горит»... — «Что-ж, это понравится, может быть так и надо писать»... — «...И кипит потѣха молодецкая, и глядючи на нее щелкает царь зубами: прячется губитель за спины черкесскія от своего народа русскаго. Да не уйдет»...

— Ну, что-ж, недурно, — сказала Елизавета Павловна, когда Гриневицкій кончил статью.. — Хотя Герцен, вѣрно, написал бы лучше.

Гриневицкій весело разсмѣялся.

— Совсѣм плохо написано. Я удивился. Мнѣ и читать было совѣстно.

«Все-таки этот юноша не должен так выражаться о членах Исполнительнаго Комитета», — с легким неудовольствіем подумала Лиза. «Ничего не поймешь в нем, на него г л я д ю ч и »... Она посмотрѣла на часы, хотя никуда не спѣшила. Гриневицкій тотчас встал. За ним с видимым облегченіем поднялся и Рысаков.

— Что-ж, не хотите закусить, друзья мои? Развѣ вы так спѣшите?

Гриневицкій поблагодарил и объяснил, что они должны быть по дѣлу у Воиновой, — не сказал, по какому дѣлу. Елизавета Павловна знала, что сигналистам (их еще иначе называли «слѣщиками») поручено слѣдить за часами выѣзда царя. Но Александр II в послѣднюю недѣлю не выѣзжал из Зимняго Дворца, и сигналистам нечего было дѣлать. Михайлов и Желябов присматривались к ним, чтобы выбрать из них кандидатов на болѣе опасную работу. Оба они твердо обѣщали Лизѣ, что Машу ни на какую другую работу не возьмут. «Нѣт, ей и это не по силам!» — подумала Елизавета Павловна, все тревожнѣе поглядывая на сестру. «Если она узнает, что за мной установлена слѣжка, то она сойдет с ума!»..

— Ну, что-ж, если п о д ѣ л у и к В о и н о в о й, то я вас, друзья мои, не задерживаю. Долг прежде всего, — шутливо сказала Лиза, давая понять, что все знает. Она вышла за ними в переднюю и чуть было не попросила молодых людей потом проводить Машу домой. «Впрочем, юный шляхтич навѣрное ничего страннаго не нашел бы в том, чтобы проводить шановну паненку», — подумала она, почему-то забавляясь этой игрой. — «Но Маша умерла бы от стыда».

— Как папа?

Маша тяжело вздохнула.

— Жалуется, что не идет работа.

— А ты сама, Машенька? — быстро спросила Елизавета Павловна.

— Я? Я отлично! — испуганно отвѣтила Маша. Лиза крѣпко ее поцѣловала. Рысаков сконфуженно отвернулся. Гриневицкій с той же мягкой ласковой улыбкой смотрѣл на сестер.

Елизавета Павловна вернулась в гостиную, сѣла на диван и положила на колѣни бархатную подушку. «Что то у нас стали плохо топить».. Она взяла со столика книгу «Отечественных Записок». «Ох, какая скука... Да, папа, Маша... Что-ж дѣлать? Не мы одни... Все наше поколѣніе обречено... Пусть они там торгуют рокфором без меня»...

Маша была назначена в наблюдательный отряд еще весной. В первый раз она слѣдила за Александром II на набережной в день перенесенія тѣла императрицы в Петропавловскій собор. С крѣпости, с судов на Невѣ, с разставленных вдоль рѣки орудій каждую минуту раздавались залпы. Вдруг барабаны забили поход. Издали послышалось пѣніе пѣвчих. Безконечной вереницей шли или ѣхали верхом какіе-то люди в мундирах с траурным крепом. И, наконец, показалась высокая колесница под золоченым балдахином, увѣнчанная золотой короной. Маша знала, что за колесницей ѣдет верхом царь. Она схватилась рукой за фонарь, завѣшенный черным сукном. Ни о каком покушеніи в этот день не было рѣчи; и революціонеры, и Третье отдѣленіе понимали, что в такой день оно невозможно. Машу послали для того, чтобы пріучить ее к наблюденію. Но она почти ничего не видѣла, — впервые поняла, что значат слова «помутилось в глазах». Когда Маша опомнилась, колесница уже была почти посрединѣ моста.

Затѣм был доклад. Она старательно к нему

готовилась, прочла описаніе похорон в газетѣ и кое-как, сильно заикаясь, безпрестанно вспыхивая и блѣднѣя, разсказала, что о н проѣхал в кирасирском мундирѣ, что за ним ѣхали верхом иностранные принцы и великіе князья. Члены Исполнительнаго Комитета старались не замѣчать ея волненія и обмѣнивались замѣчаніями между собой.

— Очень жаль, что нельзя было тут же бросить бомбу, — сказала Перовская. Желябов с недоумѣніем подумал, что больше всего ненавидят царя женщины-дворянки. «Соня его ненавидит гораздо больше, чѣм я, хотя у меня дядю драли на конюшнѣ».

— Молодцом, Машенька. Выйдет из вас прекрасная сигналисточка, — потом ласково сказал он. Машѣ, в виду малой серьезности поручавшихся ей дѣл, еще не дали прозвища, и это ее огорчало. Вначалѣ она сама придумала для себя нѣсколько хороших прозвищ, но не знала, как их предложить товарищам.

— А это, братцы, тѣм болѣе надо цѣнить, что еще года четыре тому назад моя Машенька каждый вечер молилась за матушку императрицу, — сказала, смѣясь, Лиза. Маша вскочила и выбѣжала из комнаты.

Затѣм она еще раза три слѣдила за царем на Екатерининском каналѣ, на Невском. Работа была не опасная. «В первый раз жутковато, а потом привыкаешь», — говорили молодые сигналисты. Маша говорила о себѣ то же самое. Однако Михайлов, внимательно за всѣми слѣдившій и все рѣшительно замѣчавшій, вскорѣ счел нужным перевести ее на другую работу: ей, как еще двум или трем юным членам партіи, было поручено слѣдить за знаками в окнах. Она оставалась в отрядѣ и продолжала дѣлать доклады Перовской.

Послѣ экзамена, отпустив с чернаго хода чету Кобозевых, Александр Михайлов со стаканом чаю в рукѣ вошел в гостиную. Лиза сидѣла в креслѣ с книгой на колѣнях, но не читала.

— Шикарно живете, — сказал он, с отвращеніем оглянув комнату. До того он здѣсь не бывал. — Еслибы все с толком продать, много динамита можно изготовить.

— Вы нынче обѣдали? Кажется, у нас что-то есть.

— Не надо, я сыра поѣл.

— Да вѣдь там, кажется, не было хлѣба?

— Я отыскал в шкапчикѣ... Ну, как молодежь?

— Ничего, славные юноши. Только очень еще зелены. Им, боюсь, ничего важнаго поручить нельзя.

«А тебѣ можно!» — подумал он. Александр Михайлов не видѣл для Лизы роли в своем хозяйствѣ. «То есть, роль-то, конечно, можно найти, да что из этого выйдет?» В свободное время он только о хозяйствѣ и думал: кого куда назначить. Лиза держалась гораздо лучше сестры, но и она стала нервничать. Михайлов нимало не винил ее в трусости: в их партіи естественный подбор исключал боязливых людей. Однако он знал, что, за самыми рѣдкими исключеніями вродѣ Желябова и его самого, люди не могут долго выносить нестерпимое нервное напряженіе, которое требовалось для террора. Одни сдавали раньше, другіе позже. Лиза, по его мнѣнію, была способна на самыя отчаянныя дѣла, но лишь в минуты подъема. Таких людей он считал опасными: террористическая работа была затяжной и на минутном подъемѣ держаться не могла. Партійной дѣятельности заграницей Михайлов придавал очень мало значенія, но считал возможным назначать на нее уставших людей, — больше для поправки, как в санаторію. Так он недавно отправил в Париж Гартмана, который тоже был далеко не трусливым человѣком. «Как бы ей все это получше преподнести?»

— Старшій совсѣм ничего малый. Жаль, что близорук. Я ему велѣл носить очки. Он был в очках?

— Нѣт. На зло вам без очков.

— Я так и знал! Вѣрно, барышням так больше нра-

вится! — гнѣвно сказал Михайлов. — Я ему покажу!.. Ну, а ты как? У тебя очень скверный вид? Не спишь?

— Отлично сплю.

— Ох, врешь. Хочешь, я дам снотворное?

— Отлично сплю... А вот, Дворник, за мной установлена слѣжка.

— Что ты говоришь? Гдѣ ты замѣтила? Когда?

Толком Лиза ничего не могла объяснить. Ей накануне показалось, что на углу их улицы и Невскаго за ней пошел какой-то подозрительный человѣк. Она подозвала извозчика, погони как будто не было. Михайлов сердито качал головой. «О, Господи! Не может отличить сыщика! А если замѣтила слѣжку, то обязана была тотчас мнѣ сообщить, чтобы мы явку назначили не у нея. Да вѣрно ей просто от нервности приснилось. Поскорѣе ее отправить к Марксу. Нѣт, при Марксѣ уже сидит Алхимик. Кто-то есть этакій вродѣ Маркса в Парижѣ? Еще на какой-то сыр похожа фамилія»...

— П-просто ты вѣрно ему понравилась. Ты нравишься многим мужчинам, — сказал он с искренним удивленіем. Лиза усмѣхнулась. — Молодой?

— Да, скорѣе молодой.

— Смотри, теперь особенно будь осторожна перед поѣздкой. Мы вѣдь рѣшили отправить тебя заграницу.

— Заграницу? «Мы рѣшили»? Кто это «мы»?

— У нас было маленькое совѣщаніе с Тарасом... И с Соней, — сказал он и пожалѣл, что сказал: ссылка на Соню должна была раздражить Аристократку.

— Я не знала, что Тарас и Соня теперь способны думать о дѣлах!

— Ты что хочешь сказать? — спросил Михайлов, нахмурившись.

— Вы отлично знаете, что наши молодожены проводят медовый месяц. Правда, он у них как будто немного затянулся. А Соня уже совершенно забыла, что была невѣстой Старика.

— Это их чч... ч-частное дѣло! — очень строго ска-

зал Михайлов, заикаясь больше обычнаго. Как ни раздражали его любовные романы в партіи, сплетни о них раздражали его еще больше. — Это никого не касается! А работают они сейчас так, как никто другой! Ты просто не знаешь, что говоришь.

— Хорошо... Так не хотите закусить?

— Вот что. Я пришел поговорить с тобой серьезно. Нам давно нужно имѣть человѣка в Европѣ... Там Бог знает что о нас пишут! Недавно в одном нѣмецком журналѣ напечатали статью о кружкѣ чайковцев. И б-болван журналист объясняет: «чайковцы» это по нѣмецки «Theetrinker», и их так прозвали потому, что они пили за работой очень много чая!

Лиза засмѣялась.

— Ну, и пусть пишут.

— Нѣт, общественное мнѣніе Европы нам очень важно. В Англіи у нас теперь есть Гартман. Как ты знаешь, он установил тѣснѣйшую связь с Марксом... Кстати, Маркс нам недавно прислал свой портрет! — говорил значительным тоном Михайлов, точно это было чрезвычайно важно. Дѣйствительно, от Гартмана недавно был получен портрет, подаренный Марксом партіи народовольцев. Они были тронуты и польщены подарком, но рѣшительно не знали, что с ним дѣлать. Едва ли наружность Маркса была извѣстна жандармам; однако самый вид его на стѣнѣ мог сдѣлать подозрительной любую надежную квартиру в Москвѣ или в Петербургѣ. — Слѣдовательно, в Лондонѣ у нас все в порядкѣ. Но главный міровой центр — Париж, и там у нас никого нѣт. Лавров все-таки не наш человѣк, и он немолод, и он профессор. Туда нужно послать Старика, либо тебя, либо вас обоих. Нам надо имѣть представителя при этом... как его? При Рошфорѣ. Ты по французски хорошо говоришь?

— Недурно.

— Ну, вот видишь. Ты там внесешь динамическое начало, — сказал Михайлов, вспомнившій, что Тихомиров говорил что-то такое.

— Я не поѣду заграницу. Это то же самое, что солдату бѣжать с поля сраженія.

— Какой вздор! — сказал он со скучающим видом, точно сто раз это слышал. Михайлов в самом дѣлѣ слышал дословно ту же фразу от Льва Гартмана послѣ того, как они рѣшили его отправить в Париж. Теперь Гартман, повидимому, был вполнѣ доволен заграничной жизнью и как будто возвращаться не собирался. «И с ней будет то же самое»...

Он с большой убѣдительностью объяснил Лизѣ, что отъѣзд по дѣлу партіи не имѣет ничего общаго с бѣгством, что ей дается очень важное отвѣтственное порученіе, что, если за ней слѣдят, то она не может возлагать на товарищей еще дополнительныя заботы по ея охранѣ. Лиза слушала внимательно, и ей казалось, что он говорит правду. Но она чувствовала, что Перовской Михайлов просто не посмѣл бы предложить уѣхать заграницу. Мысль о поѣздкѣ в Париж была неожиданна. «Но что же я сказала бы Чернякову?... А Маша!..»

— Наконец, это не п-просьба, а приказ Исполнительнаго комитета, — сказал Михайлов с силой. — Никто не имѣет права отказываться от порученій, каковы бы они ни были. Комитет находит, что ты сейчас полезнѣе в Парижѣ. Значит, ты ѣдешь в Париж.

Гартману он еще говорил, что послѣ работы на московском подкопѣ человѣк имѣет всѣ права на отдых. Лизѣ Михайлов этого не сказал: за ней важных дѣл не значилось; он знал вдобавок, что услышав об о т д ы х ѣ, Лиза, наотрѣз отказалась бы уѣхать.

— На сколько же времени заграницу?

— На полгода, — отвѣтил Михайлов так, точно тщательно обсудил уже и вопрос о срокѣ. — Мы составили план работы заграницей мѣсяцев на шесть-семь. Впрочем, там будет виднѣе. Теперь еще одно: деньги. Тебѣ рублей тридцати в мѣсяц будет достаточно? Это мы тебѣ дадим, и, разумѣется, оплатим билет.

— Деньги я как-нибудь достану и без вас. Но я еще совершенно не...

— Ну, тогда отлично, а то денег у нас маловато, — сказал он с облегченіем. Теоретически Михайлов все же признавал, что от заграничной агитаціи может быть нѣкоторая, хотя и очень небольшая, польза для партіи. Сам он никогда заграницей не был и очень смутно знал, кто такой Рошфор. «Вѣрно, этому Рошфору на нас начихать», — подумал он. Однако, если маленькая польза от поѣздки Лизы и могла быть, тратить на нее партійныя деньги Михайлову очень не хотѣлось. Теперь и это было в порядкѣ. Лиза говорила, что ни за что не уѣдет, но он больше ее не слушал: знал, что дѣло сдѣлано. — А то, дай чайку, многолюбимая, — перебил он ее, — я выпил бы второй стаканчик.

— А может быть, хотите поѣсть, Дворник? Выпьем с вами винца, а?

— Винцо будем пить, когда выйдет дѣло.

Лиза принесла ему чаю и налила себѣ коньяку. Михайлов сокрушенно смотрѣл и на нее, и на рюмку. «Толка от этой бабы не будет, Бог с ней... Кажется, ничего не забыл?..» Мучившее его дѣло не касалось Лизы. «А то сказать ей?.. Отчего бы и нѣт?..»

— Странный у меня нынче вышел случай, многолюбимая. Хочешь, разскажу?

— Какой случай?

— Ты знаешь, мнѣ удалось раздобыть карточки Александра и Андрея, — сказал Михайлов. Александр и Андрей были террористы Квятковскій и Прѣсняков, за три недѣли до того повѣшенные в Петропавловской крѣпости. — Надо переснять и размножить. Это и долг памяти товарищей, и хорошая пропаганда, значит дѣло самонужнѣйшее. Ну-с, захожу я в одну фотографію на Невском. Принимает дамочка. П-показываю ей, говорю так и так, нельзя ли переснять. — «Нѣт, говорит, нельзя, плохія фотографіи, не выйдет». Карточки и вправду плохія.—«Нѣт, — говорит опять,—возьмите назад, нель-

зя переснять». В это время выходит из задней комнаты сам фотограф. Вѣрно ея муж. — «Что вам угодно?» Я опять объясняю. Взял он карточки и отошел к окну. И вот представь себѣ, она из угла на меня смотрит, и вдруг проводит пальцем вот так. — Михайлов провел рукой по шеѣ. Лиза измѣнилась в лицѣ. — А фотограф как раз говорит: «Что-ж, можно. Сколько штук прикажете?..» Недорого взял.

— Провела рукой по шеѣ?

— Да... Может, простужена была?

— Дѣйствительно странно. Да что за женщина?

— Женщина как женщина. Стояла далеко от свѣта, ничего я особеннаго не замѣтил. Развѣ только что очень быстро говорила: «Нѣт, нѣт, нельзя, возьмите...»

— Да вам не померещилось?

— Не знаю как будто этого за собой. До чортиков не напиваюсь, — сказал он, засмѣявшись нѣсколько принужденно.

— Знаете, я на вашем мѣстѣ больше к этому фотографу не заходила бы.

— Уж очень жаль карточек, я едва раздобыл и обѣщал отдать. Но ты права. Скорѣе всего вздор, а благоразумнѣе не заходить, — сказал он, допивая чай. — Ну, прощай, многолюбимая. Скажи мужу, чтобы поскорѣе раздобыл тебѣ п-паспорт. Лучше всего завтра. Если и есть слѣжка, то пока шпики выяснят, да доложат, да пока при их порядках занесут тебя в списки да лойдет по канцеляріям, ты десять раз можешь получить паспорт. Общественное положеніе у тебя — лучше и желать нельзя... Ты нам будешь очень нужна в Парижѣ, — повторил он. — И еще вот что: если со мной что случится, то уѣзжай немедленно, хотя бы и без паспорта. Владимір тебѣ устроит переход через контрабандистов.

— Почему тогда «немедленно»?

— Потому что, милая, меня выслѣдить не так просто, я матерый волк, осторожный. Если меня арестуют, то это значит, что среди нас есть предатель.

Лицо у него дернулось. Лиза вытаращила глаза.

— Какой предатель? Среди нас предатель? Опомнитесь!

— Скорѣе всего никакого предателя нѣт. По крайней мѣрѣ в Исполнительном комитетѣ... Впрочем, я знаки в окнѣ выставляю аккуратно, не то что иные прочіе. Ежели что, вы увидите этот мой новый знак: сигнал гибели.

— Ну, положим, могут схватить так быстро, что вы не успѣете перемѣнить знака.

— Не на такого напали. Впрочем я так говорю. И не арестуют меня, и предателей среди нас нѣт. Ты не журись. «Спокойся, о княжна, побѣда совершенна! — Разбитый враг бѣжит, Россія свобожденна», — шутливо продекламировал он.

— Не очень он еще бѣжит, враг.

— Увидишь, побѣжит. Скоро получим конституцію.

— Экая радость! — сказала пренебрежительно Лиза.

V.

В Третьем отдѣленіи служил революціонер Клѣточников, перешедшій затѣм, вмѣстѣ со всѣм персоналом, в Департамент Государственной полиціи. Он был дѣлопроизводителем, и через него проходили секретныя полицейскія распоряженія. Этот тихенькій незамѣтный человѣк оказывал партіи огромныя услуги, предупреждая ее об обысках и арестах. Александр Михайлов знал, что партія держится теперь главным образом на услугах Клѣточникова. Он не мог понять, каким образом для завѣдыванья секретнѣйшим столом полиція пригласила совершенно неизвѣстнаго ей человѣка. «Одна баба рекомендовала! Меня бы назначить шефом, остались бы от «Народной Воли» через недѣлю рожки да ножки», — с усмѣшкой думал он.

Михайлов отлично видѣл, что партія чрезвычайно

слаба, что она тоже принимает людей почти без всякаго выбора, что она каждый день совершает самые неосторожные поступки. По его мнѣнію, технику террора можно было бы сдѣлать почти научной. Сам он в Технологическом институтѣ недолго занимался математикой, физикой и химіей. Точность этих наук ему нравилась и соотвѣтствовала складу его ума. Однако, несмотря на свой большой авторитет, он не мог добиться от товарищей всего того, чего требовал.

Как большая часть революционных партій, «Народная Воля» безсознательно поддѣлывалась под военные порядки и под военную дисциплину. Тѣм не менѣе никто из вождей не мог просто п р и к а з ы в а т ь другому вождю, как на войнѣ корпусный командир приказывает дивизіонному. Да и было все-же неизвѣстно, кто самый главный. Высшими органами партіи были Распорядительная комиссія и Исполнительный комитет. Но Распорядительная комиссія ничѣм не р а с п о р я ж а л а с ь, а Исполнительный комитет ничего не и с п о л н я л. В дѣйствительности почти все рѣшали три-четыре человѣка. Если Михайлов, Желябов и Тихомиров бывали между собой согласны, то они в большинствѣ случаев могли провести любое рѣшеніе. В рѣдких же случаях разногласій, обычно побѣждал логикой и упорством Михайлов, хотя Желябов далеко превосходил его краснорѣчіем, а Тихомиров образованіем, умѣньем усваивать, писать и произносить брошюрныя слова.

Техническія требованія Михайлова были просты и логичны; с этим соглашались всѣ. Но исполнять их было трудно. Сам Желябов порою вел себя неблагоразумно. Его картинная наружность вездѣ привлекала вниманіе и легко запоминалась. Тѣм не менѣе он ни за что не соглашался сбрить бороду, носить синіе очки, — говорил, что в очках не будет ничего видѣть. «Врет! Все бабы, бабы!» — с угрюмой насмѣшкой думал Михайлов. — «А главное, вѣрно стал ф а т а л и с т о м! Расплодились у нас эти фаталисты, они-то все и погубят... Должно быть,

«вѣрит в свою звѣзду»! Знаю я эти звѣзды! В нашем дѣлѣ не фатализм, а техника и разсчет»...

Он вел упорную борьбу за знаки в окнах. Люди говорили, что снизу знаки не так легко разглядѣть, что если кто утром забудет перемѣнить знак, то лишь понапрасну вызовет панику. Скрывая злобу, Михайлов отвѣчал, что «если кто забудет» не довод, — не надо забывать, — и что «не так легко» тоже не довод, — террор вообще не такая легкая вещь.

Впрочем, и нѣкоторые из террористов, подчинявшихся его распоряженіям, выполняли их неумѣло. Он предписывал на ночь безшумно придвигать к двери стол или диван, — они так злоупотребляли комнатными баррикадами, что только вызывали подозрѣніе у сосѣдей. Другіе соблюдали правило о знаках, но выставляли, напримѣр, в окнѣ раскрытый зонтик. «Развѣ только послѣдній идіот из жандармов не догадается, что раскрытый зонтик на подоконникѣ — условный знак. Неужто это так трудно понять?» — ядовито спрашивал он и думал, что для всего нужен дар. Сочетанія дара с научной точностью пріемов он ни в ком из террористов не видѣл, хотя отдавал им должное во всем другом.

В самыя послѣднія недѣли Михайлову стало казаться, что одни недочеты техники не объясняют провалов. Его все больше тревожила мысль о возможном предательствѣ. «Что, если и у нас есть и х Клѣточниковы!.. Каким образом мог быть выслѣжен Ширяев? Кто им донес, что Гартман в Парижѣ? Как они узнали его адрес?» Клѣточников сообщил революціонерам, что Гольденберг, желая спасти Россію, выдал правительству важныя партійныя тайны. Однако Гольденберг был арестован год тому назад; того, что террористы дѣлали послѣ его ареста, он знать не мог. Ходил глухой слух, будто Лорис-Меликов в Петропавловской крѣпости разговаривал с Гольденбергом. Этот слух разстроил Михайлова. «В кои вѣки министр пожелал узнать, что мы за люди, и попал на неуравновѣшенного дурака, — пусть бы он по-

вѣсился! Вот Желябов тут был бы на мѣстѣ» (позднѣе Гольденберг в самом дѣлѣ повѣсился от угрызеній совѣсти, поняв, что жандармы его одурачили).

Михайлову казалось, что политика Лорис-Меликова может нанести партіи большой ущерб, лишив ее сочувствія и материальной поддержки людей, которых они пренебрежительно называли либералами. «Эти всѣ бросятся под его крылышко!..» Тревожило Михайлова и то, что в полиціи, в прокуратурѣ стали появляться способные люди. Он слѣдил за ними так же внимательно, как изучал особенности, дарованья, недостатки каждаго народовольца.

Сам он соблюдал всѣ правила революціонной техники очень строго и с удовлетвореніем думал, что у него террор поднялся до уровня науки. На слѣдующій день послѣ своего разговора с Лизой он вернулся домой поздно и, несмотря на крайнюю усталость, продѣлал, как всегда, все что требовалось: придвинул к двери диван, провѣрил знак, просмотрѣл записанныя шифром дѣла, назначенныя на слѣдующій день. Затѣм он еще немного позанялся гимнастикой, лег спать и тотчас заснул.

Утром он пробѣжал газету, — его преимущественно интересовало, не переѣхал ли куда-либо царь. Перед уходом взглянул на шифрованную записку — всегда старался механически ее запомнить послѣдним взглядом,—изорвал листок на мелкіе клочки и сжег их. Он вышел бодрой военной походкой на улицу, прошел по Орловскому переулку на Рождественскую. Слѣжки не было.

Свиданій было множество; Михайлов никуда не опаздывал, его огромная зрительная память безошибочно подавала ему часы и адреса с уничтоженной записки. Завтракал он в трактирѣ, ѣл немного, чтобы не отяжелѣть, но достаточно для поддержанія сил. Послѣ ранняго завтрака он со стороны Невскаго вышел на Ма-

лую Садовую и, не торопясь, направился к Итальянской.

Дом графа Менгдена был намѣчен уже давно и признан вполнѣ подходящим. Государь по воскресеньям ѣздил на развод, чаще всего по Малой Садовой. Правда, он мог также проѣхать по Невскому и Караванной или по Екатерининскому каналу и Инженерной. Возвращался царь во дворец обычно не тѣм путем, которым ѣздил в манеж, и были всѣ основанія думать, что он либо из дворца, либо на обратном пути проѣдет по Малой Садовой. Кромѣ мины, предполагалось разставить на улицѣ метальщиков с бомбами. По мнѣнію Михайлова, Александр II теперь был обречен. «Однако я думал то же самое и в пору московскаго подкопа», — возражал он себѣ, неторопливо проходя мимо дома графа Менгдена.

Для сырной лавки Кобозевых сняли помѣщеніе в полуподвальном этажѣ. Над дверью выше уровня земли висѣла надпись «Склад». «Глупо: «Склад»! Склад чего?» — мимоходом отмѣтил Михайлов, хоть как будто и не смотрѣл в ту сторону. Мѣсто было отличное. Он подумал, что можно вывести и другую линію подкопа на Караванную. «Тогда, при метальщиках, всѣ дороги будут заняты»... Не нравилось ему лишь то, что в домѣ графа Менгдена уже была молочная лавка. «Правда, молочная, а не сырная, но маслом и эти торгуют. Значит, будет конкурренція. Значит, будут слѣдить».

По Итальянской он вышел к Фонтанкѣ, прошел через проходной двор и по Литейному направился на Невскій. Никакой слѣжки по прежнему не было: Михайлов все замѣчал почти автоматически, так что это не мѣшало ему думать. Он соображал, кого взять для работы над подкопом. Требовались выносливые люди. Их было не очень много. На роли метальщиков предназначалась молодежь, — Исполнительный комитет больше надѣялся на подкоп. «Это неправильно. Самое страшное все-

таки быть метальщиком. Тут нужны желѣзные нервы. Надо идти мнѣ или Желябову. Ему нельзя, он нужен для Учредительнаго собранія. Такого трибуна не сыскать. Кто же еще? Есть, конечно, Соня, но мужчина надежнѣе. Старик совершенно не годится и тоже необходим: литературная сила». Из молодых он выше других ставил Гриневицкаго, однако считал совершенно невозможным назначать инородца на такое дѣло. «Нѣт, е г о должен убить чисто-русскій человѣк. Не иначе, как идти мнѣ», — озабоченно думал Михайлов. Теперь как х о з я и н он обсуждал дѣло со стороны, расцѣнивал себя просто как рабочую силу. С одной стороны, никто во всей партіи не подходил лучше, чѣм он, для такого важнаго дѣла; с другой же стороны, лишиться его было бы партіи тоже очень невыгодно: Михайлов допускал, что одного цареубійства будет недостаточно для созыва Учредительнаго собранія; по его замыслу, пришлось бы еще убить великаго князя Владиміра, а затѣм новаго императора. «Без меня они со всѣм этим не справятся. Нѣт, нѣт у них научнаго разсчета. Надо сначала поднять нашу технику... Вот фотограф», разсѣянно подумал он и вошел. Вдруг — послѣ того как швейцар затворил за ним дверь, — Михайлов тревожно вспомнил, что рѣшил к фотографу не заходить. «Что же это? Как же я... Забыл вычеркнуть из записки!.. Да нѣт, вовсе не то, вздор, вздор, мнѣ тогда просто померещилось. Нельзя терять карточки погибших товарищей»... За прилавком стояла та самая женщина. Она увидѣла его, и на ея лицѣ изобразился ужас.

Фотограф Александровскій состоял на службѣ у Департамента Полиціи. У него снимали арестованных революціонеров. Когда Михайлов принес карточки Квятковскаго и Прѣснякова, жена фотографа тотчас их узнала. То ли она ненавидѣла мужа, то ли жалѣла террористов, или просто не хотѣла имѣть на совѣсти грѣх, — эта женщина знаком дала тогда понять Михайлову,

что дѣло идет о висѣлицѣ. Ея муж принял заказ, но она была увѣрена, что незнакомый человѣк за карточками не явится: «Вѣдь не ребенок же в самом дѣлѣ!..»

— Как же, как же, готово! — сказал фотограф. У него на лицѣ была пріятная улыбка, очень не понравившаяся Михайлову. — Отлично вышли, сейчас принесу. Пожалуйста, присядьте, сію минуту-с. — Он пододвинул стул. Жена фотографа выбѣжала из комнаты. — Одна минуточка... Очень хорошо вышли, — повторил, скрываясь, фотограф. «Плохо дѣло! Западня!» — подумал Михайлов и быстро вышел. В домѣ не было проходного двора. Швейцар загородил ему дорогу.

— Пропусти, болван! Не видишь, идут! — повелительно сказал Михайлов и, оттолкнув швейцара, выбѣжал на улицу. На тротуарѣ стоял огромнаго роста человѣк в штатском, котораго он тотчас узнал. Это был околодочный Кононенко, извѣстный своей необыкновенной силой. «Ну, теперь на чистоту пошло!» — сказал себѣ Михайлов и побѣжал по мостовой, нагоняя конку. Он вскочил на площадку и пробѣжал вперед. Кононенко просвистѣл в свисток и ринулся за ним, расталкивая людей в вагонѣ. Михайлов соскочил с другой площадки и на мгновенье остановился: перед ним пронесся лихач. Револьвер был в заднем карманѣ брюк. «Конец!» — подумал Михайлов. Околодочный тоже соскочил и вцѣпился в него своими желѣзными руками. В конкѣ всѣ повставали с мѣст. Со стороны Владимірской церкви бѣжали городовые. «Кончено! Совсѣм кончено!.. Что будет с партіей!..» — успѣл подумать Михайлов.

Кононенко не имѣл понятія о том, кого арестовал. Не знали этого и в Департаментѣ полиціи. Получив донесеніе фотографа, Департамент предположил, что маленькое дѣло революціонеры должны были поручить маленькому человѣку, и отрядил для дежурства в сосѣднем подъѣздѣ лишь одного околодочнаго. Позднѣе полицейскіе сановники, услышав (от оставшагося неиз-

вѣстным освѣдомителя), какой туз им т а к попался, только разводили руками. Александр Михайлов считался, вмѣстѣ с Желябовым, самым опасным террористом Россіи; об его ловкости и искусствѣ ходили легенды. Полицейскіе, конечно, не могли знать о знакѣ, поданном ему женой фотографа. Но и без того было невозможно допустить, что глава партіи возьмет на себя порученіе, которое мог исполнить любой гимназист, что по непостижимой случайности он обратится к единственному петербургскому фотографу, состоящему на службѣ у Департамента, и попадет в западню как ребенок. «На всякаго мудреца довольно простоты!» — сказал с восторгом кто-то из жандармов.

— Как ваша фамилія, господин?

— Константин Михайлович Поливанов, — надменным тоном сказал Михайлов. Голова у него усиленно работала. — По какому п-праву вы меня задерживаете?

— Револьвер всегда при себѣ носите?

— Я отставной поручик артиллеріи. Отчего военному человѣку не носить револьвера? Я вас спрашиваю, п-по какому праву...

— Гдѣ вы живете?

«Кажется это медвѣдь умом не блещет», — подумал Михайлов. У него в комнатѣ находился динамит. «Хозяйка завтра же сообщит, что исчез жилец. Полиція явится, найдет и устроит западню... Все пропало, если не выставить знака»...

— Я живу в Орловском переулкѣ дом номер 2, квартира 25-ая, — отчеканил он. — Мою личность установит хозяйка квартиры. Вы будете отвѣчать за ваши дѣйствія. А я не обязан знать, что вы служите в полиціи, ежели вы изволите ходить в партикулярном платьѣ.

— Почему вы заходили за карточками казненных государственных преступников? — спросил околодочный, на котораго тон Михайлова как будто немного подѣйствовал.

— Хоть я и не обязан отвѣчать на вопросы неизвѣстнаго мнѣ лица... Заходил потому, что это мой родственник. Пусть злодѣй, но кровь не вода, — импровизировал Михайлов. Теперь все было в том, чтобы еще ненадолго усыпить бдительность околодочнаго. — Поѣдем ко мнѣ, и недоразумѣніе тотчас разъяснится.

— Эй, ты, кликни, братец, извозчика, — приказал околодочный.

«Да, кончено!» — думал он, глядя на улицы, на дома, на свободных людей. Знал, что больше никогда этого не увидит. «В крѣпость вѣрно перевезут в закрытой каретѣ. Ну, что-ж, я давно готов. Ах, как глупо попался! Как мальчишка! Позор!.. Теперь остается только одно»...

Хозяйка Туркина растерянно проводила их в комнату, которую снимал отставной поручик Поливанов.

— ...Да вы не безпокойтесь, тут чистѣйшее недоразузумѣніе, — говорил ей Михайлов. Он говорил без умолку, точно не мог остановиться. Перебой инстинкта у него прошел, и теперь он говорил так, как еслибы каждое слово обдумывал часами. Из дверей в корридор высовывали головы испуганные жильцы.

— ...Вот это моя скромная обитель... Милости прошу... Тут я живу... Имѣю средства, хоть и небольшія. Плачу хозяйкѣ регулярно, правду я говорю? — обратился он к Туркиной.

— Самые исправные жильцы!.. Господи, да как же это? Это ошибка, — говорила хозяйка.

— Если интересуетесь книгами, то их у меня немного, и все самыя благонадежныя, взгляните сами, — сказал Михайлов. Он небрежно взял книгу со второй полки стоявшей у окна узенькой этажерки. — «Артиллерійскій Журнал» за прошлый год, это вѣдь по моей части... Видите? — спросил он и так же небрежно поставил книгу на верхнюю полку, возвышавшуюся на аршин над подоконником. — «Сигнал гибели» был выставлен. — Ничего недозволеннаго у меня нѣт... Вот чай... Это сахар, —

быстро говорил он, отвлекая вниманіе околодочнаго. Кононенко хитрости не замѣтил. Михайловым овладѣла радость, такая радость, какой он давно не испытывал, быть может не испытывал никогда — точно он одержал высшую свою побѣду. До сих пор в его чувствах преобладали стыд, — попался так глупо! — и душевная боль от большой потери для партіи, — не придется принять участія в цареубійствѣ! Теперь он был счастлив. «Сдѣлал что мог! Мало ли, много ли, но что мог, то сдѣлал!..» Всѣ заботы, всѣ дѣла, все счеты с міром были кончены. Оставалось только с достоинством умереть, и в своих силах он был совершенно увѣрен. Еслиб Михайлов был способен произносить, хотя бы мысленно, такія слова, он сказал бы: «Нынѣ отпущаеши раба Твоего». — Чѣм вы еще интересуетесь, господин околодочный надзиратель? Стыдно понапрасну безпокоить людей, — весело говорил он, отлично зная, что сейчас будет найден динамит. «Лучше я и не хотѣл бы прожить. А обречен был все равно»...

— В шкапу что?.. Потрудитесь отворить.

— Неужто вы меня в самом дѣлѣ подозрѣваете в чем либо худом? — спросил Михайлов. Он больше почти и не заикался. — Да этого просто быть не может! Подозрѣвать военнаго человѣка! Ах, как нехорошо!

— Вы что, господин, меня ребенком считаете, что ли? — сердито, хотя и не совсѣм увѣренно, сказал околодочный. — Вы заказали фотографіи казненных преступников. Что же, вы...

— Вѣдь я же вам русским языком объяснил, что нахожусь в родствѣ...

— С обоими находитесь в родствѣ? А бѣжать зачѣм бросились? А револьвер? Впрочем, что тут разговаривать! Вы дадите объясненія кому слѣдует, мое дѣло произвести у вас первый обыск. Шкап заперт. Гдѣ ключ? Или взломать?

— Зачѣм же взламывать? Это убыток хозяйкѣ, господин околодочный, — сказал Михайлов. Он отворил

шкаф. На полкѣ лежал револьвер. Кононенко быстро схватил его и спрятал в карман. Хозяйка ахнула. Один из городовых шагнул вперед.

— И дома храните оружіе?

— Храню. Такой уж любитель. Вот и кастет. Храню и еще болѣе интересныя для вас вещи, извольте взглянуть, — сказал Михайлов и поднял простыню. На днѣ шкафа стояла огромная жестяная коробка. Михайлов поднял крышку. В коробкѣ было черное тѣсто.

— Динамит!

— Так точно, динамит, господин Кононенко. Видите, и фамилію вашу знаю, хоть не имѣл чести быть представлен. — Михайлов говорил все веселѣе.

VI.

Увидѣв в окнѣ Александра Михайлова книгу на верхней полки этажерки, Маша вздрогнула и быстро пошла дальше, еще не понимая, что такое произошло. На углу Рождественской она остановилась, ахнула и побѣжала — на цыпочках — назад. Книга стояла на верхней полкѣ.

Наблюдательному отряду недавно было сообщено о сигналѣ гибели. Слова были так же звучны, как страшны, и молодые люди произносили их с удовольствіем. Маша долго стояла под окном, раскрыв рот. Она все не могла связать: Александр Дмитріевич будет казнен о т т о г о, что в его окнѣ какая-то книга стоит не на средней, а на верхней полкѣ этажерки.

Как и перваго наблюдателя, прошедшаго с заговорщическим видом под окном Михайлова за час до нея, Машу не арестовали только вслѣдствіе безпечности или бездарности полиціи: западня была устроена в Орловском переулкѣ не сразу. Маша пошла опять к Рождественской, трясясь всѣм тѣлом. Она наняла извозчика уже гдѣ-то далеко, дала ему адрес конспиративной квартиры на Гороховой (это строго запрещалось Михайловым), затѣм долго сбивчиво объясняла, что ошиблась и

почему ошиблась. Извозчик испуганно на нее смотрѣл.

Елизавета Павловна позднѣе вспоминала, что Маша вошла к ней «как сомнанбуличка». Лиза сама вначалѣ совершенно растерялась. Она подумала, что тоже погибла, что жандармы могут теперь ввалиться к ней каждую минуту, что первым дѣлом надо отправить Машу домой. «Нѣт, сначала надо сообщить товарищам!» — Ей не было извѣстно, что о сигналѣ в окнѣ Михайлова уже доложил другой наблюдатель. — «Да, очевидно, за ним все время слѣдовали по пятам!.. Тогда не могли не выслѣдить и меня. Конечно, тот человѣк на углу был филер... Здѣсь они ничего не найдут... Что сказать Мишѣ?» — безпорядочно думала она; впервые в жизни мысленно назвала Чернякова Мишей. — «Значит, надо переходить на нелегальное положеніе... И не откладывая, сегодня же, сейчас... В гостинницѣ потребуют паспорт. Надо достать фальшивый, а пока поселиться на конспиративной квартирѣ. Ох, очень у них грязно и тѣсно... Это, конечно, третьестепенное соображеніе... Но как же я ей скажу, что я в опасности? Первым дѣлом надо отослать ее», — думала Елизавета Павловна и сбивчиво, хоть с самыми убѣдительными интонаціями, говорила Машѣ, что Александра Дмитріевича навѣрное скоро выпустят по недостатку улик, что теперь, при Лорисѣ, его навѣрное не повѣсят, что партія достанет для него самаго лучшаго адвоката, что конституція и амнистія не за горами. Маша вдруг подняла голову.

— Амнистія это когда всѣх прощают?

— Когда всѣх освобождают.

— Ты думаешь, что это возможно? Правда?

— Это не только возможно, а правительство будет вынуждено всѣх освободить послѣ конституціи. Но, Машенька, милая, ты должна исполнять приказ. Ты даже не имѣла права заѣзжать ко мнѣ. Ты обязана тотчас доложить, вѣдь из за промедленія могут погибнуть люди.

— Я сейчас! — поспѣшно вставая, сказала Маша. —

Сейчас, сію минуту! Я поѣду прямо к Желябовым, да?

В партіи изрѣдка шутили о «молодоженах», но Желябовыми их никто не называл. «Эта дѣтская наивность! Она влюблена в Желябова — и в Колю Дюммлера! Господи, как я могла ввести ее к нам?» — думала Лиза.

— Ты хочешь сказать, к Воиновой и к Слатвинскому? — тоном Михайлова сказала она. — Нѣт, к ним на их частную квартиру ты не ѣзди. Поѣзжай на Гороховую. Кажется, там сейчас засѣданіе. Если их нѣт, скажи Гесѣ. — Елизавета Павловна подумала, что Геся Гельфман, услышав о гибели Михайлова, может лишиться чувств, несмотря на свои крѣпкіе нервы: так она его любила и почитала. — Ну, поѣзжай, душечка, дѣло прежде всего.

— Я сейчас, сію секунду! Я возьму лихача!

— Еслибы тебя задержали на улицѣ... Вѣдь все возможно... Еслибы тебя задержали, Боже избави не скрывай, что ты у меня была и что ты моя сестра. Так и скажи: была у сестры.

— Почему же ты думаешь, что меня могут задержать? Ты замѣчала слѣжку? В чем дѣло? Ты от меня что-то скрываешь? Нѣт, скажи правду!

— Я рѣшительно ничего не скрываю и никакой слѣжки за собой не замѣчала. Я так говорю, на всякій случай. В нашем дѣлѣ все возможно... Ну, поѣзжай, милая! — сказала Лиза почти рѣзко. Маша испуганно на нее взглянула. — Остановись на углу Гороховой и Садовой. Долго у них не оставайся, доложи и иди домой, а то папа перепугается... И не волнуйся, все будет отлично.

Послѣ ухода Маши Елизавета Павловна долго ходила по кабинету. Она думала, что надо уйти немедленно, что нельзя терять ни минуты, — и не уходила. «Безсмысленно ждать, пока они придут сюда... Надо взять бѣлье, платья... Значит, Богдановича и Якимову тоже выслѣдили? Сейчас же им сообщить... Возьму только

сѣрое и лиловое, да еще немного бѣлья. Шубу надѣть? Миша потом доставит мнѣ шубу... Гдѣ же я буду с ним встрѣчаться? Денег у меня нѣт. Взять у папа или у Миши? Погубила его жизнь и на прощанье взять деньги?.. Это извѣстіе убьет его... Неужели Александр Дмитріевич мог не замѣтить за собой слѣжку? Однако, вѣдь если бы его выслѣдили, то полиція нагрянула бы сюда еще нынче ночью или рано утром!» — Это немного ее успокоило. — «А может быть, предательство?.. — вспомнила она слова Михайлова. — «Кто же? Кто?» — Лиза мысленно перебирала состав партіи, начиная с верхов. Как ни было ей тяжело, предположеніе, что Желябов или Перовская (которую она не любила) могли быть предателями, вызвало у нея невольную улыбку. Так же выше подозрѣній были Старик, другіе члены Исполнительнаго Комитета. — «Может быть, один из этих мальчиков? Рысаков? Нѣт, он честный юноша... Гриневицкій? Тоже не похоже. Да они ничего и не знают». На самом дѣлѣ в партіи уже было не менѣе трех предателей (по нѣкоторым данным можно предположить, что в «Народной Волѣ» были и предатели, не раскрытые исторіей). Но на них ея подозрѣнія не остановились, как не остановились ни на ком вообще. «Ну, хорошо, я попадусь, что тогда? К смерти, конечно, приговорить не могут. А еслибы и приговорили, о н должен будет смягчить приговор. Каторга? Тюрьма?..»

Она знала, что сейчас, сію минуту, надо принять самое важное рѣшеніе всей ея жизни, и не могла сосредоточить на этом мыслей. Лиза безсвязно думала о разных дѣлах, и важных, и незначительных. «Если я перейду на нелегальное положеніе, то и это для папа будет страшный удар. И тут еще Маша... Все началось с той новогодней вечеринки, а потом она втянулась, и я уже ничего не могла сдѣлать, да и не хотѣла... Конечно, папа потребует, чтобы я уѣхала заграницу. Но мнѣ не дадут паспорта. Контрабандисты?» — Тайный переход границы с контрабандистами, который прежде соблазнил бы

ее своей романтичностью, теперь казался ей скучным, тяжелым, невозможным дѣлом. — «Я очень устала. Быть может, я состарилась, как моя плѣнительная belle soeur, теперь по уши влюбленная в Мамонтова... Да, он, Мамонтов, был в чем-то прав... Он сказал вчера обо мнѣ что-то важное... О том, что со мной сейчас... Но что?»

Она наканунѣ завтракала с Мамонтовым в кофейнѣ Исакова. Он много выпил, говорил без умолку, все перескакивая с одного предмета на другой. «Кажется, он начал со своих обычных шуточек: «Эту кофейню, Елизавета Павловна, когда-нибудь будут показывать посѣтителям: «Здѣсь собирались народовольцы... Это столик Елизаветы Черняковой, повѣшенной в 1881 году». Я разсердилась: «вы пьяны». Он хохотал и изображал актеров: «Эх, брат М-митрій, забыться хочу!» Сказал, что любит разговаривать с женщинами выпивши: «говоришь лишнее, на слѣдующій день стыдно, а в этот день пріятно». Но какое мнѣ дѣло до того, что говорил Мамонтов! Сейчас надо все рѣшить и уйти... Впрочем, я и сама люблю так разговаривать, быть может, даже люблю это больше всего на свѣтѣ... Он говорил, что чернопередѣльцы гораздо умнѣе нас: у них вожди, для руководства движеніем в Россіи, уѣхали или уѣзжают заграницу. Говорил, что мы и чернопередѣльцы вродѣ как доминиканцы и францисканцы: «Вы помните, Фра-Анжелико, добрый доминиканец, своих грѣшников в аду писал не иначе как с братьев-францисканцев...» Что-то еще говорил о художниках, только я не могу вспомнить, и незачѣм, конечно, вспоминать. «У Веронеза крест — такой шедевр столярного искусства, что думаешь об этом, а не о распятіи»... Кажется, это тоже относилось к революціи, но как, не могу вспомнить... Завтра я должна была в два часа быть у портнихи... Попросить Мишу сказать ей, что платья не надо? И значит, опять, чтобы Миша заплатил?.. Он и над Мишей насмѣхался, и я сказала ему, что прошу его так не говорить о моем мужѣ. Или он догадывается, что наш брак фиктивный? Он

умен, Мамонтов, но у него пошлый ум. Потом он говорил о Достоевском, и тут-то что-то было обо мнѣ. «Достоевскій — геніальный писатель, учившійся литературѣ у самого Эжена Сю. И всѣ его Ставрогины, это тѣ же Дубровскіе, они хороши для семнадцатилѣтних барышен, которые мечтают спасти их любовью. Геніальны же у него тѣ сцены, гдѣ всѣ дѣйствующія лица уже не полусумасшедшіе, а совершенно сумасшедшіе: напримѣр, князь и Рогожин у трупа Настасьи Филипповны. На Достоевском нѣт Божьей благодати, так как жизнь за нелюбовь к ней мстит писателю лишеньем поэзіи. Вот, наоборот, «Анна Каренина», и с самоубійством героини, вся насквозь пронизана свѣтом, лѣтним у ю т н ы м свѣтом дворянской деревни, — роль у ю т н о с т и в литературѣ еще вѣдь не оцѣнена критиками. Граф Толстой? Он величайшій из величайших, я за «Войну и Мир» и «Казаков» отдам Шекспиров и Гете, но жизнь со временем тронет его творенья, так как он слишком связал себя с ея временными и мѣстными формами. Еслибы в Россіи существовал приличный закон о разводѣ, то каково было бы графу Толстому? Вѣдь Анна, чѣм бросаться под поѣзд, вышла бы замуж за Вронскаго, а Пьер развелся бы с женой и женился на Наташѣ, не дожидаясь Отечественной войны. Ничего не подѣлаешь, всякій роман со временем становится историческим романом и вызывает печаль, как старая затрепанная адресная книжка с адресами давно умерших людей».. .Нѣт, я плохо помню, что он говорил, кажется, он говорил не так. Не все ли равно и пропади он пропадом, Мамонтов!.. Но что же было обо мнѣ, о том что сейчас?.. Странно, он пишет какія-то скучныя, никому не нужныя статьи, а говорит превосходно, хоть безсвязно, — я так и люблю. Очень он распустил вчера перышки. Кажется, ему моя belle soeur осточертѣла... ...«И на вас... на нас тоже нѣт благословенія, потому что вы в душѣ свободы не любите, потому что для вас свобода это теорія, как Бетховенская музыка для немузыкаль-

наго человѣка. У вас нѣт внутренней свободы, нѣт духовной свободы, и самый быт ваш свободу исключает, а быт рано или поздно подчиняет, передѣлывает, переламывает людей. Вот ваш отец любит и чувствует свободу, и Россія сильна такими людьми как он, а нами лишь в той мѣрѣ, в какой нѣкоторые из нас к этому приближаются. О, не думайте, что я над в с ѣ м издѣваюсь, я не провинціальный демон, я горжусь тѣм, что принадлежу к русской интеллигенціи, с ней жил, в ней жил, в ней надѣюсь и умереть, но... Я знаю, Желябов, Перовская, Михайлов, каждый по своему, замѣчательные люди («меня не назвал»). Таких, со всѣми их недостатками, вѣрно немного найдется на землѣ. Они люди тройного сальтомортале. Быть может, эти люди соль земли, но возможно и то, что такая соль землю погубит»... «Иначе говоря, вы находите, что болѣше всего любят свободу тѣ, которые за нее не борются», — сказала я. Он перескочил на что-то другое, кажется, на вѣру, и что-то тоже говорил страшно глубокомысленное, что никакой Бог ему не нужен, а нужно безсмертіе и не то, которое обѣщает вѣра. А уж если нужна вѣра, то легкая, нетребовательная, греческая, гдѣ боги ничѣм не лучше людей... Кажется, и это он говорил не так, и как-то все связывал с революціей. «Революціонная работа — тот же сон, вѣдь сон — это когда человѣк живет и думает без логики... Знаете ли вы эти страшные сны с перерывами, — просыпаешься, засыпаешь опять, и новый сон, с новой фабулой, и раздвоеніе людей, — один человѣк появляется, думает, говорит в двух видах, и хуже всего, когда раздвоенный человѣк — ты сам... И всѣ мы, даже лучшіе, особенно лучшіе, мы как быки ассирійских скульпторов, гадкіе звѣри с благородными человѣчьими лицами. И что-то тут он сказал обо мнѣ и о себѣ, и это было вѣрно, хоть я не помню, при чем тут были эти благородныя лица... Ах, да, он сказал, что есть п р о з а м у ч е н и ч е с т в а и что я этой прозы не вынесу. «Знаете прозу

болѣзней? Я видѣл, как Сара Бернар умирает в «Дамѣ с Камеліями». Очень красиво и поэтично, но на самом дѣлѣ люди умирают от чахотки совсѣм не так. То же и с мученичеством. В з о й т и н а э ш а ф о т вы, Елизавета Павловна, пожалуй, могли бы, но тюрьма, каторга, униженія, оскорбленія, грязь это не для вас и не для меня». Тут он и заговорил о Достоевском: «мы с вами люди одного безумія!» Но у меня все выходит ни к селу, ни к городу... Он назвал меня спортсменкой террора, сказал, что я живу для сильных ощущеній... Я тоже много выпила и говорила лишнее. Да, ему как будто стало меня жалко, когда я сказала, что у меня бабушка умерла в домѣ умалишенных. Кажется, он был испуган. Я спросила его, вѣрит ли он в наслѣдственность. Он отдѣлался шуткой: «Негритянская принцесса сказала королевѣ Викторіи, что в ея жилах течет англійская кровь: «мои предки съѣли капитана Кука». Я смѣялась, хоть это было глупо. Я могла бы вскружить ему голову... Под конец мнѣ пришлось его осадить. — «Вы обидѣлись?» — «Я никогда ни на кого не обижаюсь». — «Да вѣдь это, Елизавета Павловна, классическій отвѣт всѣх обидчивых дам»... Каков бы он ни был, а он в одном сказал правду: э т о не для меня... Теперь во всяком случаѣ мнѣ сильныя ощущенія не нужны. Страх? Нѣт»...

Она дѣйствительно не чувствовала страха: чувствовала только, впервые в жизни, большую душевную усталость. То, что ей предстояло — большое и ничтожное, спасеніе жизни и отмѣна примѣрки у портнихи — подавляло ее прежде всего утомительностью. Теперь ей хотѣлось спокойствія. «Чтобы ничего не мѣнять, ничего не дѣлать новаго... Да, сильныя ощущенія! Я, конечно, не могла бы жить как другіе. Но всему есть мѣра! Самое сильное ощущеніе это все-таки желанье жить по человѣчески!..

Горничная вошла в кабинет и доложила, что к обѣду нѣт закуски.

— Прикажете пойти купить?

— Да, купите, — сказала Елизавета Павловна. «Надо взять себя в руки, я не Маша», — подумала она. — Или вот что, я лучше сама пойду, мнѣ нужно быть на Невском... Но если я опоздаю к обѣду, сбѣгайте за сардинами для барина. Он любит сардинки.

— Обѣд прикажете вам оставить? Нынче разсольник, нехорошо, если разогрѣвать, — сказала горничная, удивленная неожиданной заботой барыни о баринѣ.

— Оставьте, но я, быть может, вернусь поздно. «Написать ему записку? Нѣт, о таких вещах писать невозможно, и это его убьет. Я все-таки вернусь или вызову его»... — Сегодня холодно, дайте мнѣ лучше шубу... Так непремѣнно сходите за сардинами, Глаша.

На улицѣ не было подозрительных фигур, и это ее успокоило. «Конечно, можно еще вернуться домой. Если ввалятся, то не раньше поздней ночи». Она велѣла извозчику остановиться на углу Гороховой и Екатерининскаго Канала, — велѣла больше потому, что Машѣ сказала сойти на углу Гороховой и Садовой. Затѣм она с тревогой подумала, что под Каменным Мостом еще лежат заложенныя Желябовым бомбы. «Ну, и что же? Кажется, нервы в самом дѣлѣ порядком разстроились и у меня».

Засѣданіе на конспиративной квартирѣ как раз кончилось. Впрочем, формальнаго засѣданія не было; во взволнованном разговорѣ участвовали не только члены Исполнительнаго Комитета: теперь было не до правил, и больше не было человѣка, заставлявшаго партію соблюдать правила. В Комитетѣ уже знали о катастрофѣ. Всѣ были подавлены и старались это скрыть. Желябов с первых слов сказал, что в планах партіи ничто измѣниться не может, как ни страшно тяжела потеря. То же самое, но менѣе увѣренно повторяли вслѣд за ним другіе. Теперь всѣ, кромѣ Старика, относились и друг к другу бережнѣе и нѣжнѣе обычнаго. Сигнал в окнѣ Александра Михайлова предвѣщал гибель многим. О

нем самом говорили почти как об умершем человѣкѣ. Называли его уже не Дворником, а по имени-отчеству, и, как показалось Елизаветѣ Павловнѣ, дѣлали над собой усиліе, чтобы не обмолвиться: «покойный Александр Дмитріевич». У Геси Гельфман глаза были заплаканные.

— ...Я только в послѣдній год узнал его по настоящему, — говорил Желябов. — Какой вздор, будто он был сухой человѣк! Александр Дмитріевич в душѣ был поэт... Он погиб, но наше дѣло, его дѣло будет доведено до конца! Лавка на Малой Садовой снята. Мы разставим метальщиков на всѣх улицах, по которым он может проѣхать. — Я буду руководить дѣлом. Я сам выйду на улицу, выйду не с бомбой, не с револьвером, а с кинжалом. Силы у меня для кинжала хватит! — говорил он с жаром. Всѣ взволнованно его слушали. Члены партіи, особенно женщины, теперь жались мысленно к этому сильному рѣшительному человѣку.

Кто-то возразил, что Тарас не имѣет права выходить на улицу: партія не может пожертвовать обоими вождями. Желябов горячо возражал: никаких вождей среди них нѣт, есть люди служащіе одному дѣлу, одинаково готовые идти на смерть. Но хотя он говорил совершенно искренне, всѣ понимали, что он человѣк единственный и незамѣнимый. Один Желябов теперь в партіи удовлетворял человѣческой потребности в вождѣ. Перовская смотрѣла на него блестящими глазами и молча одобрительно кивала головой и ему, и тому товарищу, который говорил, что Тарасом пожертвовать невозможно. Тихомиров угрюмо молчал. Он был тоже удручен гибелью Михайлова; ставил его в «Народной Волѣ» на первое мѣсто (себѣ мысленно отводил второе). Думал, что партія кончена, какія бы еще ни произошли событія.

Геся Гельфман подала чай. Ея вид показывал, что надо жить и дальше, а если надо жить, то нѣт причины не давать товарищам чая. Подала и угощенье: нарѣзан-

ные куски чернаго и бѣлаго хлѣба. Нѣкоторые принялись ѣсть с жадностью. «Точно поминки!» — подумала Лиза. — «И как на поминках, с их вѣковой мудростью, тут ничего оскорбительнаго нѣт»... Не она одна это подумала, и не одной ей хотѣлось выпить вина. Геся это почувствовала, хоть сама никогда к спиртному не прикасалась. Она поставила на стол бутылку. В шкапу были остатки рыбы, Геся пошла на кухню. Вдруг она вспомнила, как на встрѣчѣ Новаго Года Александр Дмитріевич помогал ей подать щуку. Она сѣла на табурет и беззвучно заплакала, положив голову на стол у тарелки.

— ...Когда же приблизительно э т о может произойти? — спросила Лиза. Вино и общество бодрых, мужественных людей, особенно Желябова, очень подняли ея настроеніе. В другое время она не задала бы такого вопроса, да ей и не отвѣтили бы. По настоянію Михайлова, наиболѣе важныя дѣла держались в тайнѣ между тѣми, кому надлежало их выполнять или слѣдить за их выполненіем; даже Исполнительный Комитет не знал всѣх подробностей. Но сейчас в общем настроеніи братского подъема были забыты и правила конспираціи, и партійная іерархія. Всѣ взоры обратились на Тараса. Теперь ясно было, что и выполнять, и слѣдить будет он. По р а н г у, никѣм не установленому и всѣми смутно сознававшемуся, Тихомиров был не ниже. Однако члены Исполнительнаго Комитета понимали, что Старик для этого дѣла не годится.

— Приблизительно разсчитать можно, — сказал Желябов, вынимая из кармана записную тетрадку с календарем. —Разумѣется, только приблизительно. На подкоп надо считать два мѣсяца. Если бросить на Малую Садовую всѣ силы, то при удачѣ справимся в полтора. Из за этого проклятаго ремонта въѣхать в лавку можно будет только в началѣ января. Значит, земляныя работы кончим в срединѣ февраля. О н выѣзжает в

Манеж по воскресеньям. Воскресенья будут... — Желябов перелистал календарь. — Воскресенья будут 22 февраля, 1 марта, 8 марта. В один из этих дней и сдѣлаем...

Наступило довольно долгое молчаніе.

— Конечно, Александра Дмитріевича выслѣдили на улицѣ, — сказала Лиза. — Очевидно, за ним шли по пятам.

— Если так, то и Аристократка в опасности, — замѣтил кто-то. — Александр Дмитріевич у нея был накануне.

— Разумѣется. Вы в очень серьезной опасности.

— Какой вздор! — беззаботно сказала Елизавета Павловна.

— Вѣдь вы же сами говорили, что замѣтили за собой слѣжку.

— Замѣтила, но это не имѣет никакого значенія.

— Нѣт, это имѣет значеніе. Кромѣ того и главное, Александр Дмитріевич как раз на днях выражал желаніе послать вас заграницу.

— Он говорил и мнѣ, но я теперь никуда не уѣду. Все это вздор!

— Нѣт, не вздор. Александр Дмитріевич никогда вздора не говорил, — строго сказал Желябов. Авторитетный тон ему удавался гораздо лучше чѣм Михайлову, который впрочем о своем престижѣ никогда не думал: ему важно было только существо дѣла. Желябов заговорил о репутаціи партіи, о необходимости пропаганды заграницей, о привлеченіи симпатій передовых людей Европы и Америки. Говорил он так хорошо, что всѣ невольно заслушались, хотя теперь было не до краснорѣчія. Перовская, Геся, Лиза не сводили с него глаз. «Да, это настоящій человѣк!» — думала с восторгом Елизавета Павловна. Из слушавших Желябова нѣкоторые (как и он сам) знали, почему Михайлов хотѣл послать Аристократку заграницу, но и они точно об этом позабыли. Елизавету Павловну впрочем любили, и сообщеніе об установленной за ней слѣжкѣ всѣх встревожи-

ло. Когда Желябов кончил, другіе члены комитета также стали убѣждать ее уѣхать в Париж. В этом точно была послѣдняя воля Александра Михайлова. Молчала только Перовская: как и Михайлов, она в душѣ презирала уѣзжавших заграницу революціонеров.

— Не могу я уѣхать, Тарас, — сказала Елизавета Павловна. — Ввела к вам Машу, а сама уѣду.

— Маша сюда приходила за час до вас. Мы тотчас ее отослали домой. Очень она милая, ваша сестра, но у нея, скажу правду, нервы совершенно расшатались. Я... мы ее ни на какую важную работу назначать не будем. Вы можете быть совершенно спокойны. Во первых, за ней ровно ничего не значится. Во вторых, слѣжки за ней нѣт. А если и замѣтили, что она у вас бывает, то что же тут подозрительнаго? Бывает у сестры. Она слишком нервна для нашей работы, да и очень уж молода. Александр Дмитріевич был против привлеченія к важной работѣ слишком молодых людей.

— И Маша, и я в распоряженіи партіи, — сказала Елизавета Павловна. У нея с души свалился камень. — Но если вы, Тарас, спрашиваете мое мнѣніе, то, я думаю, мнѣ заграницей дѣлать нечего. Там и без меня есть люди.

— Есть, но не активные. Вы внесете динамическое начало, — сказал с усмѣшкой Тихомиров. «Кому динамическое начало, а кому динамит», — саркастически подумал он. Елизавета Павловна бросила на него недобрый взгляд.

— Да как же я уѣду? Развѣ Владимір переправит меня через своих контрабандистов?

— В этом необходимости нѣт, — отвѣтил Желябов. — Пусть ваш муж сначала попробует получить для вас заграничный паспорт в легальном порядкѣ. Если не дадут, мы обратимся к контрабандистам. Сегодня же лучше домой не возвращайтесь, переночуйте здѣсь.

— Мы вам тут поставим кровать, а я перейду на

кухню, — предложила, оживившись, Геся. — И одѣяло я найду тепленькое.

— Я должна вернуться домой. Если ко мнѣ сегодня не нагрянули, то до ночи уже не нагрянут.

— *Это вѣрно, — подтвердил Желябов, подумав.* — Значит, через недѣльку начнется для нас агитація в Парижѣ. Рошфор, говорят, всей душой предан нашему дѣлу. Вы будете там чрезвычайно полезны партіи

В его словах не было ничего обиднаго. Напротив, они были лестны. Но ей была непріятна усмѣшка Старика.

VII.

Первый разговор Михаила Яковлевича с единомышленниками оказался удачным. Он сдѣлал небольшое сообщеніе, которое чрезвычайно заинтересовало группу людей, собравшихся у редактора журнала. Черняков предварительно взял со всѣх слово держать все в тайнѣ, и это еще очень подняло интерес к дѣлу. Произошел обмѣн мнѣньями. Только один из участников бесѣды высказался вначалѣ против встрѣчи с министром. — «Пусть эти господа на дѣлѣ покажут свою готовность безоговорочно вступить на конституціонный путь, тогда и поговорим. А то ваш Лорис подумает, что стоит нас приласкать, и мы бросимся к нему в объятія!» — сказал земскій дѣятель, человѣк довольно желчный, нѣсколько ближе, чѣм другіе, стоявшій к людям, которых Черняков называл радикальными tutti quanti: граница между либералами и радикалами была не очень опредѣленной. — «Позвольте, это не разговор, Василій Васильевич», — обиженно отвѣтил Михаил Яковлевич, — «во первых, Лорис не «мой», а во вторых в его объятія никто из нас бросаться не собирается. Но, по моему скромному сужденію, рука, в первый раз протянутая нам сверху, не должна повиснуть в воздухѣ. В дѣйствительности, мы изложим ему наши desiderata или вѣрнѣе наши условія.

А дальше его дѣло будет принять их или не принять. Бросаться же в его объятія я никак не предлагал и не предлагаю». — «Я ничего обиднаго не хотѣл сказать, но я желал бы, чтобы вы объяснили, как вы»... — «Я и не жалуюсь на обиду, но что-же вам отвѣтить, Василій Васильевич? Напомню вам слова Биконсфильда: «Never complain and never explain... Не жаловаться и не объяснять». Хозяин дома вмѣшался и сказал, что со старой лисой, с Лорисом, дѣйствительно надо держать ухо востро, однако нѣт причины отказываться от переговоров. — «Скорѣе всего, конечно, ничего не выйдет». Всѣ другіе участники бесѣды высказались за переговоры и были видимо польщены предложеніем. Особенно ясно это стало послѣ того, как начали составлять список. «Обид будет, конечно, великое множество», — сказал со вздохом редактор, — «Иван Иваныча позвали, а меня не позвали. Ох, уж эти мнѣ Иван Иванычи!» Все же он отвел другого редактора; отозвался о нем чрезвычайно лестно, но признал его неподходящим человѣком. Были отведены еще два адвоката: они всѣх заговорят. — «Что-ж, если так, то нашу иниціативную группу можно считать сконституированной», — сказал в заключеніе Михаил Яковлевич. — «Я только возражаю против названія «и н и ц і а т и в н а я группа», иниціатива вѣдь не наша, а ближняго боярина». — «Конечно, Василій Васильевич! Я говорю о группѣ лиц, откликнувшихся на е г о иниціативу», — примирительно разъяснил Чернякков. — Под конец разговор стал шутливым: какой кому достанется портфель. — «Вот увидите, Михаил Яковлевич, ближній боярин научит вас истинному либерализму», — весело сказал кто-то. — «Это что евнуху учить Потемкина, как говорил, кажется, Пушкин», — сказал желчный земец. Всѣ смѣялись. Прощаясь, участники бесѣды крѣпче обычнаго жали руку Чернякову: понимали, что обязаны ему зачисленіем в иниціативную группу; и он понимал, что они это понимают.

Вечером этого дня Михаил Яковлевич сидѣл за чаем у камина в красном бархатном халатѣ, подаренном ему сестрой ко дню рожденія. Он очень любил этот халат, который, по его наблюденіям, всегда приводил его в хорошее настроеніе. Лизы опять не было дома. Черняков безпокойно поглядывал на часы и думал о предстоящем рѣшительном объясненіи с женой. «Да, в общественной жизни удачи, а личная жизнь»...

С нѣкоторых пор ему приходила мысль о разводѣ. «Да, кажется, только это и остается», — мрачно думал он и тогда в театрѣ, послѣ встрѣчи с Липецким революціонером. — «Конечно, я люблю ее, но именно любовь дѣлает фиктивный брак еще болѣе нелѣпым, отвратительным явленіем. Я люблю ее, но я не могу, не хочу и не обязан разбивать из за нея свою жизнь! Я скажу ей: entweder — oder».

Однако, когда он услышал звонок и в передней голос Лизы, Михаилу Яковлевичу стало ясно, что он никогда развода не предложит.

— Я уже начинал безпокоиться. Вы, кажется, нынче должны были обѣдать дома?

— Да, извините меня, так вышло. Надѣюсь, онѣ вас накормили?

— Да. А вы? Вы еще не обѣдали?

— Нѣт... То есть, конечно, обѣдала. Она принесла вам сардины? Я ей велѣла.

— Принесла, спасибо. — Михаил Яковлевич был так не избалован вниманіем со стороны жены, что был и тронут ея вопросом, и насторожился. — Хотите чаю? Самовар горячій.

— Очень хочу. Вам идет этот халат. Вы похожи на кардинала или на вельможу восемнадцатого вѣка, — сказала Лиза, садясь в кресло. Черняков подал ей чашку. «Ах, как бы могло быть хорошо, еслиб... Сегодня она еще красивѣе, чѣм всегда. Ей идет блѣдность»... Елизавета Павловна неожиданно налила себѣ большую рюмку рома и выпила залпом.

— Лиза, это ром!

— Ничего... Ничего, — сказала она, кашляя. — В самом дѣлѣ страшно крѣпкая вещь! Я и не думала... Это я с горя.

— Почему с горя? Что-нибудь случилось?

— Ничего не случилось. Ах, какой крѣпкій ром... Ничего не случилось кромѣ того, что меня не сегодня-завтра арестуют.

— Лиза!.. Ради Бога!

— Что-ж «ради Бога»? Еслибы арест от меня зависѣл, я бы его отмѣнила.

— Что случилось? Лиза, неужели нельзя говорить раз в жизни без шуток?

— Можно и без шуток, — сказала она и небрежным тоном сообщила ему о слѣжкѣ. При первых ея словах, Михаил Яковлевич, сильно измѣнившись в лицѣ, встал, затворил дверь и сѣл на стул рядом с Лизой. Она не назвала имени Михайлова, но сказала, что арестован очень видный террорист, котораго она хорошо знала.

— Он бывал у нас в домѣ!

— Не бывал, а был один раз. Не скрываю, его могли прослѣдить, поэтому я жду обыска и ареста.

— Я знаю, это тот блондин, котораго я видѣл в Липецкѣ?.. Впрочем, все равно!.. У него были ваши письма? Был записан ваш адрес? Вы у него бывали? Когда он арестован?

— Вы спрашиваете слишком быстро, я не могу отвѣчать сразу на столько вопросов. Нѣт, у него не было моих писем, и адресов он никаких не записывал, все помнил наизусть. Если не прослѣдили, как он входил в нашу квартиру, то никакой опасности нѣт. Но могли легко прослѣдить, и я думаю, мнѣ надо перейти на нелегальное положеніе. Что-ж, пожили и будет. Нѣмцы говорят: «у всего есть конец, только у колбасы два конца. **Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei**»...

Михаил Яковлевич взглянул на нее выпученными глазами, встал, прошелся по комнатѣ, вытер лоб плат-

ком. Всѣ его планы рухнули. Муж не отвѣчал за жену, но мужу террористки не годилось участвовать в переговорах с министром внутренних дел. Однако об этом Черняков даже не подумал, — это только безслѣдно проскользнуло в глубинѣ его сознанія. Теперь надо было спасать Лизу. Он снова сѣл рядом с ней и взял ее за руку. Рука у нея была холодная.

Чувство, которое она испытывала, не было страхом. Но она понимала, что другіе так могли бы его назвать, и ей было мучительно стыдно. Стыдно было, что она согласилась — или почти согласилась — уѣхать заграницу, стыдно неправды о переходѣ на нелегальное положеніе, только что зачѣм-то сказанной ею мужу, стыдно маленькой, еле замѣтной лжи в разговорѣ на конспиративной квартирѣ. «А может быть, я в самом дѣлѣ боюсь?.. Нѣт, не боюсь, это не страх».

— Лиза, умоляю вас, скажите мнѣ все! Что именно за вами значится? Что вы сдѣлали? Я умоляю вас, скажите всю правду!

— Хорошо, — отвѣтила она, немного подумав. — Я вам разскажу, но прошу вас, не перебивайте меня и не переспрашивайте. Вы выскажете мнѣ ваши соображенія потом.

— Не буду перебивать. Только не томите меня!

Она разсказала далеко не все, но то, что она говорила, было правдой. Михаил Яковлевич слушал ее с ужасом. «Господи!.. Господи!» — изрѣдка повторял он.

— Ну, вот теперь вы знаете. Allez-y! Выскажите же ваши соображенія, — сказала она. Елизавета Павловна говорила ироническим тоном, слово «соображенія» тоже было ироническое, но руки у нея дрожали. Она быстро налила себѣ еще рюмку рома и выпила залпом прежде, чѣм Михаил Яковлевич успѣл ее остановить.

— Лиза!.. Что мнѣ сказать? Зачѣм мнѣ говорить? Теперь не время ни для споров, ни для рекриминацій! Вам надо спасаться, это всего важнѣе! Вы говорите, что

у него мог быть динамит? Господи! И вы замѣтили за собой слѣжку?

— Oui, Monsieur, parfaitement.

— Боже мой! Боже мой! — Михаил Яковлевич был в совершенном отчаяньи. Он ломал бы себѣ руки, еслибы это было естественным, а не литературным жестом. — Лиза, вам надо уѣхать! Уѣхать немедленно, сейчас, не теряя ни минуты!

— Уѣхать? Куда? — точно с недоумѣніем спросила она.

— Заграницу! Но сейчас, сегодня же! Лиза, надо, надо уѣхать!

Он предложил то самое, чего она хотѣла. Елизавета Павловна засмѣялась, точно его предложеніе было совершенно безсмысленно, — не знала, зачѣм смѣется, зачѣм запутывается в той же незначительной ненужной неправдѣ.

— Мнѣ то же предписывают товарищи. Точно вы сговорились! Еслибы я и хотѣла уѣхать, это было бы невозможно: прежде всего был бы необходим паспорт.

— Я вам достану его в полчаса! Меня знают в канцеляріи... Правда, канцелярія уже закрыта. Тогда завтра... Но вы не можете ночевать здѣсь, они могут нагрянуть каждую минуту! Мы сейчас же уѣдем в гостиницу, я вас там устрою. Я сам останусь с вами, я не могу теперь оставить вас одну... Двѣ ко́мнаты, мы возьмем номер из двух комнат, — говорил он, цѣлуя ей руки, как в Липецкѣ. Она все не знала, зачѣм отказывается, зачѣм говорит в полушутливом тонѣ, зачѣм говорит вздор. Его отчаянье трогало ее. «Да, он хорошій, прекрасный человѣк»... И то, что он все взял на себя, подѣйствовало на нее успокоительно. В первый раз в жизни она ему подчинялась. Голова у нея уже кружилась от рома.

— Ну, хорошо, переѣдем, если вы так хотите... Я погубила вашу жизнь! — вдруг совсѣм не-прежним го-

лосом со слезами сказала она. — Простите меня, если можете.

На слѣдующій день Черняков провожал ее. На вокзалѣ, как всегда в послѣднее время, было много полиціи и жандармов. Михаил Яковлевич, строго оглядываясь по сторонам, проводил жену в вагон. Он был совершенно растерян: от счастья, от несчастья. По правилу выработанной Михайловым техники, они явились на вокзал за три минуты до отхода поѣзда. В купэ перваго класса не было никого. Черняков обнял жену.

— Ты видишь! Я говорил тебѣ, что все сойдет совершенно гладко. Больше ни малѣйшей опасности нѣт!

— Ну, впереди есть граница, — сказала она, принужденно смѣясь. Ея смущеніе росло. Елизавета Павловна еще не отдавала себѣ отчета в своих чувствах. «Довольна? Счастлива?.. Вздор!». То, что случилось с ней было так странно, так для нея неожиданно. В гостинницѣ оказалась только одна комната.

Она пыталась настроиться на прежній насмѣшливый лад. «Что-ж, если и ему страдать за меня, то пусть же он хоть что-либо за это получит»... Но Лиза чувствовала, что и прежняго тона у нея теперь быть не может. «И жить буду, и чувствовать по новому. Лучше ли, хуже ли, но по новому»...

— ...Ты купишь в Парижѣ все что нужно. Как только придет от тебя телеграмма, я переведу тебѣ еще денег. Жаль, что нельзя было заѣхать за вещами. Но я увѣрен, что никакого обыска не было. А если и был, то это теперь значенія не имѣет. Тебѣ совершенно незачѣм волноваться.

— Да я нисколько и не волнуюсь! Лишь бы у тебя не вышло непріятностей.

Ей было почти досадно, что заграничный паспорт выдали безпрепятственно, Черняков явился в канцелярію до ея открытія. У него были знакомства всюду. Он вернулся в гостинницу с паспортом и билетом. «Да, за

ним не пропадешь»... Теперь и она не сомнѣвалась, что через три дня будет в Парижѣ.

— Так помни, ты обѣщал часто бывать у папа... Маша, бѣдная Маша! — сказала она и у нея опять появились на глазах слезы.

Для Павла Васильевича что-то придумали. Он впрочем по прежнему ни о чем не спрашивал. Вид у него был еще болѣе мрачный. «Папа впадает в апатію!» — испуганно говорили о нем дочери. Сестрѣ Елизавета Павловна сказала, что партія посылает ее на мѣсяц-другой с порученіем к Рошфору. Маша не знала, кто такой Рошфор, в душѣ ненавидѣла его и плакала так, как еслибы предчувствовала, что больше никогда не увидит сестру. Из конспираціи ей запретили быть на вокзалѣ. Коля Дюммлер ласково утѣшал ее. — «Хотя ваша сестрица дядѣ Мишѣ баки закручивает», — говорил он, — «но в общем это хорошо, что она сдрапанула. А то не миновать ей Романова хутора!» — «Какого Романова хутора?» — всхлипывая, спросила Маша. — «Тюрьмы, понятное дѣло. Вы не плачьте, канареечка. Скоро придет от нея из Парижа ксива».

— Я получу отпуск еще до Рождества. Быть может, через три недѣли я пріѣду к тебѣ в Париж... Только не жалѣй денег, купи все, платья, бѣлье. Хорошо, что шуба на тебѣ, — быстро говорил Черняков с бодрой улыбкой. Она вытерла слезы и тоже улыбнулась.

— Не обольщайте себя надеждами. Вы... ты очень неудачно выбрал жену, — сказала она, не находя новаго тона с ним. Теперь неумѣстны были бы и иронія, и «вы, Черняков».

— ...Конституція совершенно рѣшеное дѣло, я это знаю из первоисточника, а с ней неизбѣжна и амнистія, — говорил он совершенно так, как наканунѣ она говорила Машѣ. Михаил Яковлевич в самом дѣлѣ так думал. Думал даже, что, если обыска у него ночью не произошло, то нѣт причины ему выходить из иниціативной

группы. — Через три-четыре мѣсяца мы опять будем жить в Петербургѣ, но уже...

Раздался третій звонок. Лиза крѣпко обняла и поцѣловала мужа.

Он бѣжал за поѣздом, с заговорщическим видом оглядываясь по сторонам. Елизавета Павловна отошла от окна, растерянно вышла в корридор, так же растерянно вернулась, опустилась на диван и заплакала.

VIII.

. . . . . .

IX.

Александр II женился на княжнѣ Долгорукой через полтора мѣсяца послѣ смерти императрицы. На вѣнчаньи присутствовало только нѣсколько человѣк. Они обязались никому ничего не говорить. Но сама Долгорукая, получившая титул свѣтлѣйшей княгини Юрьевской, не очень скрывала секрет. Первыя узнали ея пріятельницы, бонны, няньки; скоро слух о втором бракѣ императора прошел по всей Россіи.

Послѣ вѣнчанья царь с женой и дѣтьми уѣхал в Ливадію и вернулся в Петербург 22 ноября. Для княгини была отдѣлана новая большая квартира в Зимнем Дворцѣ. Там теперь Александр II проводил ночи и значительную часть дня. Он вставал в восемь часов утра и обычно в шлафрокѣ работал в комнатѣ рядом со спальной. Потом надѣвал мундир и спускался в кабинет в сопровожденіи своего Милорда (его собака и собака Юрьевской обѣ назывались Милордами). Княгиня просыпалась очень поздно и звонила императору; он тотчас снова к ней поднимался. Ея звонок был проведен в его рабочій кабинет, и старые сановники, дѣлавшіе ему доклады, иногда опускали глаза, слыша, что по звонку вызывают русскаго царя. Но Александр II не обращал вниманія на

сановников. Он все меньше заботился о чужом мнѣніи, даже о мнѣніи членов своей семьи.

Великіе князья приняли женитьбу отца покорно, с худо скрытым раздраженіем. Они почитали и боялись императора и по внѣшности поддерживали добрыя отношенія с его женой. Однако слухи о возможном ея коронованіи приводили их в такое же негодованье, как разговоры о конституціи. Коронованье Юрьевской и конституція неясно связались между собой в представленіи и у них, и у двора, и у самого императора.

В намѣченной Лорис-Меликовым государственной реформѣ рѣчь шла о созданіи каких-то подготовительных комиссій для разсмотрѣнія разных важных вопросов. Всѣ знали, что государственная жизнь сводится к созданію комиссій; так было всегда, и в самом словѣ «комиссія» было нѣчто успокоительное, знакомое, неспѣшное. Но выработанныя подготовительными комиссіями законопроекты должны были, по плану Лорис-Меликова, поступать в общую комиссію с участіем выборных людей от населенія. Эти послѣднія четыре слова вызывали при дворѣ ужас. Сам Лорис-Меликов впрочем утверждал, что остается противником конституціи. Иногда, увлекаясь своим краснорѣчіем, он говорил царю, великим князьям, консервативным министрам, что своими руками задушил бы человѣка, который предложил бы ввести в Россіи конституціонный образ правленія. Однако глаза у него при этом как будто бѣгали — или так казалось его высокопоставленным врагам. Они находили, что армяшкѣ вѣрить нельзя, что он хочет положить конец вѣковому самодержавію царей.

Всѣ эти разговоры так надоѣли царю, что он старался думать о них возможно меньше. Сам он не имѣл вполнѣ твердаго мнѣнія о проектѣ. Иногда ему казалось, что прав Лорис-Меликов, иногда, что правы его враги. Александр II почти склонился к тому, чтобы закончить свое царствованіе государственной реформой. Но он не был ею увлечен, — как в молодости был увле-

чен дѣлом освобожденія крестьян, — да и не возлагал на нее особенных надежд. Думал, что эта реформа не успокоит Россіи, не положит конца работѣ тѣх людей, которые старались его убить. Однако другое, военные суды, генерал-губернаторы, смертные приговоры, все уже было испробовано и ни к чему хорошему не привело. Напротив, нѣкоторое успокоеніе было достигнуто с тѣх пор, как он призвал к власти Лорис-Меликова.

Сам министр внутренних дѣл был убѣжден, что революціонное движеніе уже подавлено благодаря его мѣрам: разумѣлось уничтоженіе Третьяго Отдѣленія, отмѣна административных высылок, сближеніе с благомыслящей частью общества, укрѣпленіе довѣрія к власти, к законности, к правовому порядку. Об этом он неизмѣнно докладывал царю и многозначительно подчеркивал, что при нем покушеній на цареубійство не было. Ни ему, ни Александру II не было извѣстно, что в дѣйствительности покушенія готовились, но не удались и остались незамѣченными. Так, народовольцам не удалось взорвать Каменный Мост во время проѣзда царя.

Император по прежнему внимательно, с жутким любопытством и недоумѣньем, читал полицейскіе доклады о террористах. Государственный Департамент полиціи, замѣнившій Третье отдѣленіе, теперь считал опаснѣйшим из них Андрея Желябова, котораго Гольденберг в своих показаніях назвал геніальным человѣком. «Кто такой?» спрашивал император. Его особенно непріятно удивило, что Желябов был из крестьян: до сих пор цареубійцы в русской исторіи обычно бывали дворяне.

Однако всѣ непріятности, связанныя с государственными дѣлами, теперь не очень разстраивали Александра II. Он был счастлив как давно не был счастлив в жизни. Ему хотѣлось только того, чтобы люди оставили его в покоѣ и дали ему возможность свободно, не скрываясь, провести остаток дней с княгиней и с дѣтьми от

нея. Все, что было связано с Юрьевскими, теперь занимало его больше, чѣм государственныя дѣла.

В день доклада Лорис-Меликова у княгини был назначен костюмированный дѣтскій праздник. Уступая желанію, просьбѣ или полускрытому приказу царя, наслѣдник престола согласился прислать на праздник своих сыновей: они должны были сблизиться с дѣтьми Александра II от княгини. Императоp входил во всѣ подробности праздника, обсуждал костюмы дѣтей и подарки им. Чтобы облегчить дѣтям сближеніе, были приглашены еще дѣвочки графа Воронцова. Царь был очень доволен. Как ни был он теперь равнодушен к общественному мнѣнію, глухая враждебность великих князей утомляла его и сильно ему надоѣла.

Первый вопрос за день был, как всегда, о первом мундирѣ. Лейб-гусарскій и конногвардейскій считались его любимыми: это раздражало кавалергардов, и вызывало у них ропот, нѣсколько забавлявшій царя. «Теперь говорят, мои умники министры спорят о том, как ѣздить представляться Катѣ: в сюртукѣ, как к частной персонѣ, или в мундирѣ, как к члену царствующаго дома... Скоро будут ѣздить к царицѣ», — весело подумал он. В одиннадцать часов он в самом лучшем настроеніи духа спустился по винтовой лѣстницѣ в свой кабинет, сѣл за стол, просмотрѣл прежнія записки и доклады Лорис-Меликова. В первоначальный проект реформы были внесены небольшія измѣненія. Александр II вносил их больше для того, чтобы не во всем соглашаться с министром, да еще чтобы видимостью уступки смягчить и противную сторону. Он знал, что в жизни и особенно в политикѣ почти все выходит совсѣм не так, как ожидали, хотѣли или опасались. «Нынче важный день, больше нельзя откладывать, сегодня же все и рѣшить», — думал он бодро. В сущности, вопрос уже был рѣшен. «Может быть, именно, за это исторія прославит».

— Здравствуй, Михаил Таріелович, — ласково сказал он министру. «Кажется, волнуется. Значит, будет долго говорить», — подумал царь. «Желт нынче как лимон... Il n'est pas très beau, le pauvre homme. Очень непрезентабелен Михаил Тарелкович»... Враги называли за глаза министра внутренних дѣл Михаилом Тарелковичем, увѣряя, будто его так прозвали на Кавказѣ солдаты. У Александра II не было національных или сословных предразсудков. Ему было совершенно все равно, что намѣченный им в главы правительства человѣк был не русскій по крови и не аристократ по происхожденію. Но у него было легкое предубѣжденіе против некрасивых людей.

Он предложил Лорис-Меликову папиросу и подумал, что генерал вѣрно предпочитает свои собственныя толстыя, которыя он крутил из дешеваго табаку. Царю внушало уваженіе, что этот не имѣвшій состоянія человѣк неизмѣнно и упорно отказывался от денежных наград. «Cela n'arrive pas tous les jours... Да, он честен, хоть лукав. Ну, что-ж, скорѣй бы начинал свою волынку: «законность, правовой порядок, выборные люди», слышал, знаю, наизусть знаю»... Царь поговорил с Лорис-Меликовым о здоровьи, спросил, продолжается ли кашель. По долгому опыту ему было извѣстно, что такіе обычные, никому не нужные вопросы, не свидѣтельствующіе ни об интересѣ к человѣку и ни о чем вообще, вызывают восторженную благодарность, когда их задает он. Выслушав с сочувственным видом отвѣт, царь замолчал, приглашая министра приступить к дѣлу.

Лорис-Меликов в самом дѣлѣ очень волновался и чувствовал себя в это утро худо. Ночью тяжело кашлял и думал, что благоразумнѣе было бы бросить политику, подать в отставку, уѣхать в теплые края. Он знал, что окружен ненавистью. Вначалѣ это было ему занимательно новизной; теперь ненависть придворнаго міра его тяготила и даже пугала. Власть сама по себѣ не очень его соблазняла, но он был честолюбив и мечтал о том,

чтобы связать свое имя с большим историческим дѣлом. «И ему, и мнѣ надо торопиться... Знаю, кто идет нам на смѣну».

Во дворцѣ уже было довольно много людей. Ему почтительно кланялись, он любезно всѣм отвѣчал и еще яснѣе обычнаго чувствовал общую ненависть к себѣ. «Конечно, слышали, что скоро рѣшающій доклад». Сторонников конституціи при дворѣ было мало. Ей неопредѣленно сочувствовали нѣкоторые очень немногочисленные сановники. Нѣсколько генералов, по солдатски преданных царю, так же по солдатски стояли и за конституцію, потому что такова была царская воля. Была еще небольшая партія княгини, вмѣстѣ с ней возлагавшая смутныя надежды на новый строй. Лорис-Меликов хотѣл незамѣтно сыграть на коронованіи Юрьевской для того, чтобы добиться от царя осуществленія своих планов. — «Исторія за большое дѣло простит мнѣ небольшую хитрость. Во всяком случаѣ народ за мной», — думал он, как думают почти всѣ правители міра. Из народа он знал лишь солдат. Здѣсь народ представляли только лакеи. «Вот этому, быть может, и не так нужна конституція», — с улыбкой подумал он, когда дверь распахнул старый лакей. Его лицо ничего, кромѣ предѣльной почтительности, не выражало.

Ночью, ворочаясь в постели, он опасался, что кашель помѣшает ему говорить. Но лишь только он начал свой доклад, от его нездоровья ничего не осталось. Рѣчь его лилась гладко. Царь слушал довольно внимательно, хотя без большого интереса. Почему-то его настроеніе духа начало ухудшаться. «Прекрасно говорит, настоящій оратор... «Историческія язвы старой Россіи»... А у новой Россіи никаких язв не будет... Еще будет ли твоя «новая Россія»? Все-таки я пока указа не подписал... «Сближеніе с благомыслящей частью общества»... Не очень и она хочет сближаться, благомыслящая часть общества»... «Увѣнчаніе зданія»... Это так, façon de

parler, это начало конституціи. Зачѣм же ты говоришь, что ни о какой конституціи не думаешь?».

Царь давно привык к тому, что его всѣ обманывают, и даже не очень за это сердился, именно в виду всеобщности этого явленія, — как нельзя было бы сердиться на законы природы. Умом он был почти согласен с министром, но сердцем любил самодержавіе и, хотя рѣшил пойти на государственную реформу, все-же не мог отдѣлаться от легкаго раздраженія против человѣка, который эту реформу предлагал. «Тот ханжа, Побѣдоносцев, тоже говорит превосходно, и много я их всѣх слышал! Сколько ерунды они говорили, сколько дурного посовѣтовали, сколько разумных мѣр считали невозможными, сколько глупых считали цѣлесообразными!».. И по мѣрѣ того, как говорил Лорис-Меликов, Александр II колебался все больше. «Пока рѣшеніе не принято, но минут через десять он, с Божьей помощью, кончит, и тогда надо будет сказать «да» или «нѣт». Сейчас я еще не связан, еще нѣсколько минут не связан... Да, он либерал, он стоит за умаленіе самодержавія. Ему легко: не его оно, самодержавіе, а мое, моих предков, и рѣшаю я... Однако, я уже думал и думал, больше думать нечего... Все-же он честный человѣк, старый боевой генерал с тремя Георгіями»... Царь теперь никому по настоящему не вѣрил кромѣ княгини, но офицерам все-таки вѣрил немного больше, чѣм другим. Призвать к власти либеральнаго профессора было бы выше его сил; но сдѣлать главой правительства при обновленном строѣ генерала, увѣшаннаго боевыми наградами, было неизмѣримо легче. «Да, да, выборные люди!» Им вдруг овладѣла апатія, которую в пору его дѣтства Жуковскій, влюбленный в своего воспитанника, считал главным его недостатком. «Все равно, дѣло уже рѣшено. Le vin est tiré... Сейчас скажу ему, что принимаю его проект... Еще двѣ-три минуты можно не давать согласія, а потом будет рѣшено и кончено»...

Вдруг он вспомнил, как без малаго полвѣка тому на-

зад, шестнадцати лѣт отроду, он, держа за руку отца, перед налоем принес присягу «не щадя живота своего, до послѣдней капли крови, к высокому его императорскаго величества самодержавію, силѣ и власти принадлежащія права и преимущества, узаконенныя и впредь узаконяемыя, по крайнему разумѣнію, силѣ и возможности, предостерегать и оборонять»... Вспомнил фигуры митрополитов, Евангелье и крест на налоѣ, императорскія регаліи вокруг налоя. «Вот и пришел конец... Однако это была присяга наслѣдника, она не может связывать государя... И вѣдь «по крайнему разумѣнію, силѣ и возможности»... Сил осталось немного, и возможности больше нѣт. Да и что такое наше человѣческое разумѣніе?.. «Господи, Боже отцов и царю царствующих! Настави, вразуми и управи меня в великом служеніи мнѣ предназначенном: да будет со мной пресѣдящая престолу Твоему премудрость: пошли ю с небес святых своих, да разумѣю, что есть угодно перед очима Твоима и что есть право по заповѣдям Твоим»... Когда-то его особенно потрясли эти слова заученной наизусть присяги. Он курил папиросу за папиросой. Руки у него все время тряслись.

Флигель-адъютант вошел на цыпочках и доложил о великом князѣ Николаѣ Александровичѣ.

— Ваше величество приказали доложить тотчас...

— Через минуту пусть войдет, я позвоню, — сказал царь, вспомнив о дѣтском праздникѣ. Он тотчас снова оживился. — Да, так к о н ч а й, Михаил Таріелович, я тебя слушаю.

Лорис-Меликов взглянул на него. «Теперь или никогда! Завтра может перерѣшить», — подумал он и сказал длинную запутанную фразу: только ее и приготовил заранѣе из всей своей рѣчи. В каком-то из придаточных предложеній как будто что-то проскользнуло о княгинѣ. Он не рѣшился бы сказать прямо, но смысл

запутаннаго намека заключался в том, что при новом строѣ коронованіе княгини станет вполнѣ возможным: выборные люди, благомыслящая часть общества отнесутся к этому совершенно не так, как царская семья и двор. «Удалось!» — с восторгом подумал он.

— Я принял рѣшеніе, — сказал царь. — Думаю, что ты прав. Надо пойти на эту большую реформу. Что она принесет нам, я не знаю и ты не знаешь. Но думаю, что другого пути нѣт. Во главѣ всего управленія для объединенія дѣйствій я поставлю одного человѣка. Тебѣ извѣстно, что этот человѣк ты.

Рѣшающее слово было сказано. Стало неизмѣримо легче. Царь позвонил. Лорис-Меликов измѣнившимся дрожащим голосом благодарил его за довѣріе, говорил, что не достоен оказанной ему чести, называл принятое рѣшеніе счастливѣйшим и мудрѣйшим дѣлом русской исторіи. «Может быть, и вправду именно сейчас послана с неба премудрость?..» — подумал царь.

Двѣнадцатилѣтній великій князь в татарском костюмѣ, сшитом для дѣтскаго праздника, робко вошел в кабинет и поздоровался с дѣдом. Лорис-Меликов встал и почтительно поклонился.

— Для него стараемся, — сказал царь уже почти весело. — Знаешь его: это твой будущій государь, его величество император Николай II... Мы сейчас пойдем, Ники...

— Когда ваше величество прикажете представить указ на подпись?

— Да, когда представить на подпись? — повторил Александр II и опять ненадолго задумался. Короновать княгиню нельзя было раньше чѣм через год послѣ смерти императрицы. Но между государственной реформой и коронованьем должно было пройти хоть два-три мѣ-

сяца для того, чтобы люди поменьше связывали одно с другим.

— Думаю, что начало марта подойдет. Представь мнѣ все к первому марта, Михаил Таріелович. В добрый час!.. Ну-с, пойдем, будущій самодержец всероссійскій. Очень тебѣ к лицу этот костюм. Гого будет в гусарской венгеркѣ.

(Продолженіе слѣдует)

М. Алданов

АМЕРИКАНСКИЙ ОПЫТ

(Роман)

1. Крик из ванной

Ночью, Боб Кастэр проснулся. Ему было жарко и неуютно. «Кажется простудился» — попробовал нащупать пульс, но тупое отчаяние окатило его всего, пригвоздило: вспомнил, — Сабина, очередная ссора. Не первая, не последняя, еще встретятся, помирятся, потом опять... одно ясно: не любит. Во всяком случае, не так, как способна, как любила тех, — до него. В горло возвращалась спазма: комок, точно кусок, застрявшего яблока. «Ах, все равно, все равно, — шептал он, лихорадочно отмахиваясь от назойливых догадок, воспоминаний, образов: — Пусть конец. Скорее конец». Там, в другом центре города, — Grenwich Village, — вероятно давно уже, уснула Сабина. Если подойти к телефону и отщелкать Грамерси 9 и четыре цифры, то через минутку раздастся ее глубокий (не грудной), полный значимости и неосознанной радости, голос: — Алло, — слегка насмешливое и дружеское. — Как хорошо что ты позвонил... Но все это ни к чему. Есть некий, основной, порок и в их отношениях. Словно проклятые. Она его не любит. Смешно и глупо. Боб Кастэр проделал полторы войны. Был женат и, возможно, отцом ребенка. А сейчас он занят любовью: пресный, малоубедительный напиток, — молоко для младенцев. «Я глажу, ласкаю это имя», — сказала Сабина. Совсем недавно. Он ей подарил свою брошюру, посвященную музеям Испании. По телефону, она говорила: «Роберт Кастэр... Я глажу, ласкаю это имя»... А при встрече: «Бывают минуты, когда я

даже не замечаю твоего присутствия». И они разругались. Зачем она это сказала? Он ведь не спрашивал. Но раз так, он не мог примириться, должен был ответить. «Ах, пусть это уже кончится, все равно»... шептал Боб и принимался дышать по особому способу: глубоко, задерживая надолго воздух, борясь с докучливой спазмой в пищеводе. Потом он думал о войне, о Европе, о врагах. Эта война началась в Испании... Боб Кастэр незаметно погрузился в тяжелый, мрачный, не дарящий покоя, сон.

Как всегда, по воскресным дням, он проснулся рано. В будни, часы вырывали его, звонком, из недр сладчайшего забвения. Мнилось: поспать бы еще хоть 5 минут, — вот счастье. Но в праздник, когда время принадлежит человеку, он пробуждается с регулярностью лунатика, в урочное, рабочее время.

Попробовал снова задремать: устроился поудобнее, съежился под одеялом, лег на другой бок, — но это не помогало. А в окно упал вдруг луч холодного ноябрьского солнца. Золотистая прядь, — в сумраке горницы, — напомнил Бобу Кастэру детство. Тогда за окном раздавались звонкие крики ребят, замышляющих новую проказу: надо спешить, — одеться, поесть, — чтобы успеть примкнуть к ним. «Нет, жить еще можно» — бодро стукнуло сердце. Почувствовав неожиданный прилив энергии, он вскочил и голый пробежал в крохотную ванную. Пустив горячую воду из крана, Боб Кастэр, прежде чем приняться за утренний туалет, по обыкновению, глянул в зеркало. Тогда раздался его крик. Страшный, животный, испуганный,—изумленного, подбитого зверя.

Было 8 часов 10 минут. Хозяйка квартиры, Этель Линзбург, стряхивала пыль в прихожей с больших стенных часов. В это время из комнаты Боба Кастэра донесся придушенный, затяжной, скорбный стон, будто испускающего дух, скота. Преодолев весьма понятный испуг, Этель, осторожно постучала в дверь и крикнула:

— М-р Кастэр, что с вами, вы больны? — она при-

ехала в Америку из уголка, где постоянно хворали; кроме того, единственный сын ее утонул, а муж недавно сбежал. Вот почему она, кстати и не кстати, с гордостью всегда повторяла: «меня ничем не удивишь, я маринована в несчастьях».

Жилец не отзывался. Этель снова постучала:

— М-р Кастэр, М-р Кастэр, вам может быть дурно?

Тогда раздался голос Боба, ломающийся, растерянный:

— Ничего, Миссис Линзбург, уверяю вас, я порезался бритвой, к тому же, я себя плохо чувствую.

Это обрадовало хозяйку:

— Я вам дам карлсбадскую соль!

— Спасибо, Миссис Линзбург, я думаю, воспользоваться свободным временем и сходить к доктору.

— У меня есть камень останавливающий кровотечение, муж им всегда пользовался! — обычно, после упоминания о муже, следовало: «Ему захотелось молоденькую девицу, вот он теперь имеет молоденькую девицу».

Но Боб Кастэр ей не дал развернуться:

— Пожалуйста, Миссис Линзбург, мне ничего не надо. Погода кажется отличная, — и считая беседу оконченной, он демонстративно хлопнул дверью ванной.

«Какой невежда», — хозяйка горько покачала головою. Всю жизнь ее удивляла грубость людей, их неспособность оценить тяготенья доброй и бескорыстной души.

Хлопнув дверью, Боб Кастэр, снова подошел к зеркалу и с вытаращенными от изумления глазами, начал мучительно и старательно себя изучать. Он ощупал зачем то лицо, высунул язык, заглянул в горло, освидетельствовал руки, ноги, надолго застрял у низа живота. Сомнения не бало: он гладил, щипал, мял свое тело, подставляя различные части ближе к свету. Даже в глазах появилась, — новая, гневно зеленая искра. «Это кошмар. Это, это, это»... он не знал что подумать и толь-

ко беспомощно озирался по сторонам. «Надо звонить, телеграфировать, бежать. Надо действовать». Куда, зачем... Тайна. Одно только ясно: стряслась беда. Непоправимая, единственная в своем роде. То к чему всю жизнь, молодость, он рвался, свершилось. Только с противоположным знаком. Он готовился к исключительной судьбе, победе, славе. Все осуществилось в обратном направлении. Оригинальная катастрофа, непоправимое поражение, загадочное горе решительное и страшное. Если-б он ослеп, потерял ногу, руку, сознание, умер наконец, — все проще! «Умер? Нет. Умер — нет. Только не смерть. Тогда, действительно, конец!» — рванулась душа и Боб Кастэр с радостью отметил: она еще жива. «Голыми руками меня не возьмешь»! Он вспомнил слова любимого поэта: «Бог меня хранит для неведомого часа»... Неужели сюда Господь его вел чрез все мытарства, опасности, искушения? «Я не хочу этого, именно этого я боюсь». Ему стало жаль себя. Захотелось ласковых слов, сочувствия, внимания. «Сабина, — вспомнил, сладостно переводя дух. — Один взмах ее ресниц стоит всей вашей благополучной жизни». Что если позвонить. Только голос. Какая радость: он обязан забыть будничные раздоры. Они друзья. Как ни странно, Бобу Кастэру почудилось, что Сабина может дать дельный совет. Это кошмар, это умопомрачение» — снова проверял он себя в зеркале. И свет: сейчас он услышит ее аккуратный, четкий, и в то же время таинственный, недоговаривающий, закругленный, затушеванный, глубокий (синий), голос.

Звонить можно было только из корридора. Тщательно одевшись, обмотав лицо шарфом, подняв воротник пальто и нахлобучив шляпу, он выглянул из своей комнаты.

— Я не одет, Миссис Линзбург, — предусмотрительно крикнул он.

— Хотите горячего чая с тостом? — отозвалась

хозяйка, быть может из щели в половицах: — Это хорошо в вашем состоянии.

«Откуда они знают что хорошо и что дурно», — заскрежетало в нем. Ответил: — Нет, нет, Миссис Линзбург, спасибо, все обойдется.

На трюмо, в узком, темном корридоре, стоял телефон, и вид этого неказистого, крохотного аппарата, наполнил сердце Боба Кастэра нежностью и болью: свидетель, соучастник, проводник их бурного счастья, откровений и харакири.

«Я тебя разбудил?

— Нет. Нет, — сказала Сабина.

За 6 месяцев этой тревожной связи, им случалось звонить друг другу в самое несуразное время дня и ночи, а ответ всегда гласил: не помешал, не помешала, не разбудил, не разбудила... Это не было ложью.

— Мне необходимо тебя повидать, — объяснил Боб.

— Что, неприятности? — опять знакомые, грудные, жаркие, завуаленные нотки.

— Не совсем, я сам еще хорошенько не разобрался. Нам следует поболтать, — и желая подчеркнуть, что речь идет не о вчерашнем: мелочь, обида... добавил, — милая, ненаглядная!

— Да? — отозвалась она удивленно и радостно. Он знал: Сабину могла восхитить одна память о таких словах, независимо от того к кому они обращены. — Понимаешь, ко мне неожиданно приехала сестра с мужем. В 2 часа они уходят. Приезжай когда хочешь, но поговорить удастся только после двух. Если бы вчера...

— Забудем о вчерашнем! — великодушно предложил он (сколько раз Сабина это говорила). Теперь она откликнулась так:

— Да, только я немного устала.

— Дорогая.

— Да...

— Скажи что нибудь.

— Да... — и после бездарного молчания: — Жду тебя к двум часам.

В обычное время, уклончивый ответ, считался достаточным поводом для разрыва отношений. Боб Кастэр вцепился в облупленную телефонную трубку. «Нет, это кошмар, это невозможно осмыслить», — беззвучно шептал он, разглядывая свою руку; и к Сабине: — Да. Да, жди меня к двум.

Натянув перчатки, укутав лицо, еще ниже надвинув шляпу, — точно у него флюс или нечто подобное, — он незаметно выскользнул на улицу: понесся вниз по Riverside Drive в сторону 96 улицы. Пройдя несколько кварталов по безлюдной, подметаемой океанским ветром, мокрой, со следами недавнего снега, набережной, он повернул в сторону Бродвея.. Подумал: собственно, здесь его никто не знает, можно снять безобразную шляпу, нелюбимые перчатки, выпрямиться... Но это значило, до какой-то степени, на долю, примириться, хотя бы внешне уступить. «Нет, я не для компромиссов, — решил: — пока еще не сдаюсь».

Вид у Боба Кастэра был странный и не внушающий доверия: подобно человеку-невидимке, по Уэльсу. Редкие прохожие удивленно его оглядывали и боязливо сторонились.

Не хватало мелочи, а менять 5 долларов не соглашались в первом табачном магазине; в следующем не было Camel, а сдачу он получил серебром и никелями. Эти мелкие осложнения являлись не случайностью, показывая Бобу Кастэру трудности предстоящей борьбы: где всё и все, ничтожное и крупное, выступят против него одного.

По началу он решил побывать у доктора после визита к Сабине, но обнаружилось, что времени впереди, — прорва... а сидеть в людном месте казалось невыносимым. Наскоро закусив и выпив кофе, причем для этого понадобилось все же снять перчатки и распутать кашнэ («так, по частям, по частям, собака»), — он, идя

по линии наименьшего сопротивления, позвонил Поркину, который уже пользовал Боба Кастэра от предполагаемой atlet's foot.

2. Визит к врачу

Доктор Поркин не принимал по воскресеньям. Но к телефону подошла его жена, Анита: ее, супруг, так и не смог научить отказывать клиентам, хотя бы в праздник, — она не считала работу врача утомительной. После нескольких жеманных фраз и вопросов, она разрешила Бобу Кастэру явиться на прием.

Прошлой ночью, Рут, единственный отпрыск Поркиных, вернулась домой в два часа, — а лет ей всего 15! Ранним утром, отец уже приступил к допросу, тщетно стараясь добиться исчерпывающих объяснений. Сопоставляя противоречивые данные, он медленно и неуклонно доказывал жене, что дочь их лжет и ростет без призору.

— Ах, оставь ее в покое! — вспылила вдруг Анита: — Пусть хотя бы она живет и не жалеет потом об упущенном.

Это взорвало Поркина.

— Ты, ты упускала возможности? Отказывалась от чего нибудь? Я жизнь свою погубил из за вас, а ты смеешь еще упрекать...

Это соответствовало только частично истине. Доктор Поркин пожертвовал своим главным призванием и растратил себя в холостую по целому ряду причин, из коих некоторые совсем не подавались учету. Вообще, когда он сравнивал свою судьбу с участью знакомых или друзей, то выходило, что ему, Поркину, еще повезло. Если его жизнь не удалась, то другим и подавно.

Доктор Поркин получил свой диплом в России; очень увлекался врачебной и научной деятельностью: казалось, широкие дороги ведут во все стороны, — шагай только, плыви! Вынужденный эмигрировать, он, в

Америке, сразу пустил крепкие корни, быстро переучился и наладил успешную практику. Но тут явились соблазны: ему предложили место врача при Юнионе. Крупное жалование, премии, наградные. Он польстился на этот большой, ежегодный, обеспеченный куш и превратился в чиновника, политикана, зависящего от правления, выборов и прочих интриг. Частные клиенты разбежались и хотя эти последние имели свои недостатки, но теперь, Поркин, вспоминал о том времени как о желанном и осмысленном. После, — все пошло прахом: здоровье, молодость, любовь к жене (Вот дочь растет, — явно безобразно).

В разгаре самых горьких воспоминаний, жена сообщила Поркину, что старый его больной срочно нуждается в помощи и сейчас будет на приеме. В другое время это бы обрадовало Поркина, дорожившего частными пациентами, но теперь он не удержался и при дочери, бросил:

— Жаднюга, итальянская!

Когда Боба Кастэра ввели в кабинет, его встретил доктор, прикрытый улыбками, олимпийским величием, белыми хламидами и прочими аксессуарами современной медицины, стирающими различие между Пастером и жуликоватым знахарем.

— Странно. Кастэр. В 1942 году? Странно, я не нахожу вашу карточку, — бормотал Поркин, уже небрежно развалясь в кресле.

— Скажите, — тихо спросил Боб: он стоял голый по пояс, готовый, при первом знаке врача, спустить брюки. — У вас отдельная картотека для черных и отдельная для белых?

— Негры такие же люди как и прочие расы, — нравоучительно ответил доктор.

— Я знаю, только вы классифицируете их в отдельном ящике, это я хотел спросить?

— Да, Так быстрее ориентироваться.

— Тогда поищите мое имя среди белых.

Пожав плечами, доктор отворил другой шкаф.

— Роберт Кастэр. 32 года. Вест 102 улица, — удивленно прочитал Поркин.

— Это я, — подтвердил Боб.

— Итак, произошла весьма обыкновенная вещь: местное экзематозное состояние превращается в общее. Не следует запускать болезнь. В два-три месяца я исцелю вас или во всяком случае поправлю. Мы сделаем серию внутривенозных вспрыскиваний. Кроме того, на ночь я вам пропишу мазь.

— Доктор, — сказал Боб Кастэр. — Я не за мазью пришел. Дело не в экзематозном состоянии. Какая обозначена раса на моей карточке?

— Ах, да, — вспомнил Поркин: — Недоразумение, — и карандашем зачеркнув слово white, приготовился начертать black...

— Не делайте этого, — угрожающе сказал пациент.

— То есть почему? — оторопел Поркин. Захлопнув дверцы шкафа, он на всякий случай шагнул назад, так что между ним и больным оказался большой, письменный стол. «Вассерман не мешает», — мелькнула мысль.

— Доктор, — волнуясь, начал Боб Кастэр: — Представьте себе дикое происшествие. К вам является человек, черный, с ног до головы, до губ, до пяток и ногтей... Он рассказывает что был вчера еще белым, клянется. Вы лично его когда то лечили! Что вы ответите? Известна ли такая болезнь? Как ее имя? Что за лечение? Наконец, может ли он надеяться вскоре снова обрести свою первоначальную окраску? Вы понимаете какие вопросы меня беспокоят?

— Так, так, отлично, — глубокомысленно повторял Поркин. Он ничего не соображал и взгляд у него был трусливый, хитрый и глупый. «Ну и воскресеньице, жена продала за пять долларов» — думал, продолжая поддакивать тем особым, профессиональным, лживо-ласковым голосом, присущим докторам, иногда даже артистам своего дела. Так проститутки подмигивают и безобраз-

но вихляют задом, во всех странах на один манер. — Ваша кожа несколько потемнела, стала грубее, объяснение в патологии болезни: перерождение эпидерм. Я думаю, лучше всего обратиться в больницу. Я дам записку. Они имеют отделение приспособленное для вашего недуга...

Боб хотел возражать, спорить и вдруг лицо его исказилось от боли и возмущения: свет опостылел. Он разглядел против себя красного, громоздкого, плешивого человека с тупым, хитрым и трусливым лицом: не злой и жадный. Что он ему? Зачем Боб пришел сюда? Совет такого? Да Поркин сам несчастен и нуждается в руководстве. Оставив на бюваре деньги, он брезгливо морщась, словно проглотив ложку касторки, выбежал из кабинета.

В корридоре ему навстречу скользнула еще молодящаяся, поблекшая женщина, с крашенными волосами; она собрала свое жирное, неудовлетворенное тело и на мгновение подставила, предложила Бобу, но тотчас же разочарованно отпрянула. В большом трюмо он увидел себя: нечто темное и чужое, — до смешного, до бунта. «Где кашнэ, куда засунули, чорт с ним!» — не стоило расспрашивать, еще хоть на минуту задержаться в этом доме!

Прислуга, черная коренастая девка, заговорщически сверкнула белками, фамильярно подмигнула, пропуская его в не совсем распахнутую дверь. «Люди живут во лжи, привыкли к ней и когда встречаются с фактами действительности, то просто отвергают их, не признают», — Боб закурил папиросу и машинально вздохнул: незнакомая марка... и тотчас же злобно оскалился. «И это ложь, уже его личная: он совсем не так любит Camel».

3. Снег

На прошлой неделе выпал снег. В городе он успел

завянуть, стаять, свернуться, под звон и грохот машин. Но в Central Park'е снег еще лежал уплотненый, чистый, задумчивый. Сад преобразился, наконец, покаявшись, вернулся к своему детству, заснул, остановился. Звуки и краски ложились глуше и тусклее, будто сквозь завесу, пелену: не рядом, не тут, а соседняя, потусторонняя реальность! Синевато искривленный мир, пышный, завороженный.

Музейными саркофагами грезились по краям небоскребы, окаймляющие царственно пустынный парк. Не сад походил на кладбище, а город обрамляющий его: ни звука, ни вибрации, — все заглохло, умерло. Две, три, аллеи были расчищены, но боковые тропинки так и лежали, непроницаемые, со следами одиноких прохожих, неуспешно пытавшихся преодолеть эту податливую гладь. Шагать по целине было трудно и потому, непосредственная борьба эта, доставляла Бобу Кастэру знакомую, — давно забытую, — усладу. Он шибко брел, с наслаждением волоча ноги по пушистому, голубоватому снегу, ветер бил в лицо, — Боб снял шляпу, подставляя непокорную голову бешеным порывам океанского вихря. Лицо раскраснелось, заулыбалось: дыша всей грудью, он невольно запел.

И вдруг, спереди, заюлило на снегу, темное, живое пятно: щенок. Боб Кастэр обрадовался ему как родному, близкому творению, — на другой планете: с такой нежностью человек бы приветствовал земного клопа или глиста, на Марсе! Боб подался в сторону пса, но тот начал улепетывать и залаяв стреканул в кусты. И вот поляна, озаренная не солнцем, а светом, — субстанцией, эссенцией света, — и посередине: девочка, белокурая, с локонами по плечо, одетая празднично, однако не совсем по сезону. Она держала щенка, пытавшегося снова вырваться и не сразу заметила Боба. Улыбаясь ей как видению, Боб приблизился и спросил:

— Откуда ты?

Девочка молчала. Он спросил знает ли она, где жи-

вет: там, там, там?.. По внешности ей можно было дать лет 6-7. Раз она кивнула головою: восточная сторона. Боб взял ее за руку и повел; девочка доверчиво пошла рядом, даже щенок, обрадованный присутствием взрослого, разумного существа, послушно заковылял, не отставая. Идти было трудно, ноги ежеминутно проваливались, ветер бешено задувал, открытые туфельки девочки явно не годились для такого путешествия. Спросив еще раз, безрезультатно: — Как ты сюда забралась... Боб взял ее на руки и размашисто зашагал целиной к **East Side**. Собака бежала жалобно подвывая.

Там, за кустами, оказалась тропинка, мелькнули столбики широкой аллеи, — и вот уже автомобильная дорога. Бесшумно застопорив, возле них остановилась полицейская машина.

— Я нашел ее в снегу, она говорит, что живет на **East Side**, — улыбаясь объяснил Боб, вытирая со лба пот.

— Лезьте в машину, — приказал полицейский за рулем. Потеснившись, они все уселись: девочка на коленях у второго полицейского, собака на руках у Боба.

У ближайшего участка шоффер затормозил:

— Пса оставьте здесь, — посоветовал он.

Боба ввели в одну комнату, затем в следующую: обыкновенная контора и все же чувствовалось, — полиция! По запаху, по воздуху, по ткани окружения. Пришлось ждать довольно долго пока вышел седой, бритый джентльмэн, атлетического сложения.

— Повторите ваши показания, — предложил он и занялся трубкой.

Боб, уже несколько рассерженный, повторил свой рассказ. Офицер сверял что-то по записи.

— Ваше имя? Фамилия? Возраст? Адрес? Место рождения?... — смолк, рассеянно пуская клубы дыма.

Вошел другой полицейский, они, шопотом, обменялись несколькими фразами. Была ли это справка о Бобе Кастэре или о девочке... только офицер сказал:

— Отлично. Я могу вас отпустить. Подпишите пожалуйста это...

Боб бегло пробежал взглядом уже отпечатанные на машинке строки собственного свидетельства.

— Я не могу подписать. По совести не могу, — сказал Боб Кастэр.

— Почему?

— Тут обозначено, что я черной расы. Я не черный, я белый. Мой отец француз, а мать русская.

— Но у вас темная кожа...

— Цвет в данном случае ничего не обозначает. Моя кожа только сегодня потеряла первоначальную белизну: она была подобна вашей. Болезнь или другое недоразумение, не знаю!

— Но этого для нас достаточно...

— Я протестую, — упрямо заявил Боб Кастэр: — у меня имеются свидетели!

— Может быть вы говорите правду, — рассудительно начал офицер: опытный и мудрый чиновник. — Может быть вы врете или пьяны или взбесились, но это бесполезно, ибо выходит за пределы моей компетенции. Вы знаете что перед законом негр равен белому, мы все сотворены одним Богом, Отцом.

— Да, все люди братья, — невесело улыбнулся Боб.

— Вот что, сегодня воскресенье. Я не вижу причин с вами спорить. Мы отметим, что вы считаете себя белым хотя выглядите негром, такое вы сможете подписать?

Боб согласился и сопровождаемый непроницаемыми взглядами полицейских выскользнул наружу. И снова миниатюрная бесконечность, — снежная, полярная, безгрешная. Деревья пухлые, печальные стояли, сосредоточенные, прислушиваясь к внутреннему голосу, будто осознавая свои тайные грезы и возможности. Время от времени, порыв ветра (подобно страшной мысли), сотрясал их до основания: они судорожно вздрагивали, тщась сорвать с места, побежать. «Вообразить себе мир

с бегущими деревьями, — подумал Боб: — по земле, по воде!»

4. Сабина

Сабина жила в новом, несколько смешном, доме на 10-м этаже. Из соображений конспирации, Боб поднялся наверх по лестнице, — выждав время когда лифт с холуем уплыл в небытие.

Обыкновенно, дожидаясь его, Сабина отпирала дверь, так что ему не приходилось звонить и стоять в корридоре. Из ванной доносился шум открытых кранов.

— Это ты! — крикнула она своим полным тайной радостью голосом: — Я сейчас.

Он прошелся несколько раз по диагонали большой студии; в окно, — чрез всю стену, — виднелись крыши соседних зданий, угрюмые, прокопченные. Внизу: Sheridan Square, — там снег покрыл скамьи и карликовые деревья, как на рождественских открытках. Ветер будто угомонился: в комнате было тихо и жарко. Он вспомнил: почти целый день не ел и, — на ногах. День подобный страшному сну. Конечно, нельзя сдаваться, но трудно, трудно. Кто ему поможет. Сабина. «Великая и страшная борьба ждет человеческую душу». Философ разумел смерть. Но это может быть и другая форма потери личности, медленное или внезапное скольжение вниз, в сторону. Человек умирает раньше чем предполагают. Сабина. Она целовала все его тело. Это невозможно. С теми поцелуями кончено.

Она вышла, держа полотенце в еще мокрых, обнаженных руках. Очень серьезная, торжественная, — как часто, после ссоры, когда он первый делал шаг к примирению, — словно участвуя в мистерии, приблизилась и взяла его за голову, стараясь повернуть лицо к себе. Секунду он сопротивлялся, потом уступил, все еще отводя глаза, и вдруг затрясся от ее скорбного, хриплого шопота:

— Боб, что это, Боб...

Он молчал, криво усмехаясь.

— Что это, Боб, — и тихо заплакала.

За все месяцы их знакомства, за эти мучительные, сладостные, бурные часы и дни объяснений, распрей, сцен ревности, впервые сегодня ее слезы имели разумную, понятную причину: будничные, семейные, житейские, бытовые слезы (когда брат или муж страдает от предполагаемой язвы желудка).

—Меня принимают за негра, — неизвестно зачем объяснил он.

— Расскажи подробно, что произошло? — в ее голосе зазвучали нотки любопытства и надежды.

Боб вкратце сообщил известные уже факты. Ночью плохо спал: мучительные видения, просыпался потный, в жару... А утром, — в зеркале: черномазый!

— Надо к доктору, — решила она облегченно.

— Был уже... Не верит. Считает опасным маниаком. Недуг исключительный, вообще неизвестный, не исследованный. В средние века церковь сжигала на кострах многих больных. Вот участь ожидающая меня.

— Стыдно: уже падать духом!

— Я не сдаюсь, — перебил он: — Пока ты со мной. И даже без тебя не перестану сопротивляться! Но посмотри, — он сунул ей под нос свои руки, ладони, ногти со страшной обезьянней синевой: — Только здесь белое, гляди! — освободил низ живота.

Мучительно морщась, Сабина обняла его и начала бурно, матерински, безгрешно целовать. Он сиротливо прижался: знакомое, изученное во всех впадинах тело. А в сущности, она никогда ему до конца не принадлежала. Чем легче, безрассуднее она шагала навстречу его страсти, тем неудовлетвореннее и жаднее становилась любовь души. Вот она вся в его руках, — и ускользает, ускользает... безнадежно. Ребенок бежит за птицей, накрывает ее, но это тень: птицы нет, может она в небесах. Чем плотнее они подходили к последней грани, от-

деляющей два существа, тем сильнее, — словно в наказание, — их отбрасывало... и в сердце только пустота и боль. Близко, близко, рядом лежит человек, но не пробьешься к нему: что под этой кожей, что под этой черепной коробкой? Два сантиметра отделяют их, — а как далеко. Человек засыпает один, и умирает один.

Он принялся ее покусывать (может быть, бессознательно, стремясь прорваться сквозь внешнюю оболочку). Начал осторожно, нежно, постепенно впадая в отчаяние и гнев; положил свою большую руку на живот: казалось всю ее зажал в ладони. Она великодушно откинулась назад, раскрываясь, подставляя всю себя. И это обман. Она никогда не отдавала себя (идиотское слово, — овладеть женщиной). На самом деле она всасывала, опорожняла его целиком. Но сейчас, грязный, каким Боб себя чувствовал в непривычной черной ткани, быть может носитель инфекционного недуга, он испытывал особое упоение. «Пусть: не любит, не хочет, не совсем, не вся, — тем лучше»... Он понимал теперь больных маниаков, стремящихся опоганить, испачкать здоровое, чистое окружение. Вероятно, Сабина восприняла ту же остроту противоестественного, незаконного.

Они сидели отвернувши лица друг от друга. Пробовал ее гладить, но ладонь, тяжелая, шершавая, липкая, была ему самому противна: отдернул руку. Пошутил:

— Спасибо, что хоть это место они мне оставили светлым!

— У какого врача ты был?

— У моего старого, Поркина.

— Я не думаю... Надо к большому специалисту по общей медицине или еще: по железкам внутренней секреции! Как это пришло неожиданно, так может и исчезнуть! — испугавшись лжи: она была почти болезненно правдива... добавила: — Знаешь, это замечалось уже давно. Дело не в одной коже. Я раньше уже наблюдала какую то перемену в тебе!

Но как Боб не старался, Сабина ничего больше объяснить не могла или не хотела.

— Надо обязательно посоветоваться с адвокатом! вспомнил Боб Кастэр. — В административном отношении можно ожидать всяких гадостей. Меня сегодня завлекли в полицию: я уверен, что вчера этого бы не понадобилось!

— Адвокаты?..

— Дело не только в цвете, — продолжал он. — Чорт с ним. В конце концов, черные тоже люди...

— Да, но я не могу любить другого. Я любила тебя! — прервала она испуганно.

— Вот, вот. Я еще не другой. Но меня заставляют стать другим. Я не хочу платить по чужому счету. Я отвечаю за мою личность: я обязан быть самим собою. Ты понимаешь? А меня толкают отказаться от себя. Меня принимают за другого. Вся жизнь нажимает в этом направлении. И скоро мне даже понравится состояние побежденного. Это самое поганое: ибо соблазнительно легко! Но тогда конец!

— Да, тогда конец, — согласилась она, думая о чем то своем.

— Кстати, Миссис Линзбург. Я больше не хочу ее видеть. Да и она не пожелает держать меня в доме.

— Это верно, — согласилась Сабина.

— Ты поедешь туда, соберешь вещи. Я сниму комнату и позвоню. Сочини историю: заболел, умер, зачислен в подводный флот.

— Погоди, раньше всего следует позвонить врачу. Это я считаю все таки главным.

Она долго рылась в телефонной книге. Звонила подруге и еще знакомой этой подруги. Узнала адрес врача. На вызов никто не откликнулся: воскресенье!

— Позвоним завтра, — с досадой решила Сабина. Пока она хлопотала, луч надежды, деловитой энергии разгорался в их сердцах; все становилось проще; впереди была простая цель: найти номер, условиться о сви-

дании, соврать Миссис Линзбург. — Мы туда пойдем вместе, Боб.

Смеркалось. Зимний день равнодушно догорал. Воскресенье. Оно сулило радость и отдых горожанам. Подростки побывали в кинематографе; молодые пары встретились, танцевали, целовались в укромных углах. Глава семьи ласкал взором беременную жену, купал, менял пеленки бэбэ, вытирал послеобеденную посуду. Некоторые захворали, перепились; каретки скорой помощи свезли кровоточащих в госпиталь. Боб Кастэр, сегодня с тобой, с тобою приключилась беда; а впереди, — еще смерть. Не просто настигнет, где нибудь встретит: она уже в тебе, — теплится, дремлет, зреет! И болезнь, последняя, решительная, — уже здесь. Ничто не спасет. Земля будет жить и люди на ней, а тебя нет! Единственный, неповторимый, брезгливый, уродливый, отважный, — ты исчезнешь. Можешь этому поверить? Нет.

Он лежал. Рядом Сабина. Она его сегодня почти не целовала. Случайно... Ему не сладенького нужно. Только бы знать что любит! Не существует: «очень люблю» и «немного люблю», как нет горячего кипятка и теплого кипятка. Она никогда не могла сказать ему, без запинки, — люблю! А поступала как влюбленная. Что нужнее, действительнее? Есть ли ответ, — один, безоговорочный?..

Опять: нечто похожее на кулак или кусок яблока, — у него в пищеводе. Спазма. Выпить бы чаю. За скатертью. И радио-программа. Обыкновенная судьба. Выдержит ли он? Вчера еще мог жениться на Сабине. Тихая, семейная жизнь. Платить налоги, посещать регулярно контору и церковь, по вечерам мыть посуду и пеленки.

«Если-б она радикально изменилась, стала черной, что тогда! — Боб содрогнулся: — Нельзя, не надо. Пусть останется прежней. Не меняйся Сабина. Я люблю тебя. Именно тебя».

Но только что, — все прошло на редкость удачно. Значит... Что это значит? Любит? Любила всегда? По-прежнему любит. По новому: зажав ноздри, кинулась вверх тормашками, принесла себя в жертву, жалостливо и сладострастно...

5. Сабина (продолжение)

Она лежала, смежив веки: огромные ресницы, густые, слегка вздернутые, пали вниз. Судорожно прижималась к нему, ерзая и подрагивая. Так она всегда поступала если чувствовала себя виноватой, — когда ей мнилось: не любит, не достаточно любит Боба!

«Не глядит. Ей тяжело смотреть на меня». И Боб вспомнил... У Сабины, когда то, давно, был роман с испанцем. «Я глядела на него как на Бога. Ничего не видела: только снопы света плыли в глаза или из глаз. Однажды, он спросил меня: — ну теперь ты уже не будешь больше смотреть такими глазами»...

— А ты что ответила? — жадно осведомился Боб.

— Не помню. Вероятно ничего не ответила: только поглядела на него.

И Боб Кастэр, пересиливая боль, засмеялся от умиления: такое существует, пусть не ему, а другим, оно выпадает на долю (очевидно незаслуженно). Заслужить любовь: идиотское сочетание слов! Заслужить благодать.

Они познакомились в Музее of Modern Art, на 53 улице. Не Боб, а испанец с Сабиной. Вообще, все происходившее между Кастэром и ею казалось плоским, серым, а «то» вырастало до размеров легенды! Они постоянно ощущали разрушительные взрывы прошлого. Так планетное возмущение Урана вызывается присутствием другого небесного тела, — Нептуна.

«Я ужасно страдала, — повествовала Сабина: — Я жаждала его видеть ежедневно, по 24 часа, а он считал должным встречаться только по субботам». И Бобу ка-

залось: теперь он играет роль Сабины, а она, — испанца. Придравшись к пустяку, он поссорился: три дня прождал ее звонка. Сабина пришла к нему с цветами. Но Кастэр помнил, к испанцу она тоже ходила с букетиком фиалок.

Она принесла Бобу сирень и целовала его и всхлипывала от радости и горечи любви. И все таки он сказал, защищаясь усмешкой: «Я бы предпочел быть инвалидом и чтобы ты явилась с букетиком фиалок». Сабина безрассудно ответила: «кажется я к тебе никогда не приходила целиком. Не знаю в чем тут дело. Он в сравнении с тобой насекомое».

И в то же время, Сабина, делала все для спасения их связи: кроме неосторожных признаний, черезчур резких исповедей, ни в чем ее нельзя было упрекнуть. Без колебаний разошлась с мужем... и многое другое. Мгновениями, это вполне удовлетворяло Кастэра и рождало чувство стойкого счастья. Не в прошлом, отвлеченно, а тут, реально, сейчас! Так, держа ее палец зажатым в своем кулаке, он однажды, спросонок, поворачиваясь на другой бок, сказал: — Знаешь, вот это очевидно называется счастьем!

Слепая, внешняя сила вмешивается, разбрасывает карты, фигуры на доске, меняет топографию местности, и в поднявшемся вихре, все что он с таким упоением выхаживал, отделывал, раздувал, лепил, — может рухнуть, погребая под собой жалкие останки неудачных любовников. Внешняя сила. Но внешняя ли, случайная? Он вспомнил, за последние недели, Сабина, дважды жаловалась: «Твои глаза совершенно изменились, не то выражение, и рот стал другим, ты чавкаешь, когда ешь!»

«Во всяком случае, я так легко не дамся! — рванулся он яростно, не привыкший покоряться чужой воле. — Я прошел тысячи миль под огнем, в бурю, в зной и в арктическую стужу, по этому пути. Я думал реализовать на этой земле то, что пожалуй никому до нас не удавалось: счастливую, совершенную, не разбавленную при-

вычкой, необходимостью, рассудком чистую и страстную любовь. И на последнем круге, — победа вот, вот, за поворотом, — почти у самой межи, когда сам дьявол, казалось, безсилен помешать, — бац, все опрокинуто! Самый смысл темы ускользает. Разве она может меня любить, если я не я... А если полюбит, то, значит, полюбит не меня, не совсем меня. На подобие нового Иова я лежу и почесываю язвы, все мое богатство превращено в пепел. Даже неизвестно: существую ли я попрежнему. Чем крепче Сабина прижимается, тем страшнее ей и тем преступнее она себя чувствует и потому еще ближе приникает. Моя чистая, моя синяя, покорная и непобедимая», — в разных вариантах думал Боб Кастэр.

Сабина ощущала (кожей), его взгляд, испытующий, изучающий, взвешивающий, — и это ее раздражало. Словно принуждают к чему то, лишают свободы. Пугаясь своего злого чувства, начинала себя ненавидеть, потом его: становилось трудно дышать.

Когда напряжение достигло неприличных размеров, Боб, заговорил снова о докторе и о малых делах. Она с ним пойдет к специалисту. Боб снимет комнату в отеле; она привезет самые необходимые вещи; а через несколько дней все выяснится.

— Ты можешь у меня заночевать, — предложила Сабина: — Это самое простое. Одну ночь никто не заметит.

Он деликатно отказывался, но не смог придумать разумного предлога: в конце концов они ведь связаны всеми мыслимыми телесными и душевными узами. И теперь ему уйти в отель! Как только он согласился, Сабина снова затихла, внутренне отодвинулась. «Если бы я ушел, она бы думала обо мне, мучалась, болела, может даже любила. А так она меня либо не замечает, либо не переносит: хочет остаться одна», — а комок в пищеводе все твердел. Боб глотал слюну: пока глотаешь легче, — спазма расходится. Но через мгновение щипцы снова сжимались. Хорошо бы отрыгнуть. Выпить соду. Еще

лучше, — виски. «Нет, я им не дамся, не запью».

— Чему ты смеешься?

У них было принято задавать такие вопросы: о чем ты думал только что? или: что ты хотел сказать?..

«Спросить теперь: — Ты меня любишь?.. Какой ужас, ха-ха-ха», — снова затрясся Кастэр.

— Чего ты хохочешь? — обиделась Сабина.

— Я подумал: хорошо бы напиться пьяным... И сразу понял: у меня хватит сил бороться, не убегая от действительности, не прячась! Странно, меня считают фантазером. А ведь нет человека более преданного истине, чем я, — задушевно поверял он. Только надо условиться: что правда и что иллюзия.

— Да, да, — поддержала она по части алкоголя. Сабина не пила и смотрела на вино как на род яда. В ее страхе было что то детское и даже нравилось Бобу. — Кстати, ты ел сегодня? Неужели? Я тебя накормлю. Пошарю в Ice box'e. Мы завтракали с сестрой в ресторане.

Она приносила из кухни по одному блюду: то салат, то сыр, то яйца... показывала и растерянно спрашивала: — Ты будешь это есть? Больше у меня кажется ничего нет.

Прожевывая сандвич, она вдруг заплакала. Боб ее обнял, усадил к себе на колени; Сабина жадно в него впилась глазами, потом отвернулась, стыдясь и ужасаясь, сказала:

— Я тебя не узнаю.

Позвонили. Радуясь освобождению, она побежала к двери. Вскрик, поцелуи, приветствия: Диана Корэй, подруга детства. Она проводила Джона over seas, завтра возвращается домой. Глаза ее понимающе, удивленно и озорно заблестели при виде Боба Кастэра. Там, в Массачусес, ей не случалось запросто встречаться с неграми, да и охоты не было. На чужбине же другое дело, можно повеселиться, встряхнуться, — никто не узнает. Надо полагать, на сей раз, она попала в точку: эта ее поездка будет удачнее предыдущих. Уверенная что она ничем не

рискует, Диана Корэй немилосердно кокетничала с Бобом, — пока Сабина готовила чай, — попутно показывая незаурядную эрудицию в области музыки, политики и фрейдизма. Она надеется, что Боб их сведет в центр ночного Гарлема: она давно задумала написать книгу о негритянском браке. Вообще, свой досуг Диана посвящает социологии и литературе. Она собирается изучить русский язык или китайский.

— Дело в том что я не совсем негр, — нашел нужным заметить Боб.

— Ах, на половину, как это интересно! Одна моя знакомая обвенчалась с негром в Гаити и очень счастлива, — солгала Диана. В это утро она успела познакомиться с двумя канадскими летчиками: ели во французском ресторане, выпили вина... Диана себя чувствовала теперь особенно интересной и великодушной.

— М...., — сказал Боб Кастэр и повторил отчетливо: — М....

Диана, посвящавшая свой досуг социальным вопросам, растерянно всхлипнула, оглянулась и жалобно спросила:

— Я не помешала вам, господа?

— Я думаю тебе лучше выпить чаю и уйти, — посоветовала Сабина, страдальчески морщась, как от сильной головной боли: так дети спасаются от наказания, прикидываясь нездоровыми, и часто действительно заболевают.

Диана Корэй повиновалась: одним глотком осушила свой чай и выпорхнула, — длинокостая, безгрудая, экзотическая птица.

Этот визит несколько рассеял их, сблизил. Долго смеялись, держась за руки, вспоминая подробности дикой сцены.

— Она вероятно впервые за свою жизнь подвергалась такой смертельной опасности, — шутила Сабина: ей было и радостно и жутко... Какой путь проделан!

Диана Корэй сидела с ней на одной скамье в той же школе...

А вечер плыл над студией; синий, на синих крыльях или парусах. Неразгаданный, девственно мерцал снег в Sheridan сквэре. До определенной поры человек думает о своей жизни: теперь незначительное, — главное впереди. А потом наступает минута, он сразу, почти без перерыва, постигает: основное уже было, — позади. Словно, он поднимался вверх, в гору, а потом начал съезжать: той же дорогой, — тропинка спуска отделена от подъема хрупкими поручнями (не перескочить, однако)! Человек бредет вниз и узнает места по которым недавно карабкался, — упрямый, легкомысленный. Он даже не может с особой глубиной и свежестью тосковать о прошлом, ибо пережил уже и опыт утраты, конца, смерти, — предчувствовал все это с первого шага вперед.

Эти слова принадлежали Сабине, но их мог бы сказать и Боб.

Ее начало знобить. Вообще, ей часто нездоровилось. Боб считал это следствием женских циклов, что смешило, а иногда и обижало Сабину. В таких случаях она глотала разные порошки. Сославшись на головную боль, Кастэр тоже принял таблетку аспирина.

— Знаешь, мы будем спать в рубахах, — предложил он: — Неизвестно, может заразительно.

— Ах, какая разница, — согласилась она и Боб понял: она уже думала об этом.

У Сабины с мужем были отдельные кровати, при любой простуде тот боялся ее целовать, — из гигиенических соображений. Как они смеялись над этим, счастливые, гордые, уверенные: с ними такое не приключится. Законные супруги, укладывающиеся спать в пиджамах, — тема бесконечных издевательств. Боб однажды пошутил: семейное счастье или сексуальная смерть!

— О чем ты думаешь? — спросила из темноты.

Охотно отозвался, ждал этого:

— Мы точно на похоронах, наших, собственных.

Он нарочито преувеличивал, забегал вперед, провоцировал, на манер прививки, вакцины: свойственная ему форма защиты.

Она ничего не возразила, только просунула руку под его щеку: будто не Сабина, а третий, свидетель, жалеющий и его, и ее. Он тихонько, нежно, в такт дыханию, начал облизывать ее пальцы, тоже вырываясь из настоящего, текучего, в прошлое, вечное.

Аспирин ли, усталость... они почти сразу заснули: с тяжестью в груди, — дети, стремящиеся, после обидных побоев, поскорее убежать из действительности.

(Продолжение следует)

В. С. Яновский

МОЙ ЩИТ

In hoc signo vinces

Витязь Тайной Дали,
Стоек я в бою —
Древний щит из стали
Кроет грудь мою...

В поясе средины,
Выкован на нем
Строгий лик орлиный,
Дышащий огнем...

И над ним чеканно —
Мой старинный герб —
Свиты вязью странной
Лилия и Серп.

И вкруг них, вдоль края,
Как венец литой,
Тянутся, сверкая
Огненной чертой —

Ярче, чем средь мрака
Ожерелье звезд,
Три великих знака —
Молот, Посох, Крест.

Эти стихи покойного поэта получены редакцией от г-жи Балтрушайтис.

СЛУХОМ НОВЫМ

Средь шума дня все чаще знаю
Дыханье горней тишины,
В чей вещий миг к земному краю
Плывут зиждительные сны...

И вместо горечи и страха,
Унылых вех стези людской,
Я различаю в смуте праха
Лишь свет отрады и покой...

И в воплях жалобы суровой,
В проклятьи брошенных во мглу,
Отсель вскрывает слух мой новый
Благословенье и хвалу...

Сквозь пестроту юдоли зримой,
В прибрежном камне и в волне,
Один чертеж нерасторжимый
Все чаще четко снится мне...

И вот, средь всех различий яви,
Что длится век, что дышит миг,
В пыли земной — в лазурной славе,
Я вижу тот же знак и лик...

И бренный свет, звезде подобный,
В любви прозренья, мысль моя
Венчает всякий жребий дробный
В едином чуде бытия.

ВЕХИ

Будто ломкий стебель в поле,
Что желтеет в краткий срок,
Шатки вехи смертной доли
В сокровенности дорог...

Весь объят тревогой худшей
Дух, познавший тайну дней —
И беспечен ум заблудший
Средь блуждающих огней!

Ищут бури мир и нега,
Стонет вихрь о благах сна,
Точно скрыты два побега
В темном жребии зерна.

Час заката, час рожденья
Тесно слит в волне времен —
В каждом миге утоленья
Миг алканий заключен...

Снятся кормчим в час недоли
В море нивы, их роса,
Где в бреду иной неволи,
Светят сердцу паруса!

COME LE ONDE

Цветет восторг, как вал. Как вал,
Уходит прочь...
И все, что к звону день призвал,
Заглохнет в ночь...

Приходит боль, как снег. Как снег,
Растает вновь...
Недолго дней весенних бег
Объемлет кровь...

И свет и цвет — на миг. На миг —
Игра всех смен...
И все, что смертный пыл воздвиг —
Зола и тлен...

Вся явь, вся дрожь — волна. Волна —
Весь труд людской...
И жнет земные семена
Покой, покой!

СТИХОТВОРЕНИЯ В 4 СТРОЧКИ

Сердце, миг от вечности наследуй
В час, когда по зову бытия,
Собрались на древнюю беседу
Звездный мрак, ночной прибой и я!

Всю горечь слез моих прими —
Моленье духа — и ускорь
Приход лазури над людьми,
Создатель ночи, Боже зорь!

Сладко часу звездно цвесть!
На земле ступени есть,
К неземному рубежу —
В высь, куда я восхожу.

Бьет полночь... Лишь ветер угрюмый
Бушует в просторе морском...
О вечная, древняя дума,
Твой тайный призыв мне знаком...

Как пение жизни незримой,
Венчальной, вселенски иной,
Ты с зовом проносишься мимо
Тоскующей доли земной!

Неведом твой смысл, иль утрачен,
Но все же, сквозь смертный мой сон,
На миг я бываю захвачен
В твой трепет напевный и стон.

Уже в долинах дрогнул трепет томный...
Как изумруд, сияет мурава...
И дольше день зиждительно-истомный
И светлым зноем пышет синева...

И снова жизнь могуча и нова!
И человек, забыв о грани темной,
Слагает в песню светлые слова,
Чтоб славить жизнь и труд ее поземный...

О нежный ландыш! Божий василек!
Кто вас таким сиянием облек,
Чтоб усыпить людской души сомненье...

О вешний луг! Пошли и мне забвенье,
И, дрогнув тайной радостью в груди,
Ко мне дыханьем силы снизойди!

Мне шепчет ночь в тиши унылой,
Смущая ум, волнуя кровь:
Твое грядущее уж было,
Твой час былой цветет, как новь...

И все смятенье яви бренной
В удел людскому дню дано —
И ты живешь одновременно
Как корень, стебель, цвет, зерно...

И пусть лишь каплей сердце дышит,
Но лик твой равен бытию
Весь океан, не вал, колышет
Твою заблудшую ладью!

Ю. Балтрушайтис

ЗАЩИТА ЦИВИЛИЗАЦИИ

1. Реванш пессимизма

После того, как в течении многих лет было, казалось бы, обязательно быть пессимистом, чтобы сколько нибудь правильно предвидеть грядущие события, с начала 1943-го года — Сталинград! победа в Северной Африке! — оптимисты стали, наконец, чувствовать твердую почву под ногами и с растущей уверенностью ожидать своего торжества. И 1945-ый год принес, действительно, торжество оптимизма и как будто полное посрамление пессимизма. Германия была окончательно разгромлена. Гитлер исчез. Его пособники или погибли или оказались пленниками. Опасения пессимистов, что до полного разгрома Германии дело не дойдет, т. к. коалиция «могучих трех» распадется до этого разгрома, не оправдались. Так же не оправдались и предсказания, что после победы союзники не смогут сговориться о создании международной организации. Вскоре после победы над Германией конференция в Сан-Франциско закончилась основанием «Организации объединенных наций». Не сбылось и мрачное предвидение, что война против Японии будет тянуться еще годы после победы над Германией. Правда, в этом случае помогла атомная бомба, которой ни оптимисты, ни пессимисты предвидеть не могли, но ведь и атомная бомба была такой удачей, что оптимисты смело могли считать ее изготовление лишним показателем торжествующего прогресса.

Оптимисты торжествовали. Пессимисты, конечно, по каждому пункту имели свое «но» и не переставали отравлять своими сомнениями создавшуюся атмосферу ликования, но по поводу достигнутых военных побед и они не печалились. Ведь пессимисты, то есть ожидающие худшего, вообще находятся в таком положении, что они имеют все основания радоваться, когда они ошибаются, то есть когда ожидавшееся ими худшее не наступает. Но зато им не приходится ликовать и тогда, когда пессимизм берет свой реванш и когда после кратковременного «головокружения от успехов» обнаруживается такая мрачная картина мирового положения, какой не предвидели, быть может, и самые упорные из них. А после

окончания этой войны такой реванш пессимизма обнаружился очень скоро и, так сказать, по всем линиям. Уже в сентябре, то есть почти что на другой день после победы над Японией, оказалось — на лондонской конференции пяти министров иностранных дел, — что, победив общих врагов, победители не в состоянии договориться о каком либо мире. Одновременно стало ясно, вероятно, и большинству оптимистов, что принцип единогласия великих держав, руководящий для новой международной организации, при первом же его применении оказался непреодолимым препятствием для достижения коллективных мирных решений. Вместе с этим и со все яснее проявляющимися антагонизмами между великими державами поблекли и надежды, возлагавшиеся на международную организацию, которой — по крайней мере, на время, — почти все просто перестали интересоваться. Атомная бомба, очень многих приведшая в восторг — меня, признаюсь, уже первое известие о ней привело в полный ужас, — стала предметом величайших забот и прямо-таки панического страха, отнюдь не являющегося необоснованным.

Конечно, остается факт победы, избавившей человечество от страшного зла. Но как правы были те, кто предупреждал, что «одной победы еще недостаточно»! И как много нового зла создала война со всеми сопутствующими ей явлениями и с ее непосредственными последствиями. И как углубила она зло уже существовавшее и не уничтоженное победой над Италией, Германией и Японией. Не знаю, способно ли чье-либо воображение представить себе картину положения во всех тех областях, где прошла война. Я на это не способен. Но когда стараешься, на основании теперь уже многочисленных и в значительной своей части бесспорно достоверных отчетов, представить себе конкретно состояние Европы, то действительно, голова начинает кружиться, но уже не от «успехов», а от невероятного нагромождения кошмаров, от какой-то бешеной свистопляски чудовищных видений. Ужасы гитлеризма считались непревосходимыми. И это было правильно: во многих отношениях они не были и не могли быть превзойдены. Но вот Гитлера уже нет. Германия, которой он правил, разгромлена. Национал-социализм ликвидируется и — по крайней мере внешне — с полным успехом. Но если послегитлеровское варварство не достигает извращенной изысканности варварства гитлеровского, то казавшееся уже безмерным море человеческих страданий стало еще шире, и жертв разных насилий и мучительств надо считать уже десятками миллионов. Не есть ли это осуществление того, чего так боя-

лись те пессимисты, которых преследовала мысль, что за военным разгромом гитлеризма может последовать его своеобразное моральное торжество? Исходящая от Германии дикая бесчеловечность, к сожалению, заразительна, потому что она существует потенциально, в большей или меньшей степени, и не в одной Германии. И напомню еще следующее предостережение: «Чтобы действительно восстановить Европу, нужно будет избежать... всех таких мер, которые привели бы к еще большему одичанию тех, кто их проводит. Европу надо восстанавливать в духе европейской цивилизации, а не методами, которые противоречат основам этой цивилизации и, стало быть, еще более подрывают эти, уже глубоко потрясенные, основы».

Заключенные в кавычки слова взяты из моей статьи «Можно ли спасти Европу?», напечатанной в этом журнале 4 года тому назад*). Я возвращаюсь к этой статье для проверки собственных мыслей, которая, быть может, не будет лишена интереса и для читателя. Вопрос, которым была озаглавлена статья, стоит перед нами и теперь не с меньшей, а скорее с еще большей остротой. Ведь вопрос относился не к спасению Европы от Гитлера, которое предполагалось обеспеченным, а о спасении Европы после победы над Гитлером, то есть после войны с ее разрушением и опустошением, материальными и моральными. И вот, сравнивая то, что ожидалось, с тем, что произошло, я вынужден констатировать, что более всего оправдалось п е с с и м и с т и ч е с к о е ожидание «стихии гнева, ненависти и самого подлинного варварства», а меньше всего о п т и м и с т и ч е с к а я надежда на излучение цивилизационного влияния сохранившимися очагами западной цивилизации, самым видным из которых мне представлялась Франция, на деле оказавшаяся пока что совершенно неспособной выполнять ту роль, которая ей мною — вместе со многими другими — предназначалась.

Говоря об оптимизме и пессимизме, я имею в виду не различные эмоциональные реакции на происходящее и не обусловленные эмоционально, желанием или боязнью, предвидения и ожидания. Различие между оптимизмом и пессимизмом, как вопрос «темперамента», меня здесь не интересует, хотя неосознанные эмоциональные реакции, без сомнения, могут играть большую роль и в формировании определенного умонастроения, в данном случае оптимистического или пессимистического взгляда на ту историческую полосу, в которой мы

*) «Новый Журнал» № 2, 1942.

находимся. Другими словами, меня интересует не психический процесс а принимающий рационализированную форму результат этого процесса. Наиболее твердым является, вероятно, тот оптимизм, который основан на убежденности в том, что прогресс является основным законом исторического развития, прокладывающим себе дорогу, несмотря на все отклонения и противодействия, и в особенности на убежденности не только в высокой ценности, но и непреодолимой прочности западной цивилизации. И это не только «в конечном счете», то есть, может быть, через столетия, а и на непосредственно обозримом отрезке истории. И обратно, наиболее глубоким является пессимизм тех, кто не видят оснований быть убежденными в торжестве того, что им представляется наиболее ценным, и которые в нашем конкретном случае считают возможным длительный или даже окончательный упадок высоко ценимой ими западной цивилизации, усматривая в непосредственно обозримом отрезке истории и угрожающие признаки такого упадка и глубокие для него основания.

Я думаю, что за последнее десятилетие это различие в умонастроении лежало в основе различного отношения к гитлеризму, проявлявшегося среди его самых непримиримых, можно сказать, абсолютных противников (поклонники гитлеризма или сторонники компромисса с ним в этой связи в счет не идут). Различие это не было достаточно замечено и, вероятно, не было вполне осознано самими представителями различных подходов. А между тем оно было очень существенно и имело большое значение для общей политической ориентации. Вопрос в сущности сводился к тому, в какой мере гитлеризм был по отношению к сфере западной цивилизации совершенно инородным телом, образовавшимся вне этой сферы и соответственно угрожавшим ей исключительно или главным образом и з в н е, или же он был проявлением и внутреннего недуга, и з н у т р и подтачивавшего самые основы цивилизации и лишь принявшего в исключительных германских условиях особенно жестокие и уродливые формы. Для первого, оптимистического, понимания — или ощущения — основная проблема решалась почти что сама собой военным разгромом гитлеризма и его союзников — операцией, устраняющей чужеродное тело и тем возвращающей организм к здоровому существованию. Для пессимизма в его крайнем выражении гитлеризм вместе с рядом других явлений, и в особенности с коммунизмом и волной варварства, идущей из Советской России, представлял выражение болезни смертельной, знаменующей начало конца западной цивилизации. Та-

кой пессимизм, представляющий собой полную безнадежность, в сущности исключает всякое действие и оставляет только перспективу печального «доживания». Но он не является тем рациональным пессимизмом, о котором мы говорим, так как он основан на перспективе будущего развития, лежащей далеко за пределами возможного предвидения, о чем мы еще будем говорить. Пессимизм рациональный не может итти так далеко, и поэтому он не исключает борьбу за цивилизацию, а наоборот обязывает к ней или, по крайней мере, может ее стимулировать. Его позиция сейчас сводится прежде всего к тому, что разгром гитлеризма еще не гарантирует оздоровления сферы западной цивилизации, и после «операции» оставшейся организмом, пораженным тяжелой болезнью. Картина Европы после победы является прежде всего «картиной болезни», и реакция против гитлеризма в н е ш н е г о не представляет еще собой выздоровления. Но разгром гитлеризма был во всяком случае совершенно обязательной предпосылкой для того, чтобы сама проблема спасения европейской цивилизации могла быть поставлена. Для решения же этой проблемы необходима реакция в н у т р е н н я я, найти силы для которой является для нашей цивилизации вопросом «быть или не быть».

2. На террасе Эльсинора

«На огромной террасе Эльсинора, простирающейся от Базеля до Кельна, доходящей до песков Ньюпорта, болот Соммы, меловых пластов Шампани, гранитов Эльзаса — европейский Гамлет видит миллионы призраков». Так писал в начале 1919 г., то есть непосредственно по окончании предыдущей войны, Поль Валери в той замечательной статье о «Кризисе духа», которую он начал с утверждения о смертности нашей цивилизации («Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles»). Валери, скончавшийся в июле 1945-го года, не успел сказать свое слово о размышлениях европейского Гамлета на еще более обширной террасе Эльсинора после окончания последней войны. Но еще в январе 1941-го года, в своей речи, посвященной памяти Бергсона, он говорил о цивилизации нашей эпохи, которая, «видимо, со дня на день, сводится к воспоминаниям и следам того, что мы получили от ее многообразного богатства». Он кончил тем, что имя Бергсона является «последним великим именем истории европейского интеллек-

та». Тогда он был, без сомнения неправ, уже потому, что, когда ушел Бергсон, оставался Валери. А теперь? Это один из вопросов, которые мучат теперь европейского Гамлета.

Валери был гениальным представителем того умонастроения, которое я условно назвал «рациональным пессимизмом». К своим пессимистическим выводам о судьбе Европы он пришел очень давно — примерно к концу прошлого столетия. Так как я не пишу статьи о Валери, то мне достаточно схематически воспроизвести ход мыслей, приблизительно отвечающий ходу мыслей Валери, отвлекаясь от неисчерпаемого богатства его идей и наблюдений*). В течении столетий Европа занимала доминирующее положение благодаря «искусственному неравенству сил», созданному европейской цивилизацией с ее прогрессом науки, техники, экономической мощи. Европейский континент превосходил другие не богатством материальных рессурсов, а уменьем их использовать. Но европейские страны сами же распространили это уменье за пределами Европы, гонясь за обогащением и в то же время подрывая монопольную основу своего могущества и богатства. Постоянное распространение европейской — уже ставшей европейско-американской — техники по всему миру означает в то же время тенденцию к распределению удельного веса отдельных областей соответственно их материальным рессурсам: — численности населения, богатству сырыми материалами, источниками энергии и т. д. Европа сама обрекла себя на то, чтобы потерять свое исключительное положение и стать тем, чем она является географически, — сравнительно небольшим полуостровом гигантского европо-азиатского материка. И она же сама своей политикой ускоряла и обостряла этот процесс. Вместо того, чтобы консолидировать себя, развивая и укрепляя европейскую солидарность — существовавшую в области научной и в других областях интеллектуального творчества — европейские государства вели своего рода «провинциальную» политику, стремясь ослабить друг друга, подрывая престиж Европы вне ее стремлением одних стран вытеснить другие и пропагандой каждой европейской страны против всех других. Вспоминая на этот раз не Валери, а маршала Лиотэ, можно сказать, что войны между европейскими странами были в известном смысле гражданскими вой-

*) Но как не вспомнить такого замечания, сделанного задолго до последней войны и даже задолго до прихода Гитлера к власти: «Европа, видимо, стремится к тому, чтобы ей управляла американская комиссия. Вся ее политика направлена к этому».

нами, как до начала первой мировой войны Лиотэ говорил о перспективе войны между Францией и Германией. И эта первая мировая война, согласно, Валери, стремительно ускорила процесс упадка Европы*).

Вряд ли можно сомневаться в том, что универсализация, распространение по всему миру достижений европейской цивилизации неизбежно должно вести к уменьшению о т н о с и т е л ь н о г о значения колыбели этой цивилизации. Далеко не так очевидно, что с этим должен быть связан и а б с о л ю т н ы й упадок самой цивилизации. Так как мы не можем здесь разбираться во всем богатстве мыслей, высказанных Валери в этой связи, то оставим в этом пункте его аргументацию и, независимо от нее, подойдем к теперешнему раздумью европейских Гамлетов. Не чувствуют ли они себя беспомощными и беззащитными, потому что их единственной силе — силе интеллекта — противустоит созданная их цивилизацией техника, оказавшаяся в руках варваров, и не только варваров, лишь поверхностно затронутых европейской цивилизацией, но и варваров, выросших в самой европейской среде? Ведь эта изумительная европейская — или европейско-американская — техника может быть техникой не только созидания, но и разрушения, не только освобождения, но и порабощения. Лишь в немногих странах — во Франции, в Англии, в небольших западно-европейских государствах — процесс освоения новой техники сопровождался более или менее паралельным прогрессом моральной цивилизации, то есть постепенным и за последний период все же более медленным, чем техническое развитие, освоением также определенной системы норм поведения, задерживающих и сдерживающих механизмов, которые не позволяли отдельным группам общества «развертываться» (или распоясываться!) так, как на то представлялись технические возможности. В других странах отставание этого процесса от технического развития было еще более значительным и еще гораздо резче разрыв был там, где техника воспринималась извне и стояла поэтому в гораздо более отдаленном отношении к их собственному цивилизационному процессу, и где, соответственно, общественный порядок поддерживался в большей степени внешним принуждением и в меньшей внутренними сдержками. Установление тоталитарных диктатур с их невероятной же-

*) "Le résultat immediat de la grande guerre fut ce qu'il devait être: il n'a fait qu'accuser et précipiter le mouvement de décadence de l'Europe". Regards sur le monde actuel, p. 45.

стокостью можно рассматривать, как результат того, что лишь внешне цивилизованным, а по существу варварским элементам удалось овладеть властью и вместе с ней техническими средствами господства. Но, если уже по отношению к России, где впервые установилась тоталитарная диктатура, это толкование необходимо было бы осложнить некоторыми оговорками, то еще менее просто приложить его к объяснению установления диктатуры — хотя менее тоталитарной и менее жестокой — в Италии, в особенности же к объяснению тоталитарной и непревосходимо жестокой диктатуры в Германии. Это не значит, что данное толкование неправильно, но оно, очевидно недостаточно. А вдумываясь в то, что мы уже теперь знаем о различных, находившихся под германской оккупацией, странах и главное в то, какой степени деморализации достигла за это время высоко и глубоко цивилизованная Франция, мы не можем не прийти к выводу, что уже до начала войны вся система нашей цивилизации в значительной мере утратила свою внутреннюю силу.

Спустившись с террасы Эльсинора в датскую равнину, Гамлет встретил там однажды идущего в поход Фортинбраса и почувствовал себя посрамленным после этой встречи с человеком воли и действия. Что же делают теперь современные европейские Фортинбрасы? О, конечно, они не рискуют целыми армиями ради маленького бесплодного клочка земли («a little patch of ground that hath in it no profit but the name. To pay five ducats. five. I would not farm it») и только потому, что с ним связана защита какой-либо высшей моральной ценности («greatly to find quarrel in a straw when honor's at the stake»). Они не менее готовы рисковать массами человеческих жизней ради достижения целей, которые им представляются идеальными, но они гонятся в то же время за другой, куда более реальной, добычей — за завоеваниями, созданием сфер господства, когда они возглавляют государства, а внутри своей страны за жирными кусками власти и привилегий. Конечно, все это не ново. Новой является лишь б е з м е р н о с т ь в самом точном смысле слова — отсутствие всякой меры в пренебрежении человеческой жизнью, в пользовании любыми средствами, в пренебрежении всеми моральными нормами. И ведь тот Фортинбрас, человек воли и действия, так высоко чтил Гамлета, что приказал отдать ему, как воину, воинские почести. А что делают теперешние Фортинбрасы с людьми мысли и совести? В лучшем случае они отталкивают их своими локтями на задний план,

предоставляя европейским Гамлетам беседовать с призраками великого прошлого на необозримой террасе Эльсинора.

15 лет тому назад, наблюдая в Германии вздымающиеся волны коммунизма и фашизма, я не мог отделаться от впечатления, что люди могут устават ь от цивилиза ц и и. И сейчас я еще больше убежден, что это представление об усталости от цивилизации соответствует какой-то очень значительной реальности. Признаюсь, однако, что для меня это все еще вопрос, на который нет окончательного ответа. Можно сравнительно легко себе представить такую усталость там, где соблюдение цивилизованных ф о р м общежития еще не приняло характера внутренней потребности и поддерживалось главным образом постоянным принуждением — посредством или прямых предписаний, подкрепляемых санкциями (такое-то наказание за хулиганство) или, так называемыми, «правилами приличия». В этой обстановке склонность при первом удобном случае «распоясаться» может быть постоянным явлением. Но много сложнее дело обстоит там, где быть «застегнутым» стало, казалось бы, глубоко укоренившейся внутренней нормой поведения, как это было в Германии, а в особенности во Франции, откуда сообщают о широко распространенном упадка элементарной честности и порядочности (об этом говорил и писал Леон Блюм — большой человек мысли и совести), об ослаблении чувства ответственности, о недостатке бережного отношения к человеческой жизни, об отсутствии уважения к знанию и опыту. Правда, многое надо отнести за счет тех жутких условий, в которых жило и действовало «сопротивление». Но это не объясняет деморализации в широких кругах, в этих условиях не живших. Каждой форме деморализации можно найти объяснение, вскрыв ее непосредственную причину. Но требуется найти объяснение, почему действие этой причины оказалось таким неприглядным, а, главное, живучим. Указывают на то, что обман стал привычным делом, потому что обманывать немцев во время оккупации было допустимо и патриотично. Но почему же эта «привычка» так скоро и так прочно укоренилась, что после освобождения от немцев развернулась какая-то оргия ранее немыслимого жульничества и коррупции? Нет, что-то было гнило раньше.

Во всяком случае ясно, что та система внутренних сдержек, которая выработалась в результате цивилизационного процесса, оказалась расшатанной. И это, вероятнее всего, объясняется тем, что в течении какого-то, но во всяком случае десятилетиями длившегося, периода (отправной пункт

можно определять по разному) происходило опустошение с о д е р ж а н и я нашей цивилизации, «соль» которой теряла поэтому свою силу. Нормы поведения, которые были естественной психологической функцией, когда они отражали систему признанных ценностей, становились чем-то лишним и мешающим, по мере того, как ценности цивилизации теряли свою власть над людьми или когда ценности религиозные и моральные заменялись культом начал, по существу аморальных («раса», «власть», государство, как высший и абсолютный принцип). Во имя чего должен я быть честным, добросовестным и гуманным, если и моим личным интересам и интересам моей «расы» или моего «государства» лучше служат бесчестные, бессовестные и жестокие средства? Такая постановка вопроса далеко не всегда была осознана, но она определяла, хотя бы и подсознательно, поведение значительного и, вероятно, все увеличивавшегося числа людей. Уже первая великая война добавила могучий толчок к развитию практического аморализма и, — что, может быть, важнее всего — способствовала понижению оценки человеческой жизни. Последствия второй великой войны не могли не быть еще более ужасающими и опустошающими. Гамлетовский вопрос нашей цивилизации сводится к тому, может ли она после этого найти в себе силы для активной самозащиты.

3. Моральная коалиция

Позиция рационального пессимизма, представляющаяся наиболее отвечающей действительности, не приводит к безнадежности и не только не исключает политической активности, но повелительно ее требует. Если мы должны примириться с тем, что относительное значение Европы в мировой перспективе должно уменьшиться, то из этого еще не вытекает неизбежность полного упадка европейской цивилизации. Если то развитие, которое обрисовал Поль Валери, таило в себе опасность катастрофы и, действительно, к катастрофе привело, то это в значительной мере было обусловлено политикой — внутренней и внешней — европейских государств, сопровождавшей ставший уже неотвратимым процесс перераспределения сил в мировом масштабе. Стало быть, можно предполагать, что д р у г а я политика и в прошлом могла бы изменить результаты и в будущем сможет лишить развитие его катастрофического характера. Предвидеть последнее нельзя уже потому, что нельзя еще предвидеть и того, какой же будет европейская политика. А это значит, что нельзя

предвидеть ни благополучного исхода, ни трагического конца. Следовательно, надо выяснять возможности, улавливать шансы и искать точки приложения сил для воздействия на историческое развитие.

После всего, что уже произошло и еще происходит, надо считаться с существенным понижением уровня европейской цивилизации. Но опять-таки нельзя предвидеть, будет ли оно окончательным или временным и, если временным, то на какой период времени. Отсюда вытекают задачи для действия: постараться насколько возможно сократить период понижения уровня цивилизации, ограничить глубину понижения, а, стало быть, прежде всего собрать и активировать все возможные противодействующие силы. Это в свою очередь приводит к необходимости самым радикальным образом пересмотреть прежние политические методы и прежние системы политических группировок. Никакими «левыми» или «правыми» блоками, «народными» или «национальными» фронтами, ни менее всего хитроумными предвыборными комбинациями, обеспечивающими той или иной партии несколько лишних мандатов, концентрации сил для защиты цивилизации достичь нельзя. Для этого необходимо возможно более широкое объединение на почве признания самых принципов нашей цивилизации, ее основных ценностей и той системы норм, которая определяет форму цивилизованной жизни. Это и есть то, что я называю «моральной коалицией» и что я старался проповедывать в течении нескольких лет. Я знаю, что для этого нужен очень трудный компромисс, основанный на признании допустимости различных коренных предпосылок — религиозного убеждения и не связанного с религиозной верой этического идеализма. Но опыт уже доказал возможность плодотворного сотрудничества и при существовании этих различных предпосылок. Примеры такого сотрудничества мы видели в движениях сопротивления против завоевателя или против собственных диктатур. На основе совместной защиты цивилизации против варварства такое сотрудничество возможно. Пусть в будущем даже неизбежна борьба между различными течениями. Об этом надо забыть, пока дело идет о спасении начал цивилизации, которые этим различным течениям дороги. А первое програмное требование такой моральной коалиции можно было бы скромно — и, конечно, шутливо — охарактеризовать щедринскими словами, что «всякому безобразию есть свое приличие». Шутка шуткой, а сколько было бы уже достигнуто, если бы удалось добиться восстановления принципа м е р ы, нормального, то есть обязательного для цивилизован-

ного образа жизни. От безмертности наша цивилизация не просто спускается к своей гибели, а гниет на корню.

Конечно, из согласия относительно нескольких основных принципов конкретная политическая программа еще не вытекает. Но это согласие дает общий подход к вопросам дня и определяет политическую ориентацию, то есть дает направление. Одной программы моральной коалиции вообще быть не может. Если такие коалиции осуществятся в различных странах, то для каждой страны должна будет быть выработана особая программа. Некоторые директивы будут однако, вероятно, общими. По крайней мере всюду там, где еще необходимо восстанавливать самые элементарные основы жизни. Сейчас в этой области — например, во Франции — наблюдаются такие парадоксальные явления, что иногда просто думается, что люди окончательно потеряли чувство смешного. Сейчас чрезвычайно модно говорить о «реформах структуры», и во многих случаях необходимость таких реформ нельзя отрицать и с принятой здесь точки зрения. Но фантастически нелепо проводить такие реформы до — или без — осуществления известных, так сказать, государственно-санитарных мероприятий. Прежде всего надо вычистить то здание, которое собираются перестраивать. Это не обязательно для постройки зданий физических, но обязательно, когда имеешь дело с общественной структурой. Иначе получается следующее. Из той же Франции до нас доходят жалобы на коррупцию, распространенную в администрации. Казалось бы очевидным, что это область, в которой требуется немедленное государственно-санитарное воздействие. Между тем там прежде всего взялись за национализацию и социализацию, что сводится к передаче важных отраслей хозяйства никуда негодной администрации, к укреплению ее положения и к созданию новых возможностей и соблазнов коррупции. Но допустим даже, что этих последствий удастся избегнуть, приняв хотя бы и с опозданием нужные предохранительные меры. Остается общий вопрос, правильно ли заниматься структурными реформами, пока не обеспечено удовлетворение элементарных потребностей населения. Если реформы плохи, то они только ухудшат положение, если они хороши, то они будут скомпрометированы проведением их в наиболее неблагоприятных условиях. Ведь, квартиры топят и освещают не национализацией, а углем и электричеством. И, если после проведения национализаций, население Парижа будет мерзнуть и электричества будет хватать только на очень недостаточное число часов, то вряд ли удастся задним числом доказать, что

без национализаций было бы еще хуже. Когда мозги сколько-нибудь придут в порядок, то население придет к тому совершенно правильному выводу, что его правители занимались не делом, а демагогией или погоней за призраками.

Задержка в восстановлении элементарных условий жизни не только задерживает процесс морального оздоровления, но усиливает деморализацию, ее и углубляет и расширяет. То, что в той же Франции, черный рынок со всем его обманом и питаемой им коррупцией продолжает процветать больше, чем через год после освобождения страны, является по-истине историческим скандалом, потому что во Франции имелось достаточно рессурсов для того, чтобы при продуманной политике, проводимой честной и компетентной администрацией, могло быть налажено снабжение городов и черный рынок был ликвидирован. Основной реформой должна быть реформа моральная, а ее осуществление возможно лишь на основе урегулирования наиболее элементарных условий существования, так как нельзя ожидать восстановления моральных сдержек у людей, жуткой нуждой доведенных до отчаяния. В тех же исключительно трудных условиях, в которых это урегулирование должно теперь проводиться в большей части Европы, необходимость прежде всего заботиться о честной и компетентной администрации должна бы была быть очевидной. Но, к сожалению, и самые очевидные вещи становятся политической проблемой, если они сплетаются с интересами политических групп, в особенности же тех, которые добираются до политической власти в момент распада государственных и общественных связей.

Первоочередной задачей является также повсюду восстановление — или установление — правового порядка со всеми личными и политическими свободами, без которых не возможны ни свободное проявление сил, способных содействовать общественному оздоровлению, ни действенная борьба против злоупотреблений и в частности против фальсификации общественного мнения. И в этом отношении создание честной и компетентной администрации является вопросом первостепенной важности — именно потому, что надо восстанавливать или вновь устанавливать правовые гарантии и функционирование свобод, а не просто продолжать функционирование норм, прочно укоренившихся и не расшатанных. Если вдуматься в то, какой огромной задачей это является в теперешних европейских условиях, то становится ясно, какой труд и какая энергия должны быть приложены только к тому, чтобы создать наиболее необходимые предпосылки каких-либо глу-

боких реформ. Конкретные программы реформ будут, повторяю, различными в разных странах. Но всюду критерием для выбора должно быть устремление к реформе моральной и — добавлю здесь — интеллектуальной, воспроизводя таким образом классическую формулу Ренана. А это значит, что идею каждой реформы надо прежде всего рассматривать с той точки зрения, способна ли предлагаемая реформа содействовать восстановлению норм цивилизованной жизни, утверждению духовных ценностей нашей цивилизации и созданию условий, стимулирующих искание целей, оживляющих цивилизацию и заполняющих ее осмысленным содержанием.

Но наша идея моральной коалиции предполагает не только группировки в отдельных странах. Моральная коалиция должна быть европейской и в сущности даже европейско-американской. Сколько бы мы об этом ни жалели, противопоставление Запада и Востока продолжает существовать в высшей степени реально. Самой действительной обороной для западной цивилизации было бы ее глубокое проникновение на восток, что главным образом означало бы победу «западничества» в России. Но нам все еще приходится исходить из того печального факта, что средств для такого проникновения пока не имеется. Дело прежде всего в том, что, если удастся осуществить моральные коалиции в отдельных странах, то внешняя политика каждой из них должна руководиться стремлением к установлению европейской солидарности и к расширению круга этой солидарности, то есть к продвижению на восток, хотя бы в форме поддержки родственных стремлений в странах, находящихся в зоне русской оккупации. Насколько последнее может удасться, предвидеть очень трудно. Если предприятие не представляется совершенно безнадежным, то потому, что в некоторых странах (Венгрии, Австрии) все же оказался возможным по крайней мере отпор собственным коммунистам. Но опять таки программы действия и в области внешнеполитической могут быть конкретно сформулированы лишь для каждой отдельной страны. Здесь же была сделана попытка наметить лишь основные принципы и приблизительную сферу действия моральной коалиции, как группировки сил, которую необходимо создать для защиты цивилизации.

Ю. Денике

РУССИФИКАЦИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА

В судьбе некоторых из русских идеологий наблюдается характерная черта — постепенная национализация их универсализма, руссиикация их первоначального вселенчества. Мы здесь остановимся лишь на одной из этих идеологий — новейшей по времени.

Большевизм был самым подлинным сознательным интернационализмом, с самого начала провозгласившим беспощадную борьбу всякому национализму и поднявшим знамя объединения «пролетариев всех стран» на основах и началах международного братства и товарищества. Его создатели самым решительным образом отбрасывали всякие национальные мотивы и идеи как пережитки и предрассудки буржуазной эпохи, с которыми должна вестись самая беспощадная война.

Большевизм с самого начала взял чрезвычайно высокую интернациональную ноту, заглушающую какие бы то ни было мотивы патриотического или вообще национального характера и только впоследствии, когда он утвердился у власти, а от раздувания мирового пожара получался лишь дым без огня, большевизм выдвинул вопрос о защите социалистического отечества.

Даже уже тогда, когда большевики овладели властью и Россия стала «социалистическим отечеством», Ленин еще не переходил на национальную точку зрения. Для него незыблемым оставалось убеждение ubi communism ibi patria. Веру же в то, что коммунизм может восторжествовать и утвердиться в одной стране, да еще такой отсталой как Россия, он всегда считал фантазией и невежеством. Он с вожделением смотрел на Германию, считая, что если в ней произойдет большевистская революция — а в это он долгое время страстно и крепко верил — то она внесет в нее весь свой большой организационный талант, всю мощь своей промышленности, всю классовую вышколенность многочисленного рабочего класса и, в неменьшей степени, все навыки и успехи государственного социализма. Он готов был, в период когда верил в скорое пришествие большевистской революции в Германии, пожертвовать для этого не только Россией, но даже советскою властью. Вспоминая Брест-Литовский мир Ленин писал: «В эпоху брестского мира советская власть поставила

всемирную диктатуру пролетариата и всемирную революцию выше всяких национальных жертв, как бы тяжелы они не были».

В эпоху Временного Правительства, когда немецкие войска глубоко продвигаясь в России угрожали Петербургу, Ленин писал: «Ни взятие Риги, ни взятие Питера не сделают нас оборонцами». Ему вторил Л. Троцкий, писавший тогда же: «Падение Риги жестокий удар. Падение Петербурга было бы несчастьем, но падение интернациональной политики русского пролетариата было бы гибелью».

Для Ленина высшим критерием был вопрос о торжестве коммунизма, а в какой стране оно произойдет это вопрос второстепенный.

Он прямо заявлял: «Мы не стоим за государство, мы защищаем не великодержавность: от России не осталось ничего кроме Великороссии — ни национальные интересы, мы утверждаем, что интересы социализма, интересы мирового социализма выше интересов национальных, выше интересов государства» (Ленин Собр. соч. т. XXIII стр. 14).

Насколько чужда была Ленину национальная, патриотическая точка зрения даже по отношению к странам, в которые вторгся неприятель, показывают такие его слова: «Если немец при Вильгельме или француз при Клемансо говорит: я в праве и обязан, как социалист, защищать родину, если неприятель вторгся в мою страну, то это рассуждение не социалиста, не интернационалиста, не революционера, а мещанина-националиста» (Ib. 380).

Как непонятна и чужда была идея родины, идея патриотизма, показывает любопытный «Дневник», который вела во время войны 1914 г. верная последовательница Ленина — А. Коллонтай. Ее война застала в Берлине и весь ее «Дневник» выражает полную растерянность и удивление по поводу патриотических чувств, проявившихся у всех немецких и у отдельных русских социалистов. Некоторые из ее русских товарищей выражали недружелюбные чувства к Германии, «о России же — пишет она — говорят как о чем то «своем». Чуть ли не желают победы русским войскам. Что это? Неужели же и русские товарищи станут патриотами?» (А. Коллонтай. Отрывки из Дневника 1914 г. Лен. 1925 ст. 33). Когда лево настроенная немецкая социал-демократка говорила: «Только теперь в годину бедствий я поняла, как люблю свою родину», Коллонтай только нашла в ответ слова: — «Слушаю и ушам своим не верю. Шутит ли она?» Сама же Коллонтай, вслед за Лениным, твердо стояла на интернационалистиче-

ской точке зрения и непоколебимо желала, чтобы Германия разбила Россию.

Карл Либкнехт над нею подтрунивал. — «Если вы настоящая интернационалистка — говорил он ей — то нельзя желать поражения одной России, вы должны желать и поражения Германии».

И Коллонтай опять растерянно записывает в «Дневник»: — «Так надо желать поражения обеих? Но как это сделать?» (ст. 57). «Сделать» это было и впрямь мудрено. Воюют две страны. С интернациональной точки зрения надо желать обеим поражения. Но как это «сделать?»

А. Коллонтай так этот вопрос и не разрешила, но осталась верна своей точке зрения и продолжала горячо желать поражения России, негодуя против русских социалистов, патриотическое чувство которых было в тревоге.

Ленин нашел выход из этого буриданова положения.

Он считал, что наименьшим злом будет победа Германии над Россией и немецкие социалисты очень радостно с ним соглашались.

«Чтобы борьба шла — писал Ленин о войне 1914-го года — по точной и ясной линии, нужен обобщающий лозунг. Этот лозунг для нас русских, с точки зрения интересов трудящихся масс и рабочего класса России, не может подлежать ни малейшему, абсолютно никакому сомнению, что наименьшим злом было бы теперь поражение царизма в данной войне. Ибо царизм во сто крат хуже кайзеризма» (Ленинский Сборн. т. 2-ой, стр. 195). Таков был патриотизм Ленина во время войны 1914-го года. Брест-Литовский мир показал, что сделал бы «кайзеризм» с Россией, причем в случае победы он бы, конечно, меньше всего думал об уничтожении в России «царизма». Получилась бы изуродованная брест-литовская Россия с немецким вассалом, русским царем во главе.

Победа союзных демократических стран над Германией и «кайзеризмом», а русской революции над «царизмом» перепутала все карты и расчеты Ленина. Социалистическая революция восторжествовала только в одной стране и притом самой отсталой в капиталистическом отношении с преобладающей массой «мелко-буржуазного» крестьянства. Это совершенно не соответствовало выработанному марксизмом маршруту истории.

Ленин был глубоко убежден, что только исключительная и преходящая комбинация условий сделала возможным временное торжество большевизма в России и что если не произойдет большевистской революции в другой европейской

стране, то русский большевизм будет неминуемо беспощадно раздавлен соединенными силами русского крестьянства и «империалистических хищников» Европы.

Защищая на VII-м съезде в марте 1918 подписание Брест-Литовского мира, Ленин говорил: «Абсолютная истина, что без немецкой революции мы погибнем. Погибнем может быть не в Питере, не в Москве, а во Владивостоке или других далеких местах, куда нам прийдется отступать, но в о в с я к о м с л у ч а е, п р и в с е в о з м о ж н ы х м ы с л и м ы х п е р и п е т и я х, е с л и н е м е ц к а я р е в о л ю ц и я н е н а с т у п и т, м ы п о г и б н е м».

В другом месте он повторяет позже эту идею: «Нам было ясно, что без поддержки международной мировой революции победа пролетарской революции (в России) невозможна. Еще до революции, а также после нее мы думали: и л и с е й ч а с ж е и л и, п о к р а й н е й м е р е, о ч е н ь б ы с т р о н а с т у п и т р е в о л ю ц и я в о с т а л ь н ы х с т р а н а х, к а п и т а л и с т и ч е с к и б о л е е р а з в и т ы х, и л и м ы п о г и б н е м».

Такая «установка» только укрепляла Ленинский интернационализм. Он напряженно и страстно ждал революции в Европе и прежде всего в Германии. На Россию смотрел как на нечаянно доставшееся временное и даже кратковременное социалистическое пристанище, как на временную военную базу, которую надо удержать в руках, пока не подоспеет и не выручит германская, а с нею и мировая революция.

Он несколько раз выражал полную готовность пожертвовать не только Россией, но даже советскою властью, если только этою ценою может быть куплена революція в Германии. Но «империалистические хищники», вопреки предсказаниям Ленина, не шли крестовым походом на Россию и лишь вяло, гомеопатическими дозами поддерживали белое движение.

С другой-же стороны не приходила жданная мировая революция. Советской России не угрожал крестовый поход империалистических акул и вместе с тем потухала и надежда на мировой пожар. Приходилось перестраиваться. Устраиваться в серьез и надолго в самой России, ценя ее уже не как переходный этап к близкой международной революции, а как постоянное местожительство. Надо было переходить от грандиозного размаха в интернациональном масштабе к более скромному строительству «социализма в одной стране».

Ленин умер когда этот процесс национализации советского интернационализма едва начал обозначаться. Л. Троцкий так до конца жизни остался верен интернационализму и только И. Сталин круто поворачивает от разжигания мирового пожара, к строительству социализма в одной стране и сопряженной с этим национализации интернационализма.

Сталинский «уклон» вызывает среди старых «классических» большевиков резкую и насмешливую оппозицию. Когда на одном из собраний, где этот вопрос обсуждался, сторонник Сталина заявил, что партия должна быть верна «Ленинской» идеи построения социализма в одной стране, слово взял К. Радек и заявил: «Вы плохо читали Ленина; если бы Владимир Ильич был жив, он бы сказал, что это — Щедринская идея. У Щедрина в «Помпадурах» есть помпадур единственный, который либерализм строит в одном уезде».

Негодовали Зиновьев и пуще всех Л. Троцкий, с самого начала объявивший курс Сталина на построение социализма в одной стране кричащей изменой интернационализму и попыткою подмены его национализмом.

«Русская Советская Республика — писал Л. Троцкий — есть для нас только точка отправления для европейской и мировой революции. Интересы последней являются для нас во всяком крупном вопросе решающими».

Когда Сталин заявил, что отрицание теории национального социализма «ведет к резвенчанию нашей страны», то Троцкий с негодованием писал: «Одна эта невыносимая для марксистского уха фразеология выдает всю глубину разрыва большевистской традиции». Она «бьет по лицу традицию большевизма».

Если у Ленина — говорил далее Троцкий — «в русской программе речь шла о международной революции, то у эпигонов в международной программе речь идет о «русском» социализме».

«Только придавив Ленина мавзолеем, эпигоны получили возможность национализировать его воззрения» (Л. Троцкий. История революции т. II ч. II. Берл. 1933 стр. 451, 459, 461).

В свою очередь Зиновьев на XIV партийном съезде, в ответ на слова сталинца Яковлева о социализме в одной стране, возмущенно отвечал: «Разве это Ленинская постановка вопроса, разве здесь не отдает душком национальной ограниченности?»

Сталин решительно протестовал против этих слов. «Не

вернее ли будет сказать—говорил он—что не партия, а тов. Зиновьев грешит здесь против интернационализма и международной революции? Ибо что такое наша страна строющегося социализма, как не база мировой революции? Но может ли она быть настоящею базою мировой революции, если она не способна построить социалистическое общество? Кто проповедует неверие в наши успехи по строительству социализма, тот ослабляет размах международного революционного движения, тот неизбежно отходит от интернационализма» (И. Сталин. Вопросы ленинизма. Москва 1922, стр. 56).

Тут можно очень ясно проследить, как Сталин с боем, не покидая знамени интернационализма, отходит, однако, от инцернациональной к национальной позиции. Для него Россия все еще «настоящая база мировой революции», но она же и единственная страна правоверного коммунизма, его Мекка, куда на поклонение должны съезжаться и, как он с гордостью подчеркивает, действительно съезжаются, коммунисты всех стран за благословением, деньгами, отпущением грехов, а равно и наказанием.

Л. Троцкий пишет: «Разрыв с интернациональной позицией всегда и неизбежно ведет (у Сталина) к национальному мессианизму, т. е. к признанию за собственною страною особых преимуществ и качеств, позволяющих ей будто бы выполнить ту роль, до которой не могут подняться другие страны» (Л. Троцкий. История революции, т. 2, ч. I, стр. 168, 169).

Л. Троцкий обличает Сталина за ограниченный национализм, за национальное самодовольство и измену интернационализму, почти теми же словами какими Вл. Соловьев обличал за то же самое славянофилов, за их измену вселенской идее и национальную гордыню.

Отвечая непреклонным сторонникам безоговорочного интернационализма с Троцким во главе, Сталин не без последовательности и даже не без известной политической честности говорил им на VII-м пленуме Исполкома Коммунистической Партии, что если большевики взяли на себя власть и удерживают ее, то они взяли на себя перед историей и пролетариями всех стран обязательство создать, вместо буржуазного строя, коммунистический, на путях мировой революции. Но улита мировой революции едет, когда то будет и будет ли, и если у большевиков нет иной веры, кроме мировой революции, то они должны сложить с себя власть и перейти в оппозицию, сознав, что они взялись за исторический гуж, для которого оказались не дюжи. Спасти может только вера в воз-

можность построить социализм, а за ним и коммунизм, не в мировом масштабе и поэтому без мировой революции, а лишь в одной стране, в России.

Сначала у Сталина это сопрягалось с убеждением, что при этом Россия будет «базой мировой революции» и будет обслуживать и раздувать последнюю. Но затем роль этой обслуживающей базы исчезает и Россия приобретает самодовлеющее значение, превращаясь постепенно из служебной базы в господина, гегемона революции, вокруг которого должны объединиться коммунисты всех стран, став его верноподданными и служа ему верою и правдою. Россия при этом объявлялась отечеством коммунистов всех стран, от которых сурово требовалось исполнение долга верноподданных по отношению к своему коммунистическому отечеству, т. е. России. Этим создавалось как бы двойное подданство, на манер того двойного подданства, которое немецкие националисты и империалисты создали для немцев, живущих заграницею и имеющих иностранное подданство. За ними сохранялось и их немецкое подданство для того, чтобы они могли и за страх и за совесть продолжать служить верою и правдою своему немецкому отечеству и изменять своему второму иностранному отечеству, превращаясь в 5-ую колонну. «Революционер тот, говорил Сталин, кто без оговорок, безусловно, открыто и честно, без тайных военных совещаний, готов защищать, оборонять С. С. С. Р., ибо С. С. С. Р. есть первое в мире пролетарское революционное государство строющегося социализма. Интернационалист тот, кто безоговорочно, без колебаний, без условий готов защищать С. С. С. Р. потому, что С. С. С. Р. есть база мировой революции и защищать, двигать вперед мировую революцию невозможно не защищая С. С. С. Р. Ибо кто думает защищать мировую революцию помимо и против С. С. С. Р., тот идет против мировой революции, тот обязательно скатывается в лагерь врагов мировой революции. Тут надо выбирать, ибо нет и не может быть третьей позиции» (И. Сталин. Об оппозиции. М. 1928, стр. 675).

Эта же идея была выдвинута Н. Бухариным заграницей в его известных нашумевших тезисах.

В случае военного столкновения России с каким либо иностранным, т. е. «капиталистическим» государством, а коммунистических иностранных государств не существует, долг и совесть советского гражданина оставались ясны и тверды — он защищал свое государство. Но в этом же случае долг и совесть гражданина этого иностранного государства, если он принадлежал к коммунистической партии, колебались и двои-

лись. Как гражданин своей страны, он должен был ее защищать, как верноподданный московского коммунизма, он должен был сражаться против своей страны и за коммунистическое отечество. Это раздвоение коммунистической личности не отвлеченный гипотетический вопрос, — он принял самые трагические и реальные очертания в таких странах как Финляндия, Польша, Латвия, Эстония. Московская постановка вопроса требовала, чтобы коммунисты страны вступившей в конфликт или даже в войну с Россией, становились на сторону России и значит против своей родины.

Недаром Леон Блюм в своей замечательной книге «A l'echelle humaine» и в ряде статей, помещенных в «Populaire», ставит вопрос — если французская коммунистическая партия в силу своей так сказать партийной присяги своему коммунистическому отечеству, т. е. России, обязана повиноваться всем его постановлениям и в мирное и в военное время, то можно ли с нею считаться и с нею объединяться, как с национальною французскою партией?

П. Берлин

И. А. БУНИН

Не балует судьба долголетием русских писателей. Исполнившееся 75-летие И. А. Бунина — редкий праздник в русской литературе. И особенно радостен этот праздник потому, что 75-летие застало писателя творчески еще неоскудевшим. Среди последних рассказов-миниатюр Бунина есть вещи такого совершенного психологического рисунка и такой словесной отделки, что они кажутся хрупкими драгоценными статуэтками, их хочется заключить под стекло, иметь всегда поблизости, потому что они помогают думать над тем большим, волнующим и вечным, что составляет душу искусства.

В свете теперь достигнутого Буниным мастерства порой теряют его ранние вещи: некоторые из своих первых рассказов сегодняшний Бунин написал бы вероятно еще сдержаннее и сильнее. Читая последние его новеллы чувствуешь, сколько еще невоплощенного хранится в душе художника.

В силу разных и сложных причин творчество Бунина мало исследовано; по литературному «хозяйству» писателя приходится ходить почти без провожатых. И это, может быть, к лучшему. Ведь прав Ф. Степун: Бунина надо читать очень медленно, потому что человек в бунинском творчестве присутствует, «как природная глубина», с этим человеком хочется быть с глазу на глаз.

Большое место в творческом мире Бунина занимает сад. С ним связаны его первые, младенческие впечатления бытия. «В тумане моего прошлого есть один далекий день, который я вспоминаю особенно часто», — пишет Бунин в раннем своем рассказе «У истока дней»: — «Я вижу большую комнату в бревенчатом флигеле на хуторе средней России. Одно окно этой комнаты — на юг, на солнце, два других — на запад, в вишневый сад». Сад этот особенный: не строго разбитый английский парк и не французский, обнесенный плотной каменной оградой, а русский, забор в нем больше символ, местами он вовсе отсутствует, поля наступают на сад, сад словно плавает в великой глуши и тишине. К этому саду Бунин возвращается и позже в «Жизни Арсеньева». Зимой сад окружен «безграничным снежным морем, летом — морем хлебов, трав, цветов». «И вечная тишина этих полей, их загадочное и безответное молчание... Глубина летнего вечернего неба, за-

думчивая даль полей говорили мне о чем-то ином, как бы существующем помимо их, вызывали мечту и тоску о чем-то недостающем, трогали непонятной любовью и нежностью, неизвестно к кому и чему...»

Эти смутные чувства любви и нежности сперва естественно сосредоточились на родных. И к отцу, и к матери Бунин был привязан одинаково сильно. Это редко встречается в жизни людей и особенно редко — вспомним детство Пушкина, Лермонтова, Тургенева — в биографии писателей. В этом, неизнуренном конфликтом, чувстве к обоим родителям лежит может быть тайна бунинской гармоничности. Чувство привязанности к обоим родителям не омрачилось и позже, когда юный Бунин разглядел и большие недостатки своего отца, натуры незаурядной, вспыльчивой, но легкомысленной. Отец его умудрился промотать на своем веку несколько наследств, не только свое состояние, но и наследство своей жены. Сознание своей бедности доставило юному Бунину немало горьких минут. Когда однажды брат Алексея Арсеньева (двойника Бунина), заговорив с ним о будущем, намекнул, что придется ему поступить на службу, на почту, жениться и копить деньги, чтобы купить себе домик, Алексей «вдруг так живо почувствовал весь ужас и всю низость подобного будущего, что горько разрыдался». Часто думал молодой Арсеньев о молодости своего отца и сравнивал ее со своей. Отец Арсеньева имел все, а ему, «собираясь в гости, нужно было надевать тот самый серенький пиджачек брата Георгия, в котором некогда везли его в тюрьму в Харьков, и за который я в гостях мучился острым стыдом». Хотя Алексей и был лишен «чувства собственности», но как мечтал он порой о богатстве, «о прекрасной роскоши, о всяческой свободе и всех телесных и душевных радостях, сопряженных с ними». В юности своей, вспоминает Арсеньев, он был так беден, что не мог себе позволить осуществить «свою жалкую заветную мечту» — купить хорошую записную книжку: «это было тем более горько, что, казалось, от этой книжки зависит многое — вся бы жизнь пошла как-то иначе, более бодро и деятельно, потому что мало-ли что можно было написать в нее». Но, хотя Бунин рано понял, кто «довел семью до сумы», это нисколько не отразилось на его чувствах к отцу. И, хотя переживания, связанные с бедностью, занимали, как видно из «Жизни Арсеньева», большое место в душе молодого Бунина, он долго избегал разработки этой темы о стендалевском герое, вынужденном отвоевывать свое место под солнцем. Порой очень горькие думы Арсеньева смягчаются сознанием своей принадлежности к старинному роду, происхожде-

ние которого «теряется во мраке времени» и тем, что неожиданно тонко подметил в нем купец Балавин: «мечтаниями в даль простираетесь».

Среди более поздних рассказов Бунина есть, кажется, только один, где эта тема бедности образует сюжетный узел. Это — «Молодость». Герой этого рассказа — студент, даже не имеющий имени. «Студент был с большим, ровным носом, весь как бы деревянный, прямоугольный, высокий, носил длинный, широкоплечий сюртук темнозеленого сукна». Его можно было встретить в гостиных богатых домов, кое с кем из представителей золотой молодежи он был на «ты». Но его личной жизни никто не знал. Разведал о ней товарищ юности студента по пензенской гимназии, приехавший в Петербург и, «с настойчивостью провинциала», разыскавший его. Студент жил в большом доме во дворе, далеко от центра города, в маленькой, очень бедной комнате. Наряду с бедностью поражала в комнате щепетильная чистота: постель была застлана без единой морщинки, на столе — идеальный порядок, на распялке висел все тот-же широкоплечий сюртук из темнозеленого сукна. «И был студент дома вовсе не такой, как в свете, в гостиных: приветлив, но сух, серьезно-грустен. И все поглядывал куда-то в свое холодное окно. За окном-же, с семиэтажной высоты, было далеко видно: плоско белели бесконечные снежные пустыни, — нечто столь скучное, ненужное, что возможно только возле Петербурга». Читатель живо чувствует, что эта «Молодость» — только запев, заявка на сюжет, который еще ждет совсем иного воплощения.

Бедность не искалечила души юного Арсеньева, может быть, потому, что он видел ее всюду вокруг: «Все было бедно, убого и глухо кругом! Я ехал большой дорогой — и дивился ее заброшенности, пустынности. Ехал проселками, проезжал деревушки, усадьбы: какие избы, какие усадьбы и какая жалкая бессмысленная жизнь в них! Хоть шаром покати не только в полях, на грязных дорогах, но и на таких же грязных деревенских улицах и на пустых усадебных дворах. Даже непонятно, да где-же люди и чем убивают они свою осеннюю скуку, безделье, сидя по этим избам и усадьбам».

В свете окружающей обстановки семья Арсеньевых была не так уж бедна. К тому же семья была культурна и при всей растущей нужде, жизнь в ней «шла все тем-же поэтически-счастливым порядком, как и подобало это последнему и беспечнейшему потомку 'друзей поэзии, мечтания, натуры' — и поэтической книги». Страсть к книгам во впечатлительном и мечтательном отроке развилась очень рано. Этому способ-

ствовала не только мать, но и воспитатель Алексея Арсеньева, человек очень разносторонний, талантливый, но неудачник. В «Жизни Арсеньева» он воплощен в образе Баскакова.

Чем больше беднел быт Арсеньевых, тем дороже он становился юноше: «Порой — вспоминает он — я даже как-то странно радовался этой бедности... может быть потому, что и в этом находил некоторую близость с Пушкиным, дом которого, по описанию поэта Языкова, являл картину тоже далеко не богатую». Бедная юность Арсеньева-Бунина проходила в местах знаменитых писательских гнезд. Неподалеку от хутора Буниных расположено было бывшее родовое поместье отца Лермонтова — Кроптовка. Посещая уже никем необитаемый дом в Кроптовке, Арсеньев всегда с грустью думал: «Вот бедная колыбель его, наша общая с ним, вот его начальные дни, когда так же смутно, как и у меня, некогда томилась его младенческая душа 'желанием чудным полна', и первые его стихи, столь же, как и мои, беспомощные».

Не только Лермонтов, но и Пушкин, Баратынский, Тургенев, Толстой юным Арсеньевым воспринимались вовсе не как книги. Некоторые из них были «подлинной частью моей жизни». Когда мать Арсеньева «с грустной и ласковой улыбкой читала 'Вчера за чашей пуншевою с гусаром я сидел'», Алеша, встрепенувшись спрашивал: «С каким гусаром, мама? С покойным дяденькой?»

Ощущение своей бедности стало болезненным позже, при поступлении в гимназию, когда Алексей Арсеньев был помещен в семью Елецкого мещанина Ростовцева (в действительности его звали Бякиным). «Как ужасно было начало этой жизни! — вспоминает Арсеньев — Уж одно то, что это был мой первый городской вечер, первый после разлуки с отцом и матерью, первый в полном одиночестве, да еще в совершенно новой и убогой обстановке в двух тесных комнатках, в среде до нелепости чужой и чуждой мне, с людьми, которых я, барчук, считал, конечно, очень низкими и которые однако вдруг приобрели даже некоторую власть надо мною, — уже одно это было ужасно». На всю жизнь запомнил мальчик Арсеньев замечание Ростовцева за первым ужином, который показался ребенку ужасно невкусным: «Надо ко всему привыкать, барчук. Мы люди простые, русские, едим пряники неписанные, у нас разносолов нету». Здесь в городе и в семье Ростовцева впервые соприкоснулся ребенок с бытом городского мещанства и на всю жизнь затаил неприязнь к нему. Нетрудно представить себе, каким волшебным праздником, граничащим со сном, были для ребенка редкие приезды в город

отца, когда на один-два дня он переселялся из этой убогой обстановки в самую лучшую гостиницу города, где всегда останавливались дворяне. С каким восторгом обонял он запахи этой гостинницы, впитывал в себя услужливые улыбки лакеев, швейцаров, запечатлевал дежуривших у подъезда лихачей, какой восторг вызывала в нем широкая натура отца с его пусть безалаберным, но таким жизнелюбивым мотовством.

Да, это были два мира: мир, в котором жил Ростовцев — умеренный, рассчетливый (с долгими — из-за экономии керосина — сумерками) и мир отца-прожигателя жизни — блестящий, феерический, с огнями, хрустящими салфетками, игрой хрусталей. Праздник длился только несколько дней, возвращение в мир Ростовцева, с темными сенями, капающим рукомойником в кухне, было срывом. Здесь, в городе, под действием этих резких переходов от света к тьме душа молодого Арсеньева и получила ту травму, которая долго мучила.

Быт Ростовцевых молодой Арсеньев отвергал со свирепой страстью подростка. Из протеста против Ростовцевых он даже чуть не стал членом какого-то кружка гимназистов-дворян, желавших держаться отдельно «от всяких Архиповых и Заусайловых». К счастью, случайные обстоятельства оборвали связь Арсеньева с этим «кружком». Но неприязнь к мещанству, к торгующему, деловому городу осталась в Арсеньеве жить долго.

И только много, много лет спустя, вернувшись в «Жизни Арсеньева» к истокам своих воспоминаний, Бунин впервые переосмыслил Ростовцева, понял, что семья эта — трудовая, опрятная, крепкая, была вовсе не плоха. Но старые воспоминания — живучи. Это сказывается в двойственности обрисовки Ростовцева и его семьи. Их жизнь кажется и позднему Бунину мизерной. С другой стороны, Бунин теперь чувствует, что за «русской ладностью» всей фигуры Ростовцева скрыта была неведомая ему жизнь городской России, тяжко бившейся в тисках старого, бесправного быта. У этой городской России, у этого мещанства были не только скаредность, грязь, недоброжелательство, были свои мечты, свои идеалы. Это обнаруживается в одной сцене: Ростовцев часто интересовался тем, какие стихи учат дети в гимназии, многие из них он не одобрял. Но вот однажды Алексей Арсеньев прочитал ему Никитина «Под большим шатром голубых небес, вижу, даль степей расстилается». «Это было — вспоминает Арсеньев — широкое и восторженное описание великого простора, великих и разнообразных богатств, сил и дел России».

И вот, когда Арсеньев дошел до «гордого и радостного конца: 'Это ты, Русь державная, моя родина православная' — Ростовцев сжимал челюсти и бледнел. Да, вот это стихи — говорил он, открывая глаза, стараясь быть спокойным, поднимаясь и уходя. Вот это надо покрепче учить! И ведь кто писал-то? Наш брат мещанин, земляк наш». Подростка Арсеньева поразила «гордость» в словах Ростовцева: «Гордость чем? Тем, конечно, что мы, Ростовцевы, русские, подлинные русские, что мы живем той совсем особой, простой, с виду скромной жизнью, которая и есть настоящая русская жизнь и лучше которой нет и не может быть, ибо ведь скромна то она только с виду... а Россия богаче, сильней, праведней и славней всех стран в мире». А молодой Арсеньев в своих прогулках по городу видел оборотную сторону медали русской жизни, ее чумазость и некультурность. Позже — признается Бунин — он увидел, что было в этой гордости Ростовцева «некоторое знамение времени», что ему, Бунину, довелось провести юность «во времена величайшей русской силы и огромного сознанья ее» и он только недоуменно спрашивает: «Куда она девалась позже, когда Россия гибла?» Почему ее не отстояли Ростовцевы и все «мы»? Однако тогда, в дни юности, встречаясь с крепкими носителями предреволюционной России, Бунин отталкивался от них, не проявляя к ним того интереса и влечения, которое характерно было для молодого Горького. Молодой Бунин оставался внутренно чужд городу. В этом немалую роль сыграло ощущение своей бедности, которую он не чувствовал, живя в деревне. Как родной сад незаметно переходил в поля и смешивался с ними, так дворянское оскудение Арсеньевых смешивалось с нищетой деревни. Позже, в порыве нахлынувших чувств Бунин даже воскликнул в «Суходоле»: «Были на Руси мужики богатые, были мужики нищие, — величали одних господишками, а других холопами — вот и разница вся. Кровь Хрущевых мешалась с кровью дворни и деревни спокон веку... Давно, давно пора Хрущевым посчитаться родней со своей дворней и деревней!»

Может быть потому, что Арсеньев-Бунин вырос среди «крайнего дворянского оскудения», его не затронули настроения «кающихся дворян» предыдущего поколения. Алексей Арсеньев замечает даже с некоторым вызовом: «Никакого долга перед народом я никогда не чувствовал и не чувствую. Ни жертвовать собой за народ, ни 'служить' ему, ни играть, как говорит отец, в партии и в опросы на земских собраниях я не могу и не хочу». Молодой Арсеньев все ярче осознавал

себя поэтом и некоторые его вещи к концу его усадебной жизни уже появились в столичных журналах. Когда настало время улететь из рассыпавшегося арсеньевского гнезда, он поехал к брату в Харьков. Брат этот, «вечный студент», работал в земской статистике и был связан с той средой молодой радикальной интеллигенции, которая была чужда Арсеньеву. По его наблюдениям, люди в этой среде, при всем своем индивидуальном различии, «исповедывали нечто достаточно несложное; люди — это только мы да всякие 'униженные и оскорбленные', все злое — направо, все доброе — налево...» Но выбора у него тогда не было, да он и сознавал, что «если и есть многое, что совсем не по мне в моем новом кругу, то очень и очень многое будет и в других кругах не по мне еще более, ибо что общего было у меня, например, с купцами, с чиновниками?» Именно эта среда радикально-настроенной интеллигенции и обеспечила Бунину-поэту его первую популярность. Но подлинную славу создал себе Бунин не стихами, а рассказами из жизни деревни.

В свете того, что он сам рассказал о себе в своих произведениях, незачем сегодня вспоминать старые споры о том, был ли Бунин «народником», «марксистом» или «певцом умирающей усадьбы». Все эти ярлыки не покрывают действительного содержания произведений Бунина о деревне, которую Бунин знал, может быть так, как немногие из писателей его поколения и последующего поколения писателей революции. Очень интересное свидетельство о впечатлении, производимом Буниным на крестьян, принес Максим Горький в своих воспоминаниях о писателе Иване Вольнове («Красная Новь», 1931 г.).

С социалистом-революционером из крестьян, впоследствии небезизвестным писателем Иваном Вольновым, Горький познакомился еще до революции, на Капри, куда Вольнов приехал после побега из Сибири. Здесь в это время находилось много молодых писателей — Н. Олигер, Тимофеев, часто наезжал Бунин с женой. Много было в то время споров вокруг литературных новинок, разговоров о будущей неминуемой революции. Вольнов сам говорил мало, больше слушал и потом делился своими впечатлениями с Горьким. Очень угнетало Вольнова, что после крестьянских бунтов 1905 года в радикальной интеллигенции стало намечаться охлаждение к крестьянству, чувствовался испуг перед деревней. Вольнов понимал, что писать о деревне надо правду, но, усмехаясь и встряхивая тяжелой головой, он признавался, что сам с этой правдой «не в ладах», так как боится способствовать дальней-

шему отчуждению интеллигенции от крестьянства. «Вот Бунин — говорил он — ему легко, не о своих пишет. Он вышивает золотом по черному, ну и себе приятно, и людям удовольствие. И поучительно: читают люди — думают: вот какие черти-звери в Орловской губернии живут. Стоит ли о таких чертях заботиться». Вместе с тем — замечает Горький от себя, «Бунин был автором, который наиболее увлекал и волновал Вольнова. 'Золотое перо' — говорил Вольнов, вздыхая и смущаясь тем, что похвалил врага, и добавлял: 'А видно, что лаптей не носил, сена не косил, земли не пахал. Шапкой пахарю махал'. И снова хвалил: 'Замечательный писатель. Вот бы этак-то научиться!' вздыхал он и, закрыв глаза, встряхивая шапкой спутанных волос, читал на память, точно стихи: 'О, какая тоска была на этой пустынной, бесконечной дороге, в этой мертвой деревне, молча стоявшей на краю ее...'». Особенно нравилась Вольнову, но и «возмущала» Бунинская «Деревня». «Он читал на память почти целые страницы, читая всегда вполголоса и медленно, прислушиваясь к суховатому и строгому звучанию слов Бунинской речи. Прочитает и, помолчав, скажет: 'Просто как! А за сердце берет'». Очень восхищался Вольнов маленьким рассказом «Захар Воробьев»: «Это — на сто лет! говорил он — Революцию сделаем, республика будет, а рассказ этот не выдохнется, в школах будут читать, чтобы дети знали до чего просто, при царях, хорошие мужики погибали».

«Сто лет» проживет не только «Захар Воробьев». Волновать будет вся та огромная крестьянская, провинциальная бунинская Россия, которая смутно чувствовала, что т а к дальше жить нельзя, что д о л ж н о что-то произойти. Всегда будет волновать акварельная нежность бунинских красок, которыми он рисовал русскую природу и на ее фоне нищих людей, побирушек, бродяг, одинаково хватающих за душу и своей темнотой, и сердечной зоркостью своих чувств, и своеобразной глубиной своих мыслей. Навсегда останется бунинский язык, подслушанный художником у народа, но прошедший сквозь обработку собственного его сердца. Сколько тихих, лесных, прозрачно-звенящих словесных ручьев, неизвестно где начавшихся, донес Бунин до читателей! Вслушиваясь в эти, серебром звенящие, народные словосочетания, читатель вдруг останавливается, откладывает книгу, и перед ним оживают во всей своей неповторимости родные просторы. И в возникшей тишине сердца слышит он, как распускает хлебный рыжий жучек свою палевую юбочку и умирает человек, мудро глядящий в глаза смерти.

Октябрьскую революцию Бунин переживал мучительно и долго. Следы этих дум и чувств запечатлены в «Окаянных днях». Как не вспомнить тут другого большого писателя — Александра Блока, который тоже видел и остро переживал «эксцессы» революции, но видел за ними и другое — «миллионы голодных, исстрадавшихся глаз, которые видали, как гарцовал статный, и кормленный барин»...

Советские публицисты воспользовались «Окаянными днями», чтобы характеризовать Бунина, как «помещика», пышущего злобой против народа и клевещущего на Россию. Но при всем том и они понимали, что невозможно вычеркнуть Бунина из русской литературы. Во время Нэпа в Советской России были переизданы некоторые произведения Бунина («Деревня», «Суходол», воспоминания о Чехове и Толстом, «Господин из Сан-Франциско», ранние рассказы и из эмигрантского периода — «Митина любовь»).

По-прежнему исключительно высоко ценил Бунина Горький. Года три назад в России опубликованы первые томы «Литературного Архива М. Горького». В письмах Горького к начинающим писателям и до, и во время революции, Горький неизменно рекомендует учиться у Тургенева, Лескова, Чехова, Короленко и Бунина.

К счастью для русской литературы Бунин смог не только найти выход из тупика своих дум об «Окаянных днях», но и написал в эмиграции такие произведения как «Жизнь Арсеньева», «Митина любовь», «Божье древо», «Темные аллеи».

Присуждение Бунину Нобелевской премии было воспринято в эмиграции, как большой праздник. Напомню отзыв об этом событии редакции «Современных Записок»: «Мы не принадлежим к тем, которые хотят провести непроходимую черту между литературой советской России и литературой эмиграции... Мы радуемся, когда несмотря на замутнение всех источников творчества и отсутствие свободы, мы встречаем выдающиеся произведения т а м. Но мы знаем, что для истинно высокого творчества необходима свобода, которую мы храним з д е с ь ». Присуждение Бунину Нобелевской премии — «это признание ценности свободного эмигрантского слова».

Чем зрелый художник, творец «Митиной любви» и «Божьего древа» превзошел дореволюционного Бунина? Есть у Бунина маленький рассказ «Роза Иерихона». В нем Бунин рассказывает, что в знак веры в жизнь вечную был на востоке обычай класть в гробы и могилы «Розу Иерихона». Долго Бунину казалось странным, что розой назвали клубок сухих и

колючих стеблей, подобный русскому перекати-поле. Но этот клубок сухих стеблей обладает одним воистину чудесным свойством: сорванный благочестивым странником и унесенный за тысячи верст от своей родины, этот клубок многие годы может лежать серым, мертвым комком. Но, поставленный в воду, он быстро начинает зеленеть, распускаться и дает не только зеленые листочки, но и бледнорозовый цвет. И, глядя на таинственно распустившуюся вдали от родины «Розу Иерихона», радуется сердце человеческое: «Нет в мире смерти, нет гибели тому, что было, чем жил и дышал когда-то! Нет разлук и потерь, доколе жива моя душа, моя Любовь и Память!»

Такой клубок сухих стеблей волчца, или, может быть, Богородичного Цветка, унес с собой Бунин. И каждый раз, окуная в творческую влагу сухие стебли, оживает Богородичный Цветок, цветом, красками, словами разнося в мире весть о бессмертии настоящего искусства.

В своих маленьких рассказах Бунин продолжает и совершенствует тургеневскую традицию «Стихотворений в прозе». Их нельзя пересказывать:

Бродяга

«Поле и летнее утро, дружно несет тройка. А вдоль шоссе, навстречу странник: без шапки, босой и такой легконогий, как будто на крыльях. Поровнялся, мелькнул и пропал. Худ и старчески сух, веет длинными выгоревшими на солнце волосами. Но как легок, как молод! Какой живой, быстрый взгляд! И сколько у него впереди этих белых шоссейных дорог. 'Бог бродягу не старит'».

А вот снимок с натуры, в нескольких словах передающая все краски картин Кустодиева:

Капитал

«Квасник, лысый, красный, тугопузый, лихо кричит тенором на всю ярмарку: 'Вот квасок, попыривает в носок! Вот кипит, да некому пить!' — Высокий русый мужик в теплой шапке на затылок идет в толпе с огромным белым хлебом подмышкой и на ходу набивает им рот, жует, откидывая голову назад, раздувая ноздри. — 'А почем этот квасок? — Орел бутылка, семитка — стакан. —А на грош не отольешь? — На грош, милый, и воробей не мочится!' — Мужик жует, думает. Потом со вздохом, но твердо: 'Нет, не взойду. Капитал не дозволяет!'».

Среди этих миниатюр многие заражают читателя уверенностью, что художник вернется к ним, развернет сюжет:

М а р ь я

«В избе, после сытного, праздничного обеда. Все наряжены. Работники в сапогах, в чистых рубахах, подстрижены, с красными, подбритыми шеями. Рычат, ловко ладят две ливенки. Илюшка и Наташа ходят друг перед другом, постукивают каблуками, не глядя друг на друга.

— Марья, а ты что-ж сидишь? Не отвечает, с сумрачной усмешкой щелкает подсолнухи. — Ну хоть выходку сделай! Мотает головой, исподлобья поглядывает на пляшущих своими далеко расставленными, в переносицу косящими черными глазами. И вдруг встает, поправляет платок на плечах... Ах, Бог мой, как пошла! Нехороша, немолода, невелика, костиста, а у всех восхищенно замирает сердце: какая сжатость, сила страсти и какой оттого пущий блеск, точность движения! Илюша раздувает ноздри, дробит в пол каблуками, наступает:

Ух, сыпь чаще,
Подавай слаще!

Она плывет мимо, отвечает небрежно, вскользь, как неживая:

Я ходила подавала,
А тебе все мало, мало...»

***

Высоким, стройным кленом стоит Бунин-художник в аллее огромного разросшегося сада русской литературы, рядом с ее самыми могучими исполинами. Далеко вверху, где простерты их кроны, стоит немолчный шелест о вечной России.

В. Александрова

ЮБИЛЕЙ БУНИНА

Ивану Алексеевичу Бунину исполнилось 75 лет. Статья В. А. Александровой не первая о нем в «Новом Журнале» и, конечно, не последняя. Критики разных взглядов вносят каждый свое в дело изучения книг нашего знаменитого писателя. Но все сходятся в том, что он гордость и украшение русской литературы. Его юбилей — ея большой праздник.

Редакция

ГОГОЛЬ В НИЦЦЕ

Из мальпоста, поддерживающего ежедневные сношения между Турином, Генуей и Францией и остановившегося 2-го декабря 1843 г. в Ницце у Hôtel des Etrangers, вышел, зябко укрываясь широким итальянском плащом, путешественник в белой поярковой шляпе с широкими краями. «Низенький, сухощавый, с весьма длинным, заостренным носом, и прядями белокурых волос, падавшими на маленькие, прищуренные глазки», господин этот дал распоряжения насчет своих вещей, указав адрес в районе Croix de Marbre и назвав звучное иностранное имя.

Путник этот был Гоголь, ехавший из Дюссельдорфа, куда он, наконец, выбрался после мучительного восьмимесячного пребывания в Риме. Ему давно следовало покинуть раскаленную атмосферу города, в котором, случалось, удушливый сирокко, наполняя воздух палящим жаром, заставлял Гоголя страдать, суша его кожу, и вызывая болезненный, яркий румянец на щеках. Тщетно ловя «каждый свежий ток», Гоголь запрокидывал тогда голову, чтобы успеть «перехватить» редкое дуновение ветерка.

По ночам он страдал от длительного замирания и обмороков, так что даже опасался ложиться в постель и зачастую просиживал до утренней зари в комнате соседа своего П. В. Анненкова, опустив голову на руку и дремля на соломенном диванчике.

Задерживало его в Риме пребывание там друга его поэта Н. М. Языкова, прикованного болезнью ног к креслу, в котором он сиживал в садике при снятой для него стараниями Гоголя и художника А. А. Иванова квартирке. Обычно, вид страданий был невыносим для Гоголя, но когда шел вопрос о друзьях «картина помощи приводила его в лирическое настроение». Не в силах оторваться от Языкова, Гоголь про него писал в Москву П. А. Плетневу: «он... на руках моих».

Однако, под конец, оставаться долее в Риме стало Гоголю все-же не под силу. Он выбрался через Флоренцию в Германию, где побывал в Баден-Бадене у Жуковского. Отсюда его потянуло в тепло. «Зима в Германии просто мерзость и не стоит подметки нашей Русской зимы», пояснял он Языкову. «Зима в Италии для меня необходима».

Но не одни заботы о здоровьи больного друга своего и своем собственном осложняли жизнь Гоголя: тяготили его невероятно и вопросы денежные. «Я сижу на совершенном безденежьи», жаловался он еще в конце 42 г. Плетневу, а в начале 43 г. прямо писал С. Т. Аксакову: «Вы должны, соединившись втроем: вы, Шевырев и Погодин, взять на себя дела мои на три года. От этого все мое зависит — даже самая жизнь».

Гоголь с тем большим правом считал возможным обратиться с этим требованием к своим друзьям, которым, уезжая из России, поручил наблюдение за печатанием своих сочинений и их продажей, что уже ряд лет работал над созданием своих «Мертвых Душ», первые главы которых с таким успехом читал в свой приезд в 1841 г. в Москве у кн. П. А. Вяземского. Тогда еще он писал Аксакову: «меня теперь нужно лелеять не для меня, нет...» и, называя себя глиняной вазой, продолжал: «конечно, эта ваза теперь вся в трещинах, довольно стара и еле держится, но в этой вазе теперь заключено сокровище».

Ожидая теперь возможного улучшения денежных своих обстоятельств Гоголь решил по крайней мере воспользоваться южным теплом, столь необходимым для его «скудельного состава», одряхлевшего в результате перенесенных за последние два-три года геморроида, золотухи и желудочных болей. Выбрав для своего пребывания манившее его залитое солнцем Ниццкое побережье, Гоголь, действительно, немедленно по прибытии мог писать Жуковскому: «Ницца — рай: солнце, как масло, ложится на всем...»

***

Ницца встретила Гоголя, как встречала она всех приезжающих и как об этом красноречиво писал, напр. в своем «Voyage aux Alpes Maritimes побывавший здесь в начале 19-го века Sylvestre Papon: «Я приехал в Ниццу в день Рождества, после полудня. Небо было чисто и ясно, солнце грело, а море спокойно, как зеркальное. У меня на всю жизнь сохранилось впечатление, что была весна». То-же говорил в своем письме к Жуковскому и Гоголь, сообщая ему вскоре по прибытии, что он в Ницце «делил солнце» с семьей гр. Вильгорского, к которым он по их настойчивой просьбе переехал из снятой им было квартиры на Route de France, подле виллы Смирновой, своей давнишней приятельницы.

С Виельгорскими Гоголь познакомился в свое время через нее еще в Санкт-Петербурге. Семья состояла из графа Михаила Юрьевича, веселого и живого человека, талантливого музыканта и образованного любителя искусств, жены его, Луизы Карловны, недоступной светской женщины, чрезвычайно однако доброй и исключительно заботливой и нежной матери, и пятерых детей. Сыновья, Иосиф, товарищ по воспитанию Наследника Престола Александра Николаевича, и Михаил, с детства хромавший, не отличались особым здоровьем; дочери, старшая — Софья, с 1840 г. замужем за гр. В. А. Сологубом, Аполлинария и Анна, проживали с матерью в Ницце, ведя тихую, семейную жизнь, и скрашивали этим существованием «душа в душу» тяготившую мать разлуку с оставшимся при Дворе в Петербурге горячо ею любимым мужем.

С семьей этой Гоголь сошелся особенно близко после смерти в 1839 г. в Риме «у него на руках» многообещавшего, даровитого Иосифа, в котором многие видели в будущем «правую руку Царя» и о котором сам Гоголь отзывался, как о «будущем украшении» царствования Александра Николаевича. Простудившись на пожаре Зимнего Дворца Виельгорский, которому незадолго до того осколок разорвавшегося на испытании артиллерийского снаряда сильно ранил бок, схватил ревматизм в бедре; болезнь перешла на легкие и, когда его отправили лечиться в Рим, не было уже никакой надежды на излечение. Гоголь, говоривший: «мы давно были привязаны друг к другу, давно уважали друг друга, но сошлись тесно, неразлучно и решительно братски только, увы! во время его болезни», не отходил от больного, живя, как он выражался, «его умирающими днями». Он проводил бессонные ночи у одра харкавшего кровью друга, которого ему не надолго «дала судьба в то время, в ту эпоху жизни, когда друзья уже не даются».

Поселившись в дружной и столь гармонировавшей с настроением самого Гоголя семье, считавшей себя искренно обязанной ему за его заботы об умершем юноше, Гоголь быстро завоевал полное доверие «старой графини» Луизы Карловны, поверявшей ему все свои горечи и невзгоды, порожденные потерей горячо оплакиваемого ею сына, невольной разлукой с обожаемым с детских лет мужем и опасениями за здоровье старшей дочери. Несмотря на всю любовь свою и глубокое уважение, которые питал Гоголь к этой внешне холодной, но связанной с ним своими мистически-религиозными стремлениями светской даме, переживания ее зачастую доку-

чали и без того нравственно неуравновешенному Гоголю.

Он спешил тогда покинуть на-время гостеприимный кров и уходил куда-нибудь подальше, в горы. Графиня считала, что Гоголь «очень много способствовал к утешению ее уныния». Гоголь же отнекивался и «как прямой и честный человек», заявлял, что ее «обманула собственная доброта души» и что только перед самым его отъездом из Ниццы графиня, «исполняя просьбу уезжающего стала покойной».

Перейдя постепенно на роль «утешителя-друга», Гоголь, по своему обыкновению, усмотрел в этом перст Божий и утверждал, что «Провидение не без цели поместило его» в доме Виельгорских, а свое призвание видел в вызывании «душевных ответов», которые должны были препятствовать графине и ее детям предаваться унынию, в которое они впадали под впечатлением жизненных неудач*).

Гоголь сблизился особенно с третьей дочерью Виельгорских — Анной Михайловной, в которой он стремился вызвать интерес к русской литературе, русскому языку, всему «русскому» вообще. Она привыкла, как и остальные члены семьи, изъясняться преимущественно по-французски, так что даже в одном из своих писем к Гоголю позднее указывала: «мой русский язык не похож на язык прочих русских. Однако-же, добавляла она, вы в Ницце меня всегда понимали и даже никогда не смеялись надо мной, когда я с вами говорила».

Говорила она, видимо, много, и вскоре между ними установились самые дружеские отношения, позволявшие Гоголю называть ее «добрым другом», «благоуханнейшей» и «благодатной». Виельгорская же себя величала его «приятельницей» и, забавляясь чтением «Вечеров на Хуторе», говаривала что не узнает Гоголя в его сочинениях: «вы, кажется, очень далеко ушли с этого времени», был ее вывод.

В дальнейшем, как известно, интимная дружба с Анной Михайловной, породила в Гоголе несбыточную мысль видеть ее своей женой, мечту, от которой ему пришлось, однако, отказаться из-за неравенства их социального положения.

---

*) Влияние Гоголя было так благотворно, что, напр., гр. С. М. Сологуб в 1845 г., в Париже, сильно расстроенная светским, рассеянным образом жизни мужа, прямо заявляла, вспоминая дни, проведенные с Гоголем в Ницце: «Il me faudrait deux ou trois bonnes conversations avec notre cher ami pour me calmer et me remettre sur la bonne voie».

***

Проживали Виельгорские в Ницце в доме г-жи **Paradis**, владения которой простирались от улицы, носящей теперь ее имя и, доходя почти до самого моря, граничили с теперешней **Place Masséna**, от которой были отгорожены до 1836 г. высоким забором.

На площади красовались только что отстроенные семьей **Tiranty** два огромных дома, послуживших в дальнейшем основой для застройки почти единственной в Ницце стильной площади. Тут-же проходила **Route de France**, ставшая позднее **Rue de France**, обнесенная с двух сторон заборчиками выходивших на нее огородов и оградами редких усадебных владений. Непритязательный **Paillon**, «славный южный поток без воды и без претензий», по выражению одного хроникера того времени, достигал здесь морских берегов.

Сообщая Языкову о своем времяпрепровождении в Ницце, Гоголь 21-го декабря — 2-го января 1844 г. писал ему: «живу я в виду небольшого хвостика моря, на которое, впрочем, хочу глядеть вблизи». Один из современников сохранил в своих заметках воспоминание о том, как Гоголя здесь, как и несколько позднее в Остенде, можно было видеть в строго соблюдаемые им часы на уединенной прогулке «в черном пальто и в серой шляпе, бродящим взад и вперед, с наружным выражением глубокой грусти».

Поселившись в Ницце у друзей, Гоголю удалось избежать по крайней мере тех денежных забот, о которых он так чистосердечно писал как-то Иванову: ...у меня бывали такие времена, когда я не знал, как проживу завтра». Теперь ему возможно было на одну тысячу, полученную по приезде в Ниццу от Жуковского, протянуть здесь два месяца, как он и пояснял в своем письме Шевыреву: «с этой тысячей я прожил до февраля месяца, благодаря между прочим и моим добрым знакомым, которых нашел в Ницце, у которых почти всегда обедал, и таким образом несколько сберег денег».

Тысячу эту Гоголь выпросил у Жуковского в первом же письме, отправленном ему из Ниццы, и указал, что деньги следует переслать через известного тогда в Ницце еврея — банкира Авигдора.

⁂

На счастье Гоголя деньги, действительно, быстро дошли и немедленно были ему выплачены в банкирской конторе Самуила Авигдора, помещавшейся в большом доме, купленом у наследников графа Кокконато, на Piazza Vittorio, переименованной впоследствии в Place Garibaldi. Здесь потомок «великого» Исаака Авигдора, основателя этой влиятельной и богатой семьи, появившейся в Ницце еще в 17-м веке, вел свои многочисленные и разнообразные финансовые дела, пользуясь особой привиллегией, дарованной ему Сардинским королем, ставшим после падения Наполеона властителем Ниццы. Льготы эти выделяли Авигдора из среды загнанного было в гетто еврейского населения города. Авигдор был даже с 1824 г. Консулом Прусского Короля.

⁂

Помимо Виельгорских особенно близка была Гоголю в Ницце Александра Осиповна Смирнова, прославленная в свое время под своей девичьей фамилией Россет еще Пушкиным, утверждавшим, что она «в тревоге большого света» сохранила:

«Простое сердце, ум свободный
И правды пламень благородный

И как дитя была добра».

Выйдя замуж за церемониймейстера Н. М. Смирнова, позднее занимавшего пост Калужского губернатора, она много проживала заграницей и из Ниццы, где она занимала виллу Lilles, как добрая хозяйка, не забывая Гоголя, посылала ему свои прославленные пироги и в Рим, когда он там находился. Гоголь, обретший в Смирновой соединение острого, пытливого ума с пылким, порою необузданным темпераментом, а, главное, глубоко-религиозное настроение, так отвечавшее его душевным исканиям, в своих переездах по Европе невольно следовал за ней. Взаимное тяготение этих двух мятущихся и искавших нравственного совершенствования душ давало повод к злословию и многие современники отмечали «увлечение» Гоголя «сиреной» и «коварной Цир-

цеей», как они называли, быть может, не совсем без оснований, Смирнову.

Частые встречи с ней, не бывшие тайной и для отсутствующих друзей, дали между прочим повод А. С. Данилевскому, старому другу детства, сделать в письме к Гоголю явно не пришедшиеся ему по вкусу намеки. Гоголь в своем ответном из Ниццы письме поэтому коротко писал: «ты спрашиваешь, зачем я в Ницце, и выводишь догадки насчет сердечных моих слабостей. Это, верно, сказано тобою в шутку». Этой дружеской отповедью Гоголь, не желая входить в бесполезное пояснение своих отношений к Смирновой, как бы пресекал дальнейшее неприятное ему многословие.

Как бы там ни было, но в обществе Смирновой, Гоголь бывал «доволен и счастлив», а его «очаровательница», подверженная часто жестоким припадкам хандры, «страдая от сознания утраты молодости и свежих душевных сил, от собственных увлечений и неумения себя сдерживать», находила облегчение в остроумной и живой беседе с Гоголем, обретая в нем «поверенного своих нравственных мук».

Дочь Смирновой, говоря впоследствии о больной матери и искренней дружбе, связывавшей в свое время ее с Гоголем, вспоминала: «мать болеет, потому что некому ее занять беседой; я помню, в Ницце Гоголь постоянно ее развлекал, когда она нервничала». Вспоминала она, что Гоголь много шутил и от души разговаривал. Частенько читал он Смирновой произведения чужие и свои, особенно «Нос», который Смирнова очень любила. Занимал он и детей Смирновой, заставляя их читать в лицах Мольера, причем сам, в качестве режиссера и суфлера, прятался за ширмами.

Хаживал Гоголь зачастую с Смирновой и Мих. Мих. Виельгорским по набережной, восхищаясь каждым красочным переливом солнечного освещения на горах и на волнах расстилавшейся перед зрителями морской дали. Встречал он здесь и знакомую еще по Москве семью Мещерских. Наконец, частым спутником бывал граф Владимир Александрович Сологуб, с которым он постоянно встречался в семье Виельгорских. Одаренный писатель, считавший себя, однако, как он сам говаривал, лишь «прикомандированным к русской литературе», вел в Ницце блестящий светский образ жизни, злоупотребляя, по собственному выражению, «слабостью, свойственной всем пишущим людям, шататься всюду и везде». Гоголь, ценивший высоко его блестящее дарование, «его правильный, ловкий у светский язык, остроту и наблюдательность», упрекал Сологуба в том, что он не хочет «строже и

отчетливее взглянуть на жизнь». Уговаривая его безрезультатно «хоть два часа в день сидеть за письменным столом и принуждать себя писать», Гоголь в письме к Языкову поэтому про него досадливо сообщал, что он «охотник больше ездить по вечеринкам, чем писать».

***

А ездить было куда. Предприимчивые ниццары в поисках доходов находили успешное применение своим капиталам в постройке новых и удобных домов в районе Croix de Marbre, сдавая их в наем приезжим на сезон*).

Еще Шарль Альбер, унаследовавший в 1831 г. сардинский престол, в своем журнале сделанной им в 1836 г. поездки в Ниццу, записал о том, что по его сведениям иностранцы за зиму дали до 50 балов и что, когда вечером нечего было делать, можно было постоянно «танцовать у какой-нибудь шестидесятилетней лэди, скакавшей, как угорелая».

Отметил это, в своих мемуарах между прочим и Victorien Sardou, впервые попавший в Ниццу в 1839 г. A. Mazon в своем посвященном Ницце очерке отмечал: «Балы и званые вечера занимали в жизни иностранной колонии львиную долю, причем самые блестящие празднества устраивались именно в домах иностранцев».

Русские занимали очень заметное место среди остальных иностранцев, понемногу даже оттесняя англичан, которые первыми высоко оценили достоинства входившего в моду города. Стало замечаться как-бы охлаждение восторженного восприятия южной красы со стороны представителей британской империи. Как-то «Indépendance Belge» в своей корреспонденции из Ниццы сочло даже нужным отметить упреки, которые местные англичане делают в шутку русским в том, что они в благословенный южный уголок занесли свой «негостеприимный климат». Действительно, бывали дни, когда выпадало до 30 сантиметров снегу, правда, тут же таявшаго на глазах у зрителей, но все же позволявшего любителям делать из снега фигуры, быстро исчезавшие под лучами зимнего солнца.

*) В 1843 г. считали до тысячи квартир, сдававшихся на сезон в городе и двух предместиях, и 300-400 приезжих иностранных семей.

Русские вносили зато во все начинания, в которых они принимали участие, исконную русскую непринужденность и свойственный им пыл. Один из постоянных ницких сезонных гостей того времени **Paccard** в своем журнале записал, например, о Карнавале: «На 'променаде' было очень оживленно. Особенно живое участие в празднике приняли русские, проявившие свою обычную горячность». Свой Новый Год русские обычно отмечали роскошным фейерверком, который они сжигали в полночь на **Quai de Midi**, теперешнем **Quai des Etats-Unis**.

Ницкий старожил и наблюдательный участник всех светских празднеств — барон **de Bezancourt** — заявлял поэтому без всяких обиняков в своих «**Soirées d'Hiver à Nice**»: «Я завидую русским за их веселье и предприимчивость, за их неуемный порыв развлекаться и чистосердечный веселый нрав. Им и в голову не придет в беспокойстве разглядывать заботливо по-утрам в зеркале, не серебрит ли виски седой волосок, который бы дал им печальное право не считать себя более молодыми. Да, русские умеют веселиться!»

**
*

Все эти собрания иностранцев, а особенно вкрапленных в общую массу русских, представляли для всегда все подмечавшего Гоголя обширное и увлекательное поле для наблюдений. Со слов очевидцев один из первых биографов Гоголя, П. А. Кулиш отмечал, как еще летом, проездом в Баден-Баден, Гоголь частенько говаривал: «пойду полюбоваться, что там Русские делают за табльдотом», и ходил в гостинницы и другие публичные места, «как ходят в кунсткамеру».

При встрече с знакомыми завязывалась беседа или, вернее, Гоголь давал говорить встречному, «что в голову приходит», как вспоминала позднее А. М. Виельгорская, а сам слушал, «тихонько улыбаясь и закручивая усы». Зоркий глаз Гоголя постояно следил за переживаниями собеседников, за всем характерным в их чувствах и действиях. Он мог проводить целые часы с людьми, вызванными им умело на разговор, будь-то фабрикант, мастеровой, коннозаводчик или владелец поместья, причем все нужные ему сведения Гоголь заносил в свои «записочки». Эта особенность — собрать с человека нужный ему материал, как пчела собирает мед с цветка, в свое время вызвала у Пушкина, как известно указавшего Гоголю темы для двух его наиболее великих произведений, досадли-

вое замечание: «с этим малороссом надо быть осторожнее, он обирает меня так, что и кричать нельзя».

Гоголь не любил работать, когда был один, и чувствовал скуку, не понимая, например, Пушкина, который особенно охотно работал в деревне, где запирался в одиночество. Гоголь как-то пояснял С. П. Шевыреву, что «чем веселее провел канун, тем вдохновеннее возвращался домой». В этом смысле Ницца должна была давать Гоголю полное удовлетворение, будучи полна жизни, движения, и сутолоки; в своем «журнале» пребывания в Ницце Paccard писал, например, о Route de France: «по ней беспрерывно движутся почтовые кареты, дилижансы, всякого рода экипажи, а также лошади и мулы, нагруженные всяким продовольствием...»

Среди друзей, объединившихся вокруг общительной и радушной Смирновой, Гоголь не мог себя чувствовать одиноким. Действительно, говоря много позднее о времени, проведенном Гоголем в Ницце, С. М. Сологуб, вспоминая покойного друга, называла его «веселым и любезнейшим».

Когда-же Гоголю приходило в голову побыть одному, он уходил на уединенную часть побережья на восток от Paillon. Здесь от самого устья до примерно теперешней Rue Meyerbeer, по морскому гравию была только что заложена, старанием, главным образом, местной английской колонии, дорога, шириною в два метра, немедленно облюбованная для прогулок праздным населением Ниццы и впоследствии получившая название Promenades des Anglais. По этому шоссе, тянувшемуся вдоль самого моря и ограниченному с другой стороны заборами выходивших на него владений, «в поэтическом и прелестном беспорядке двигались вперемежку экипажи, всадники и пешеходы», как восторженно отмечал, говоря об этом времени, Victor Emmanuel. Живописность прогулки усугублялась множеством нищих в пестрых отребьях, просивших настойчиво помощи у гулявшей празднично настроенной толпы.

С детства обожавший наряды Гоголь мог здесь наглядеться на разодетых по последней моде представителей местного, а особенно иностранного света. Chevalier Paccard, проведший ряд сезонов в Ницце около 1850 г., отметил в своем журнале: «на улицах все попадаются очень разодетые дамы пешком или в колясках, запряженных одной или двумя лошадьми; многие из них очень элегантны...» С своей стороны, Александр Дюма, побывавший в Ницце в 1840 г., в своих «Заметках путешественника» писал: «в Ницце имеется место для прогулок, так называемая Терраса, равной которой, по-

жалуй, не сыскать во всем свете. Тут всегда бродят толпы бледных, как бы немощных женщин, у которых, повидимому, нет сил жить где-бы то ни было кроме Ниццы и которые каждый год приезжают зимой помирать сюда... Зато мужчины все как бы дышат здоровьем...»

Гоголь постоянно следил за модным цветом фраков или последней расцветкой галстуков, которые он, любя рукодельничать, зачастую сам кроил из кисеи и батиста. Он и в Ницце, по свидетельству Смирновой, хвалился перед ней своими «галстухами». «У меня, хвастался он, три: один парадный, другой — повседневный, а третий — дорожный, потеплее». И тут же добавлял: «Я большой франт на галстухи и жилеты».

Пристрастие это сохранилось у Гоголя на всю жизнь и, как известно, среди немногих вещей, оставшихся после его смерти, нашлось несколько синих жилетов с металлическими пуговицами, о которых он так мечтательно писал нежинскому приятелю своему Высоцкому еще в 1827 г., в первый приезд свой в Петербург.

***

Живя в Риме, Гоголь научился довольно свободно изъясняться на итальянском языке и даже раз как-то без всякой подготовки произнес речь на нем в какой-то остерии, находясь в обществе итальянских художников. Знание языка позволяло ему, как он любил, смешиваться с толпой, чтобы понять ее и изучить местные особенности. Гоголь, конечно, себя имел в виду, когда в герое своего очерка «Рим» писал: «он старался узнавать более и более свой народ. Он его следил на улицах, в кафе, где в каждом были свои посетители. Следил в остериях, следил его в загородных живописно-невзрачных трактирчиках. Он вмешивался охотно в разговор. Но более всего он имел случай узнавать его во время церемоний и празднеств, когда всплывает наверх все народонаселение».

Eugène Emmanuel, прославленный позднее автор «Canson Niçardi», возглавлявший группу талантливых воспитанников Лицея, как раз незадолго до приезда Гоголя вывел на сцену театра марионеток в Collège des Jésuites персонаж-буфф в лице ниццкаго крестьянина Мартена. Пользуясь просвещенным покровительством всесильных тогда в Ницце иезуитов, автор давал волю своему острому языку перед избранным обществом, заполнявшим до отказа залу театра и возглавляемым местным епископом и председателем Сената. Здесь Гоголю довелось познакомиться со многими

смешными чертами ниццкой жизни, над которыми Emmanuel устами выдуманной им каррикатурной фигуры на фоне декораций, написанных молодым тогда еще Trachel'ем, язвительно и зло издевался.

Еще более непосредственное впечатление от Ниццы и ее населения ядовито-наблюдательный Гоголь мог вынести из личного общения с ниццарями на рынках и торжищах, празднествах и гуляниях. В своем опубликованном на 1844 г. «Путеводителе по Ницце» известный естествоиспытатель того времени Antoine Risso охарактеризовал ниццаров, как «ласковых, сговорчивых и человечных, но с гордым характером». Автор дальше подчеркивал их «живое воображение, умение легко схватывать» и указывал, что «народ постоянно ищет всего что может его развлечь, повеселить и занять».

Этот полуофициальный отзыв о жителях Ниццы значительно расходился с впечатлением, которое создалось несколько позднее у внучки Люсьена Бонапарта Princesse de Solms, славившейся, правда, своим злым языком, и проведшей здесь несколько сезонов; она об аборигенах писала: «они ни о чем не заботятся и ленивы, а живут, проводя дни праздно в кафе и за стойками, или же в тайных притонах». Гоголь, которого вряд ли мог особенно затруднить тот своеобразный диалект, на котором объяснялись между собой обитатели залитого солнцем края, где он искал отдыха и новых сил, имел, вероятно, не мало случаев решить, который из двух отзывов ближе к действительности.

Следя за происходящими в Европе событиями, Гоголь любил знакомиться с ними по газетам. К его услугам было Казино, где в читальной зале можно было получать выходившие тогда в Европе журналы и газеты. Другим литературным центром был славившийся тогда «Филармонический Кружок», в котором, по злому отзыву M-me de Solms, «никогда не было слышно музыки» и где в маленьких и темных залах собирались преимущественно англичанки, чтобы читать «газеты, которые почти никогда не получались». Русские дамы, составлявшие по указанию автора «сливки города», этим кружком пренебрегали.

**
*

Дни Гоголя проходили между отдыхом и трудом. «Я продолжаю работать, т. е. набрасывать на бумагу хаос, из которого должно произойти создание «Мертвых Душ». Такие открываются тайны, которых не слышала дотоле душа», писал

он Жуковскому. Сознавая огромное значение поставленной им себе задачи — «хочу насильно заставить себя что-нибудь сделать», сообщал он Языкову, — Гоголь пробовал вести жизнь «уединенную и преданную размышлениям», для чего даже виделся с друзьями «не так часто, как бы мог».

И все-же, несмотря на то, что «погода прекрасная, всегдашнее солнце, не работается так, как бы хотел», жаловался он Языкову, в ответ на сетования его на нездоровье. «Я сам тоже одолеваем разными недугами, писал ему Гоголь, тем более несносными для меня, что они наводят томление, тоску и мешают как следует работать».

Надо было снова думать Гоголю о серьезном лечении, так как стали возобновляться пугавшие его замирания. Приближался Великий Пост; Гоголь решил ехать говеть в Германию, поближе к Жуковскому. Кстати надумал он обратиться за советом к пользовавшему его и ранее, прославленному доктору Коппу во Франкфурте.

В начале марта выехала в Париж Смирнова. 6-го был день ее рождения и оставшиеся в Ницце друзья вспоминали ее у Виельгорских. Гоголь, решивший ехать на следующий день и уведомивший об этом остававшегося в Риме А. А. Иванова, на прощанье, как настоящий «директор совести», читал собравшимся отрывки духовного содержания, а с Виельгорских взял торжественное обещание не предаваться унынию. Он оставил им составленные им «правила» быть «твердыми и веселыми духом», истекавшие из его душевного опыта и «подтвержденные святыми примерами». За чтение этих «правил» Виельгорские должны были приниматься во «всякую горькую и трудную минуту, помолившись внутри себя, сильно и искренно».

Завершив таким образом свою мистическую миссию в семье Виельгорских и получив на дорогу только что прибывший от Шевырева перевод, за который он его еще успел поблагодарить до отъезда, 7-го/19-го марта 1844 года Гоголь покинул радушную семью друзей и гостеприимное ниццкое побережье, чтобы вскоре по указанию франкфуртского авторитета заменить пребывание у южного моря лечением морскими купаньями в Остенде.

**
*

Отъезд Гоголя, как и его приезд в свое время, прошел внешне незамеченным. Но пребывание его в Ницце не оставило, как это ни странно, никаких следов и на его творчестве

и только несколько строк в письмах его к ближним и редкие и случайные отзывы и заметки современников восстанавливают для нас дни проведенные им здесь. В биографической литературе о Гоголе этим месяцам посвящены лишь несколько коротких замечаний.

Ниццкая хроника, с своей стороны, жадная и падкая на все, что связывает город с пребыванием или проездом даже случайных знаменитостей, не съумела похвалиться проживанием в Ницце в поисках отдыха и здоровья одного из великих представителей мировой литературы. Так, повидимому, бесследно ушло все, что позволило бы связать имя Гоголя с Ниццей.

Правда, Музей Массена хранит в одной из своих витрин небольшой предмет, якобы принадлежавший Гоголю и им подаренный офицеру Пьемонтского флота — Алзиари де Малоссена*).

Это — рожок для пороха, украшенный серебром, чеканной киргизской работы. К сожалению, никаких следов знакомства Гоголя с Малоссена не удалось найти, а самый предмет так мало похож на вещи из его обихода, что, несмотря на всю увлекательность отыскать в Ницце что-либо, принадлежавшее и бывшее в руках Гоголя, приходится отказаться от заманчивой мысли связать этот рожок с нахождением Гоголя в Ницце.

Александр Шик

*) **Jean-Albert**, ум. в 1849 г., кавалер разных орденов, в том числе и русского — Св. Станислава.

ПЕРЕД ВТОРОЙ ДУМОЙ *)

Время от 8 іюля 1906 г. до 3 іюня 1907 г. представляет послѣднюю страницу періода, который называли «первой Революціей». Роспуск 2-ой Думы его завершил. При 3-ей Думѣ сходство с «Революціей» исчезает. Начинается эпоха «конституціонной Монархіи». Лѣвая общественность глумилась над «3-ьеіюньскою» Думой, над ея раболѣпством». Поводы для законнаго негодованія эта Дума давала не раз. Но любопытно, что одновременно с нею начался подъем Россіи во всѣх отношеніях. «Конституціонный строй» показал этим свою пригодность для Россіи, несмотря на ея политическую неопытность и на проистекшую из нея массу ошибок. Но період конституціоннаго обученія уже через 6 лѣт (1914) был пріостановлен европейской войной, а потом прикончен подлинной Революціей.

В концѣ «первой Революціи» стоит злополучная 2-ая Дума. Ей не повезло сравнительно с первой. Первую или ненавидѣли, или прославляли; вторую повидимому вспоминали голько затѣм, чтобы бросать в нее камнями, которые летѣли с самых разных сторон.

Справа, умудренный жизнью Коковцев вспоминает (Воспоминанія, стр. 257) об этой Думѣ с непохожим на него озлобленіем и несправедливостью. Он говорит, будто ея засѣданія

> «носили характер какого-то невѣроятнаго сумбура, настолько было ясно, что никакая продуктивная работа была немыслима; да она никого в Думѣ и не интересовала, а все время уходило на безплодныя попытки правой фракціи бороться против явной демагогіи, неприкрываемого стремленія дискредитировать правительство по всякому поводу со стороны всѣх остальных фракцій, которых на самом дѣлѣ и не было, так как вся Дума представляла собою сплошное революціонное скопище, в котором были вкраплены единицы правых депутатов, отлично сознававших всю свою беззащитность даже с точки зрѣнія руководства преніями со стороны предсѣдателя Думы».

*) Глава из ненапечатанной книги.

По иному, но не справедливѣе судили и слѣва. В предисловіи к своей книгѣ — «103 дня 2-ой Гос. Думы», А. Цитрон излагает о б щ е е м н ѣ н і е «лѣвых». Всѣ, по его словам, негодуют на эту Думу, которую будто бы «погубили» кадеты:

> «Для всякаго наблюдателя жизни Думы вставали непреложной истиной два положенія: отступленіе партіи народной свободы от начала русскаго освободительнаго движенія и послѣдовательная, прямолинейная тактика соціал-демократов».

Поучительнѣе всего, как об э т о й Думѣ отзывались сами к а д е т ы. Привожу цитату Винавера:

> «И когда затѣм над безмолствующей страной пронесся бушевавшій семь мѣсяцев смерч столыпинскаго режима, обществом овладѣло раскаяніе, и собравшаяся «лѣвая» Дума, под давленіем новых, идущих особенно сильно из провинціи вѣяній, выставила рѣзко лозунг: «беречь Думу» — беречь уже не ту Думу, полную вдохновеннаго полета великой эпохи, успѣвшую в короткое мгновеніе одолѣть всѣ трудности новизны дѣла, начертить горделивые контуры новаго государственнаго строительства, блеснувшую мужеством и талантами, внушавшую одним надежды, другим, если не страх, то уваженіе; «беречь рѣшено Думу сѣренькую, Думу «безглавую», Думу, как «символ».

Эта строгость к 2-ой Думѣ тѣм разительнѣе, что причина «безцвѣтности» второй «сѣренькой Думы» лежала как раз в том «блескѣ», «мужествѣ», «вдохновеніи» первой Думы, которые прославляет Винавер и которые не привели ни к чему; именно за них р а с п л а ч и в а т ь с я пришлось второй Думѣ. Она оказалась в положеніи «обманутаго сына», перед «промотавшимся отцом»; а Винавер посадил ее на амплуа тѣх дурнушек (rehausse beauté), которых французскія красавицы вывозят с собой для выгоднаго сравненія. Во имя исторической правды надо всмотрѣться глубже в жизнь этих двух Дум.

Общественное мнѣніе считало безспорным, будто дѣятельность первой Думы была борьбой «конституціи» с «пережитками Самодержавія». Такое опредѣленіе можно принять, но с поправкой, что «конституцію» защищало правительство, а «пережитки Самодержавія» — Дума. Это кажется «парадоксом». Но в нем разгадка этого времени.

Конечно, в тогдашнем правительствѣ не было никого, кто бы еще до 1905 года боролся з а конституцію. Мини-

стров раньше брали исключительно из класса воспитаннаго на Самодержавіи; никто из них о конституціи не мечтал. И тѣм не менѣе, з а в р е м я 1-ой Думы нельзя указать ни одного дѣйствія правительства, которое бы конституцію «нарушало». С многими шагами его можно не соглашаться, но они были «конституціонны». Было ли это результатом дисциплины культурных людей, или притворством — безразлично. Конституція была все время на их сторонѣ, и своим лояльным к ней отношеніем они отличались от Думы. Бюрократія приспособилась к новым порядкам и выдвинула «парламентарных» министров; этим лишній раз доказала способность русского человѣка не пропадать в трудных условіях.

Иное придется сказать про членов первой Государственной Думы. Они давно были борцами з а к о н с т и т у ц і ю; многіе были знатоками «парламентской техники» и считали себя «прирожденными парламентаріями». А дѣятельность их в Думѣ оказалась сплошным отрицаніем конституціи.

Это я подробно показывал в своей книгѣ «Первая Дума» и не хочу повторяться. Только добавлю, что всѣ неконституціонные поступки и заявленія, как отдѣльных членов, так и всей Думы, вытекали из того пониманія, которое они имѣли о себѣ и своей роли. Они считали ее одну выразительницею «воли народа», которая выше конституціонных «формальностей». С первых шагов они потребовали уничтоженія Верхней Палаты, как средостѣнія, подчиненія министров себѣ и установленіе строя, гдѣ Монарх только царствует, но не управляет. Что такое пониманіе было переоцѣнкой своей фактической силы и недооцѣнкой силы противника — ясно. Но оно кромѣ того было и отрыжкой идеологіи главной язвы Россіи — Самодержавія — при котором утвержденіе, что «закон» выше «воли» Монарха, считалось признаком «неблагонадежности». Для первой Госуд. Думы аналогичное утвержденіе казалось «отсталостью»; «воля народа», которую она представляла, выше законов. Если понимали, что у Думы нѣт сил такую точку зрѣнія отстоять, то никто не замѣчал, насколько для «конституціоналистов» она недостойна. Только когда депутаты опасались, что их собственныя права будут нарушены, они под защиту формальной конституціи их ставили. Они считали ее обязательной для правительства. То же самое было и при Самодержавіи; и оно от д р у г и х требовало, чтобы закон соблюдался; привиллегія его нарушать принадлежала ему о д н о м у. Идеологія Думы в этом совпадала с Самодержавіем.

Сходство шло еще глубже. «Освободительное Движеніе» не заслуживало бы ни своего имени, ни своего мѣста в исторіи, если бы цѣлью его было не обновленіе Россіи, не водвореніе в ней права, как высшаго руководителя общежитія, а замѣна одной «воли», т. е. «произвола» другим. Из какой бы соціальной среды ни вышел новый неограниченный повелитель Россіи, какія бы цѣли он ни ставил себѣ, его «произвол» остался бы произволом, и при нем не создалось бы ни «правового порядка», ни «правовой атмосферы». Зло Самодержавія, которое со времен Сперанскаго все же хотѣло противопоставлять себя «деспотіи» и сочетать Самодержавіе с управленіем «на твердом основаніи законов», заключалось именно в том, что по силѣ наших законов, Самодержец мог изданные им самим законы, не отмѣняя их, — нарушать. Он считал себя выше их. Этой аномаліи уже не было в Основных Законах 1906 года; потому-то они и были настоящею «конституціей» и дѣлали впервые правовое государство в Россіи возможным.

Первая Дума этого не оцѣнила. Она претендовала на то, чтобы ея в о л я считалась выше законов. В своей репликѣ на декларацію Набоков называл Думу не Законодательной Палатой, а «законодательной властью». В запросѣ о черносотенных телеграммах, критика Думы квалифицировалась, как «дерзостное неуваженіе», техническій термин закона, примѣняемый только к «Верховной Власти».

Это не было только плохою редакціею. Это совпадало с ученіем наших «властителей дум», будто основные законы 1906 г. только «лже-конституція», пока в ней есть п р е г р а д ы для суверенности Думы, пока существует вторая Палата из назначенных членов и правительство, которое перед ней н е о т в ѣ т с т в е н н о. Либеральная общественность считала это самоочевидной истиной. Ничего сдѣлать нельзя, говорил Милюков, пока не будет введена 4-хвостка для выборов в Думу, не будет уничтожена 2-ая Палата и правительство не будет перед Думой отвѣтственно. Без этого будто бы настоящей конституціи нѣт.

Тогда иногда замѣчали, что с этого нельзя «начинать», что это может быть только «конечною цѣлью». Но сейчас должно добавить, что этим ученіем наши политики стремились ввести в Россіи тот самый спорный порядок, который в Европѣ привел к «кризису демократіи». При таком пониманіи, «народному представительству» угрожает соблазн подчинить себѣ в с ѣ функціи государственной власти, становиться самому «Самодержавіем». Всякое Самодержавіе, хотя бы

большинства, с господством права несовмѣстимо. Оно порождает «угнетеніе», и «произвол». Нужно имѣть такую многовѣковую политическую культуру, как в Англіи, чтобы умѣть добровольно самого себя ограничить. Этого не могло быть в Россіи, выросшей на Самодержавіи; первая Дума вдохновлялась его идеологіей, когда считала для себя унизительным подчиняться «закону». Для установленія начал правового порядка в Россіи, надо было Самодержавіе Монарха о г р а н и ч и т ь, а не замѣнять Самодержавіем большинства Гос. Думы. Конституція 1906 г. — и в этом громадное ея преимущество перед хваленными «освобожденскою» и «земскою» конституціей — именно это и сдѣлала; она была построена на принципѣ раздѣленія властей и их равновѣсіи. Она ограничила Верховную Власть, но и «представительству» дала противовѣс в лицѣ исторической власти о т н е г о н е з а в и с я щ е й. В этом был путь к установленію «правового порядка». Недаром Мирабо такими именно доводами защищал когда-то перед Національным Собраніем «королевское вето». Это было нужно Россіи, поскольку она хотѣла «правового порядка», основы котораго важнѣе преходящих и условных государственных форм, в которыя он облекается.

Но «вожди» разсуждали иначе. Случайность и внѣшность они принимали за сущность. Парламентарный строй, 4-хвостка для выборов представлялись им непремѣнными «атрибутами» конституціоннаго строя. Без них он будто был «лже-конституціей». Потому-то они сочли и Основные Законы «насиліем» над «волей народа» и не хотѣли признавать тѣх полезных начал, которыя в них были заложены. В своей самоувѣренности они не предвидѣли, что скоро в болѣе опытных странах многія эти политическія аксіомы будут взяты под сомнѣніе.

Это придало тогдашней борьбѣ с правительством своеобразный характер. Когда правительство защищало конституцію от захватных поползновеній народнаго представительства, оно понимало, что дѣлало. Но что тѣм самым оно отстаивало принципы «правового порядка» против «Самодержавія» — ни общество, ни Дума, ни власть себѣ не отдавали отчета. А между тѣм из этого получилось, что побѣда правительства над Думой оказалось побѣдой конституціонных начал и Столыпин мог бы продолжать то дѣло, которому Дума не сумѣла служить. К несчастью, положеніе уже было сильно испорчено; оно напоминало задачу — продолжать войну послѣ того, как генеральное сраженіе оказалось проиграно. Если война и не окончена, то обстановка ея стала совершенно другой.

Главный грѣх первой Думы был в том, что она подорвала ту «мистику конституціи», которая овладѣла страной в 1904-5 годах. Вѣдь даже для сторонников Самодержавія она тогда стала казаться е д и н с т в е н н ы м выходом. Без такого общаго убѣжденія и Манифеста бы не было. Конечно, тѣ кто от него ждали н е м е д л е н н а г о успокоенія, были наивны и могли скоро убѣдиться в ошибкѣ. Вакханалія, которая вслѣд за ним началась, была хуже первых дней Революціи 1917 года. Это наблюденіе не мнѣ одному в 1917 году приходило на ум. Но эти событія конца 1905 года самой идеи «конституціи» еще не порочили. Вѣдь е я пока не было. Через полгода обстоятельства перемѣнились. Натиск Революціи в 1906 году был отбит. Конституція была объявлена; произведены выборы, открыта торжественно Дума. Государь стал конституціонным Монархом и пытался лояльно играть свою новую роль. Привѣтствовал депутатов, как «лучших людей»; обѣщал «непоколебимо охранять» новые Основные Законы; воздержался от упоминанія своего историческаго титула «Самодержец», что было всѣми отмѣчено. И когда послѣ этих «авансов», все-таки началась сразу аттака на его власть, когда он увидал, как пренебрежительно Дума относится к конституціи, куда она с легким сердцем ведет государство, он испытал то-же чувство раскаянія, которое вѣроятно переживал в 1917 году, когда размышлял о подписанном им «отреченіи». Здѣсь совершился перелом в его отношеніи к конституціи.

Не в его характерѣ была смѣлость рѣшеній. Конституціи он не отмѣнил. Но его довѣріе с тѣх пор пошло к тѣм, кто ея н е признавал. По э т о м у признаку стало опредѣляться его отношеніе к людям. Это открыло особенному сорту людей соблазнительный путь для успѣха. Ненужно было понимать интересов Россіи; достаточно было отрицать конституцію, показывать демонстративное пренебреженіе к Думѣ, чтобы в его глазах попадать в число «умных и вѣрных» людей. Государь не сознавал, к а к о й уродливый отбор он этим дѣлал в своем окруженіи. Тѣ, кто стремился безболѣзненно ввести новый порядок, попадали под его подозрѣніе. Его довѣріе направилось к тѣм, кто толкал его к гибели. Условія же новаго строя дали им в руки дѣйствительное средство вліять на Государя. Они тоже стали ссылаться на волю «народной массы», которая будто бы н е хочет ограниченія его власти. Они организовывали и мобилизовали темных или нечестных людей, разжигая в них и страсти, и слабости, фанатизм и тщеславіе, и толкали их на прямыя обращенія к

Государю в духѣ, который ему в то время мог нравиться. Эти обращенія производили на него впечатлѣніе. Он увидѣл в них подлинный «голос народа», неиспорченнаго «обществом» и «интеллигентами». Так завязалось сближеніе Государя с якобы «настоящим народом». Карьеристы и честолюбцы из мѣстных властей, болѣе всего тѣ, за которыми были грѣхи, стали ставить на э т и х людей свою ставку. В их борьбѣ против «конституціоннаго строя» пресловутыя «темныя силы» стали козырною картой. Роковое вліяніе их на Государя с тѣх пор не прекращалось; позднѣйшее «Распутинство» сдѣлалось логическим его завершеніем.

Так первая Дума мобилизовала против конституціи ея правых врагов в искаженном и уродливом видѣ. Вмѣсто здороваго консерватизма (quieta non movere — по опредѣленію Бисмарка), полезнаго для государства, родилась агрессивная правая демагогія. Честные консерваторы брезгливо от нея отстранились, но за то оставались без почвы. Началось вырожденіе прежней Монархіи. Подонки страны пріобрѣтали такое вліяніе, что центральная власть перед ними становилась безсильной. Столыпину позднѣе пришлось самому испытать, гдѣ скрывались настоящіе и наиболѣе опасные враги исторической власти.

Роспуск Думы поставил Столыпина на первое мѣсто; он занимал его почти до смерти своей. Говорю «почти», так как исключительное положеніе свое он потерял уже раньше. Без пули Багрова он вѣроятно стал бы новым примѣром людской неблагодарности. Только смерть возвела его на тот пьедестал, который опрокинула лишь Революція.

В литературѣ о Столыпинѣ больше преувеличеній и страстей, чѣм справедливости. Это удѣл крупных людей. У современников к ним или «восхищеніе», или «ненависть»; правду им воздает только потомство. Думаю все-таки, что я отношусь к нему без предвзятости. При его жизни я не раз и рѣзко против него выступал. Но уже во время Великой Войны с трибуны высказал сожалѣніе, что в нужное время его с нами нѣт. В 1929 г. в эмиграціи, вспоминая про Витте, я написал, что если Витте мог спасти Самодержавіе, то Столыпин мог спасти конституціонную монархію. Я и теперь думаю это; им обоим мѣшали тѣ, кого они могли и хотѣли спасти. И когда Милюков в 1921 г. в своих «Трех Попытках» писал про Столыпина, что он «услужливый царедворец», а не государственный

человѣк, я нахожу, что это не только пристрастіе; в этом нѣт ни чуточки сходства.

Сопоставленіе Столыпина с Витте само собой напрашивалось; оба были крупнѣйшіе люди эпохи; судьба их во многом была одинакова. Любопытно, что они не выносили друг друга; по характеру были совершенно различны; различны были и их мѣста в той тяжбѣ, к которой тогда сводилась наша политика, т. е. к тяжбѣ «власти» и «общества».

Витте по происхожденію и по воспитанію принадлежал к лагерю нашей общественности. Был студентом Университета, а не привиллегированных школ; чуть не стал профессором математики и начал свою дѣятельность на желѣзнодорожной службѣ у частнаго общества. Случайно, по личному настоянію Александра III, перейдя в лагерь власти, он остался в нем parvenu. В своих «мемуарах» он старается это затушевать, указывая на происхожденіе своей матери из рода Фадѣевых, которая будто бы сдѣлала mesalliance замужеством с Витте-отцом. Старанія Витте себя приравнять к этой средѣ характерны для нравов. Но в лагерѣ власти Витте оцѣнил тѣ возможности работать в широком размахѣ на пользу страны, которыя тогда Самодержавіе открывало. Эти возможности и успѣхи его увлекли и он разошелся с самой психологіей нашей общественности. Витте знал хорошія стороны общественных дѣятелей и ту пользу, которую они бы могли принести, если бы не обезсиливали и государство, и себя борьбой с Самодержавіем. Такова вѣроятно психологія честных работников в аппаратѣ Совѣтской Россіи, которые соблазнились перспективой в нем Россіи активно служить. Но когда, несмотря на усилія Витте направить силу Самодержавія по руслу «Великих Реформ», оно пошло по противоположной дорогѣ, а личность новаго Самодержца убила вѣру в Самодержавіе, Витте посовѣтовал призвать общественность к участію в власти. В этом могло быть спасеніе. Но на этой дорогѣ положеніе В и т т е оказалось особенно трудно. Оба лагеря—и власть, и общество, — ему не вѣрили; оба видѣли в нем перебѣжчика, который может опять измѣнить. Да и сила Витте была не на конституціонной аренѣ; историческая роль его завершилась с крушеніем Самодержавія; как практическій дѣятель он не смог его пережить.

Болѣе подходящим человѣком для этой новой задачи мог быть Столыпин. Он вышел из лагеря власти; был там своим человѣком; от него и не отрекался; в новых условіях продолжал служить тѣм же началам, в которых была заслуга исторической власти перед Россіей. Она в прошлом помогла

ей создаться, как «великому государству». Но оставаясь тѣм, чѣм он был, Столыпин понял необходимость для власти сотрудничества с нашей о б щ е с т в е н н о с т ь ю. По этой дорогѣ Столыпин мог идти дальше, чѣм Витте, не возбуждая против себя подозрѣнія власти. И общественность, для которой он был всегда чужим человѣком, могла бы быть к нему менѣе требовательна. Это больно чувствовал Витте. В его отзывах о Столыпинѣ чувствовалось инстинктивное недружелюбіе к человѣку, который осуществлял мѣры, которыя Витте предлагал раньше его, и встрѣчал в обществѣ ту поддержку, в которой тѣм же самым обществом ему, Витте, было отказано. Но это относится только к умѣренной части общественности. Кадеты же, тогдашніе властители дум, упоенные октябрьской побѣдой, оставались вѣрны прежним завѣтам борьбы, « д о п о л н о й п о б ѣ д ы » н а д в л а с т ь ю. Столыпина они не принимали. Для них он оставался прежним врагом. Из враждебнаго лагеря кадеты принимали вообще одних «ренегатов», которые к своему прошлому становились врагами. Быть одним из них Столыпин не хотѣл и не мог.

Свое новое направленіе Столыпин соединил с вѣрностью п р е ж н и м идеалам, а также и предразсудкам. В нем была нелицемѣрная преданность той мощи «Великой Россіи», которой общественность «пренебрегала». Свою аграрную рѣчь 10 Мая он кончил словами: «им нужны великія потрясенія, нам нужна Великая Россія»*). Эта эффектная фраза в искаженном видѣ попала на его Киевскій памятник. Этот идеал его вдохновлял. Но он унаслѣдовал и нѣкоторыя его оборотныя стороны. В 3-й Государственной Думѣ он старался воодушевить народное представительство «національным подъемом», не замѣчая, что національность защищает себя против с и л ь н ѣ й ш и х, а не тогда, когда п р и т ѣ с н я е т слабѣйших. В разноплеменной Россіи а г р е с с и в н ы й національнализм увеличивал ея разъединеніе. В Финляндском вопросѣ он привел не только к нарушенію к о н с т и т у ц і о н н ы х начал, но и к паденію авторитета Монарха. Эту политику Столыпин вел с своим обычным упорством; послѣ 17 года мы за нее заплатили.

Опыт научил Столыпина, что именно для существованія

*) Так было Столыпиным сказано и так записана эта фраза в стенографическом отчетѣ. Но на памятникѣ ее передѣлали в странное обращеніе: «Вам нужны великія потрясенія и т. д.». Текст рѣчи 10 Мая слова «вам» и по содержанію не допускает.

«Великой Россіи» представительный строй стал необходим. Он перешел к признанію представительства не во имя доктрины «народовластія», а во имя укрѣпленія всего «государства» и прежде всего «государственной власти». Если в вопросѣ о конституціи он сошелся с нашей лѣвой общественностью, то пришли они к одному и тому же с р а з н ы х концов. И потому могли дополнить и быть полезны друг другу.

С «правыми» из за этого он стал расходиться; там ему не прощали, что став конституціоналистом, он как будто ограничил власть Государя и его этим уменьшил. Это было полным непониманіем положенія, и лично Столыпина. Никто не был больше привязан к Монархіи и лично к Монарху; не как угодник, а как патріот. Это сказывалось и в большом, и в малом. Когда раненный на смерть, упав на свое кресло в театрѣ, Столыпин издали перекрестил Государя, это не было с его стороны «обдуманным» жестом. Но краснорѣчивѣе этого жеста было его повседневное поведеніе; при жизни своей он не раз был оскорблен неблагодарностью и малодушіем Государя, но не позволял себѣ по его адресу ни упрека, ни жалобы. Я не могу представить себѣ его автором таких мемуаров, гдѣ бы он стал пренебрежительно говорить о Государѣ, как Витте. Его часто упрекали, что подчиняясь неразумным распоряженіям, он своим личным д о с т о и н с т в о м жертвовал. Это правда, но он и в этом был старомоден. Он не признавал «достоинства» в том, чтобы ради него он мог покинуть своего Государя.

В пониманіи Столыпина переход Самодержавія к «конституціонному строю» был направлен не против Монарха. Конституція для него была средством спасти то обаяніе Монархіи, которое сам Монарх убивал, пытаясь нести на своих слабых плечах непосильную для них тяжесть и обнажая тѣ скрытыя силы, которыя за его спиной им самим управляли. «Конституціонные» Министры могли оправданіе его политики перед обществом взять на себя, сражаться с своими критиками разным оружіем, защищаться от нападок не полицейскими мѣрами, а убѣжденіем и публично сказанным словом. Для такого служенія государству у Столыпина было несравненно болѣе данных, чѣм у Витте; как политическій оратор он был исключительной силы; подобных ему не было не только в правительствѣ, но и в средѣ наших «прирожденных» парламентаріев.

Приняв конституцію, Столыпин хотѣл стать у нас проводником и «правового порядка». Этот термин требует по-

ясненія. Он по нашим понятіям указывает на права «человѣка» в противоположеніи к правам «государства». «Власть» и «общественность» в этом смыслѣ были как бы два противоположные лагеря: служить одному значило воевать против другого. На этом противоположеніи воспиталась вся наша общественность*). Преданность «правовому порядку» для нея поэтому становилась почти синонимом «свободолюбія». Столыпин, как человѣк из лагеря власти, разсуждал вовсе не так; подход к этому вопросу у него был другой. Правовой порядок для него означал не «объем» прав человѣка, а их о п р е д ѣ л е н н о с т ь и о г р а ж д е н н о с т ь от нарушенія. Даже неограниченное Самодержавіе теоретически понимало необходимость ограждать признанныя им «права» человѣка. Но прежній строй не нашел достаточнаго выраженія этой идеѣ и оказался с ней несовмѣстимым; в этом для Столыпина была одна из причин необходимости перехода от Самодержавія к конституціи. Он на опытѣ, кромѣ того, увидал послѣдствія «неопредѣленности» и «неясности» прав человѣка; видѣл анархію, которую породил Манифест 17 Октября, провозгласившій общія начала противорѣчившія законам и навыкам жизни. В неопредѣленности и незащищенности личных прав была одна из причин хроническаго раздраженія и неудовольствія всего населенія, превращавших общество из опоры и сотрудника государственной власти в объект полицейских воздѣйствій. Правовой порядок был поэтому для Столыпина не порожденіем «свободолюбія», а потребностью самой здоровой, недеспотической «государственной власти». Столыпин не был ни теоретиком, ни журналистом; этой мысли он систематически не излагал; но она у него по разным поводам обнаруживалась, и больше всего в его своеобразном отношеніи к вопросу крестьянскому.

Говоря языком современности, Столыпин представлял ту политику, которую принято называть «лѣвой политикой пра-

*) В своей книгѣ «Власть и Общественность» (т. II) я разсказал, как на Учредительном Съѣздѣ к. д. партіи на меня набросились за то, что я осмѣлился высказать, что политическая партія должна умѣть себя видѣть на мѣстѣ правительства, и разсуждать как правительство. Это значит, объяснял мнѣ тогда С. Н. Прокопович, разсуждать «примѣнительно к подлости». Мы должны быть «защитниками народа» против власти. Интересно то, что уже здѣсь, в эмиграціи, в 30-х годах, Милюков печатно в этом разномысліи принял его сторону против меня. Если это не только «политика», то это показывает власть старых переживаній.

выми руками». В ней есть хорошая сторона; ей не грозят вредныя у в л е ч е н і я; но в ней была и опасность. Идеи «личных» прав, свободы, равенства, без которых весь правовой порядок может оказаться «великою ложью», были для Столыпина второстепенными; у него часто не хватало чутья, чтобы замѣчать то, что в дѣйствіях его им противорѣчило.

Это было тѣм опаснѣе, что свои цѣли он преслѣдовал всегда с непреклонной настойчивостью. В основѣ их была не только сильная воля, которая перед трудностями не отступает, но и доля упрямства, которое «боится» уступок и «ошибок» признавать не желает. Исключительно «сильные» люди, как Бисмарк, умѣли уступать, когда это было полезно, забывая о своем самолюбіи. Столыпин же любил идти н а п р о л о м, не отыскивая линіи наименьшаго сопротивленія, не смущаясь, что плодил этим лишних врагов и открывал слабыя мѣста для нападеній. У него было пристрастіе к тѣм «эффектам», которые обывателей с толку сбивают (он называл их дѣйствіе «шоком»). Он не умѣл цѣлей своих достигать незамѣтно, под хлороформом, по выраженію Витте, в чем была главная сила этого геніальнаго п р а к т и к а. Столыпин не хотѣл считаться с тѣм, что таким образом дѣйствій иногда наносил удар тѣм мѣрам, которыя хотѣл провести; это ярко сказалось на ненужном и болѣзненном кризисѣ в связи с Западным Земством.

Такая тактика была слабою стороной Столыпина, особенно как представителя конституціонной Монархіи, обязанной сообразоваться с признанной ею самой государственной силой, т. е. с организованным в «представительство» общественным мнѣніем. Она затрудняла взаимное его пониманіе с ним. Но противорѣчія между словами и дѣлом Столыпина общественность слишком упрощенно объясняла его лицемѣріем; так Витте писал про него, будто «честным человѣком он был лишь до тѣх пор, пока власть не помутила ему разум и душу».

К Столыпину это относиться не может; для него власть не была непривычным дѣлом, которое голову кружит. И соединять «лицемѣріе» с характером Столыпина трудно. Лицемѣріе совсѣм не его стиль. Столыпина невозможно представить себѣ ни «интриганом», ни «услужливым царедворцем». В своем личном поведеніи он был человѣком независимым, рѣшительным и смѣлым. За обидное слово о «Столыпинском галстукѣ» он вызвал Ф. И. Родичева на дуэль. Он не стал бы искать поддержки у проходимцев вродѣ Распутина. Все это так, однако Азеф «расцвѣл» при Столыпинѣ, и 2-ая Дума

была распущена путем «провокаціи». Здѣсь есть тайна, но разгадка ея не в «упоеніи властью». Она проще. Столыпин — да не он один — просто еще не успѣл совлечь с себя «ветхаго человѣка», воспитаннаго на старой идеологіи о неограниченной власти «Монарха» или вообще «государства» над «личностью». Упрекать его можно не в том, что эту идеологію и он раздѣлял, а в том, что он мечтал быть проводником «правового порядка» сохраняя ее. Для этой задачи необходимо было уваженіе к «суверенности» права, котораго вообще было мало; его не было ни у представителей стараго режима, ни у их врагов — революціонеров. Эту идеологію могла бы воплотить «общественность» и первая Дума, если бы за чеченичную похлебку не уступила э т о г о своего первородства. Столыпину же эта задача была труднѣе, чѣм ей. Защитнику «прав человѣка» вообще трудно выйти из п р а в а г о лагеря, не став «ренегатом»; но на ренегата, которых в то время появилось так много, Столыпин не был похож.

На такого человѣка послѣ роспуска Думы пала задача установить в Россіи конституціонный порядок; эту задачу он принял. Его дальнѣйшая дѣятельность, перемѣны, которыя с ним происходили, не стоят в противорѣчіи с этим. Нужно только смотрѣть глубже, чѣм видимость. Лѣвая общественность тогда находила, что роспуск Думы должен был быть только шагом к полному упраздненію представительства, и что от этого она Россію спасла только хитроумным Выборгским Манифестом. Не может быть большаго самообольщенія, если только это утвержденіе искренно. Опровергать его просто не стоит. Конечно, в правящем классѣ, и особенно в окруженіи Государя, такія настроенія были; но им не дал ходу не Выборгскій Манифест, а Столыпин. У него был свой план и мы можем документально его возсоздать.

В «Красном Архивѣ» было напечатано любопытное письмо Государя к Столыпину, в котором он указывал ему канву для составленія Манифеста о роспускѣ. В письмѣ были приведены слѣдующіе три пункта:

1) Краткое объясненіе причин роспуска Думы,

2) неодобреніе и порицаніе тѣм, кто позволил себѣ грабить и жечь чужую собственность,

3) заявленіе, что всѣ дальнѣйшія задачи мои, как отца о своих дѣтях, будут направлены к справедливому обезпеченію крестьян землею.

Это был старый стиль патріархальных Самодержцев, с их отеческим попеченіем о подданных, как о дѣтях своих. Но что на этой канвѣ вывел Столыпин?

«Неодобреніе и порицаніе тѣм, кто позволил себѣ грабить и жечь чужую собственность» он замѣнил той безпощадной войной с Революціей, которую он считал одной из своих главных задач. В этом он был непреклонен и искренен. «Да будет всѣм вѣдомо, что мы не допустим никакого своеволія и беззаконія и всей силой государственной мощи приведем ослушников закона к подчиненію нашей Царской волѣ». Но это только одна задача. Манифест далѣе говорит, о чем в конспектѣ Государя не было и намека, что «распуская нынѣшній состав Государственной Думы, мы подтверждаем вмѣстѣ с тѣм неизмѣнное намѣреніе наше сохранить в силѣ закон об учрежденіи этого установленія»; а далѣе, что не менѣе знаменательно: «мы будем ждать от новаго состава Государственной Думы осуществленія ожиданій наших и внесенія в законодательство страны соотвѣтствія с потребностями обновленной Россіи».

Так ставил свою задачу Столыпин, и на это получил одобреніе Государя и обѣщанія Манифеста. Все дальнѣйшее уже зависѣло от состава будущей Государственной Думы. Ея роль в жизни страны ставилась на первое мѣсто. Подготовить подходящую Думу, получить в ней благопріятный состав, способный страну обновить, и сдѣлать все это без нарушенія избирательнаго закона, было главной и совершенно законной задачей Столыпина. Именно для этого, а не для чего другого, выборы были отсрочены на ненормально долгое время, на 8 мѣсяцев. Общественность была совершенно неправа, когда в этом предположила желаніе Думы не созывать. Столыпин, понимая ту вредную общественную атмосферу, в которой первая Дума работала, которая ее сбивала с пути, эту общую атмосферу хотѣл измѣнить и сдѣлать это до выборов. Это сейчас становилось первой и главной задачей.

В. Маклаков

ВСТРЕЧИ С СОВЕТСКИМИ ПОДДАННЫМИ ВО ФРАНЦИИ

Сейчас большинство советских подданных, временно живших во Франции, уехало. Правдами и неправдами скрывшихся и оставшихся очень немного: слишком зорко и свирепо советские власти разыскивали и преследовали всех нежелавших вернуться на родину. Но за свою жизнь во Франции советские подданные, в большинстве своем жившие свободно, широко общались с русскими эмигрантами. Из этого общения теперь можно совершенно бесспорно установить два факта. Первый, что между русскими эмигрантами и советскими подданными никакой «психологической стены» не существует. И те, и другие — одни и те же русские люди. И когда здесь, в свободной Европе, судьба сводила советских и эмигрантов с глазу на глаз, без соглядатаев власти, меж ними всегда возникала самая естественная дружба земляков. Со стороны советских в отношении эмигрантов не было никакого отталкиванья, недоверия, уклонения от знакомства. Я бы сказал напротив, к русским эмигрантам у них всегда был повышенный интерес, как к своим русским, живущим на свободе в Европе, как к людям, у которых можно чему-то научиться и которые могут чем-нибудь помочь им в их горе. Помимо этого и у тех и у других было, конечно, естественное влеченье как к людям одной страны, одной культуры, одного языка, как к своим русским. И это независимо от того, были ли эти люди великороссами, украинцами, грузинами, армянами, калмыками, евреями. Все советские неизменно называли себя, по-старинке, русскими. Я сказал бы, что некоторое предубежденье было, пожалуй, скорее со стороны эмигрантов, ибо долголетняя пропаганда убедила многих из них в существовании какого-то психологического «рва» меж «ими и нами», какого-то превращенья советских людей в «роботов», с которыми не будешь знать о чем говорить. Но это предубежденье рассеивалось мгновенно. После первого знакомства советские и эмигранты быстро переходили на разговор по душам. Оказывается, это вечное уменье русских говорить по душам с пер-

вым встречным не могли истребить ни тяжесть жизни в рассеяньи, ни десятилетия террора на родине. Я не скажу, конечно, что между человеческим типом «русско-советским» и «русско-европейским» нет разницы. Разница есть. Но ведь она существует и между эмигрантом, прожившим 25 лет в Америке, и эмигрантом, прожившим 25 лет во Франции. Но психологических преград для взаимного пониманья, между советскими и эмигрантами нет никаких.

Второй факт, который можно установить со всей определенностью, это то, что советские люди, все без исключенья, колхозницы-девушки и военные энкаведисты, депортированные крестьянки, работницы и квалифицированные интеллигенты, солдаты и офицеры, генералы и кухарки, все встречей с Европой были ошеломлены. Именно, ошеломлены. Все они поняли, что та Европа, о которой им десятилетиями рассказывала правительственная пропаганда, не существует. Все они поняли, что на ее месте существует иная Европа, которую они сами увидели и которая им необычайно понравилась. Что же могло им понравиться в Европе? Ведь они увидели не богатую, пресыщенную, довоенную Европу, а больную, разбитую, разоренную. И все-таки она им необычайно понравилась, и никто из них этого в разговоре с русскими эмигрантами не скрывал. В Европе советским русским понравилось все. Понравилось, как одеты европейцы, какие у них дома, какие квартиры, какие вещи, как они живут. Женщинам понравились платья, ботинки, брошки, моды, браслетки, кольца. Мужчинам понравились автомобили, виллы, дороги, рестораны, зданья. Но самое главное это то, что в с е м и м, пожившим в Европе, понравилась и еще одна европейская малость, которую зовут здесь с в о б о д о й. И если у некоторых русских эмигрантов при общеньи с советскими проявилась некоторая «зависть» к ним потому, что у них есть «родина», а у эмигрантов ее нет, то у советских проявлялась другая несомненная «зависть», что у русских эмигрантов есть «свобода», а у них ее нет. Некоторые эмигранты даже попробовали поменяться этими ценностями, пойдя в местные советские организации, сознательно желая переменить свою «свободу» на свою «родину». Были и советские, которые, признавая прелесть европейской свободы, все-таки не хотели менять свою родину на нее. Но все же большая часть советских русских, несмотря на все скорпионы власти, попробовали променять свою «родину» на «свободу», с опасностью для жизни пытаясь остаться в Европе. Это удалось лишь очень небольшому числу. Остальным пришлось возвращать-

ся на родину, и в разговорах с эмигрантами они не скрывали, что знают, что там им придется пойти в концлагерь. Одни из этих концлагерей надеялись выйти живыми, у других надежды было меньше...

***

Русский эмигрант, сельский хозяин, во время немецкой оккупации Франции скрывал у себя на ферме двух советских депортированных с Украины. Как-то уже после освобожденья Франции я встретил этого эмигранта. — «Уехали, говорит, мои гости, забрали их в Россию... хорошие были люди... вот, почитайте». И он дал мне открытку, отправленную ими перед отъездом. В этой открытке оба советских горячо благодарят эмигранта за все, что тот для них сделал. А после подписей: «Завтра уходит наш пароход... Эх, если б вы знали, до чего не хочется нам уезжать отсюда». И все.

***

После освобожденья Франции в провинциальном французском городе, в большом кафе французские лицеисты случайно встретились с советскими молодыми людьми, лет по 18-19, депортированными немцами из Советской России. И тем и другим захотелось поговорить, попытались объясниться, но ничего не вышло. Тогда один французский лицеист, выбежав на улицу, позвал лицеиста, русского эмигранта, юношу 19 лет. «Иди переводчиком, там русские, они по-французски ничего не понимают!» Войдя в кафэ эмигрантский юноша сразу увидел, что двое из советских юношей типичные калмыки. При входе русского, товарищи-французы закричали: «Вот русский! Вот! Базиль, поговори с ними!» — Как звать?» — Василий!» — «И меня Василий», удивленно засмеялся советский юноша. Широким жестом советский Вася пожал руку Васе эмигрантскому и стал знакомить со всеми своими товарищами. Окруженные французами, долго они сидели в кафэ, дружески разговаривая. Советский Вася, из калмыков, оказался очень живым, симпатичным, любознательным. В этот же вечер, разговаривая с Васей эмигрантским, он вдруг с многозначительным видом полез в боковой карман рваненького пиджака и, вынув истрепанный бумажник, сказал: «Постой, я сейчас тебе покажу!» Порывшись в бумажнике, Вася нашел довольно измятую открытку и, показывая ее эмигрантскому

Васе, торжествующе спросил. «Знаешь, кто это?» — «Знаю», ответил Вася. — «Кто?» — «Пушкин» — «Да», довольный, что собеседник тоже знает Пушкина, подтвердил советский Вася. «Я его всю войну с собой возил, он в плену со мной был и назад с ним поеду». Эта любовь к Пушкину должна бы была говорить об интеллигентности советского Васи, он кончил десятилетку. Но эмигрантскому Васе все-таки Вася советский казался мало интеллигентным. Часто его вопросы казались странными и даже нелепыми. Советский Вася Европу, видимо, воспринимал с трудом... После первого знакомства они стали встречаться. Вася советский расспрашивал Васю эмигрантского: как живут тут русские на земле и как вообще живут французские крестьяне, и когда эмигрантский Вася объяснял ему, что тут и русские и французы снимают землю со всей усадьбой либо в аренду у хозяина, либо берут ее исполу, Вася советский никак этого не мог понять. Он хорошо знал, как живут в колхозе, и другой крестьянской жизни не видал. «У нас, в колхозах, сколько у кого трудодней, столько он и получает. А тут как же?» — «А тут, если ты арендатор, сколько ты заработал за год — всё твое. Ты хозяину платишь только деньги за год аренды» — «Кому ж ты платишь, капиталисту?» — «Если ты снял у капиталиста, то капиталисту, только тут много собственников земли небогатых: лавочники, чиновники, крестьяне, вот им и платишь, как хозяевам». — «И ничего так больше и не даешь кроме этих денег?» «Нет.» — Вася удивленно покачивал головой, как будто с трудом веря в такое простое и в то же время, как будто даже, хорошее земельное устройство.

Раз в этом департаментском городе они вместе были на торжественном митинге. Это был медовый месяц освобожденья Франции. На митинге в театре гремела музыка. Выступал мер города — коммунист, префект департамента — социалист. Оба Васи сидели на галёрке, советский больше глядя на все, чем слушая, ибо языка не понимал и часто задавал эмигрантскому Васе вопросы. — «А это, вон, кто? Это наверное самый главный буржуй, капиталист?» показывал он на сидевшего на председательском месте, прекрасно одетого, седовласого, с патриаршей бородой, мэра-коммуниста. — «Да, нет, — смеялся эмигрантский Вася, — это коммунист, это мэр города, не знаю, как там у вас называется, председатель горсовета что-ль?» — «Он, коммунист?» — удивленно и недоверчиво спрашивал Вася и опять покачивал головой, чему-то неверя и что-то про себя раздумывая.

Вася и другие советские юноши жили в казарме, там у

них было и начальство, которое вело с ними какие-то политические занятия, разъясняло события, жизнь в Европе и пр. Но от этих занятий они только и старались как-бы улизнуть. — «Да плетёт он бузу, политрук-то, из Парижа приехал». — Главным занятием и удовольствием этих советских молодых людей было ходить по городу, рассматривать витрины магазинов или сидеть в кафэ и глядеть на идущих и едущих, хорошо одетых людей. В магазине «Юнипри», как это ни странно, эти трудовые юноши с жадностью набрасывались на такие вещи, как духи, бриллиантин и прочую туалетную дешевую роскошь. Все эти товары военного времени были очень плохи, но советские юноши от них были в восторге, покупая все, «чтоб везти домой». И на удивленье эмигрантского Васи, зачем они покупают эту дрянь, советский Вася опять таки с удивленьем отвечал: «Как дрянь? Что ты, у нас этого нет, а для наших девчат, это во!»

**
*

В том же городе жила депортированная с Кубани молодая колхозница Анна. Она тоже с удовольствием общалась с русскими эмигрантами, очень жадно расспрашивая о здешней жизни и также, как советские юноши, все заработанные деньги (она служила на кухне во французской казарме) тратила на закупку всяких дешевых безделушек в «Юнипри», все укладывая, чтобы везти домой «шиковать». А когда русские эмигранты ей говорили, что все что она сейчас покупает и видит в магазинах, это ничто в сравнении с тем, что во Франции продавалось в мирное время, Анна недоверчиво качала головой. Она никак не могла поверить, что во Франции можно было войдя в магазин свободно купить хоть 20 пар ботинок, хоть 30 юбок, хоть целый воз духового мыла, да еще по тем ценам, о которых ей рассказывали. Не верила. Сознанье этого не вмещало. Тогда, чтобы ее хоть как-нибудь убедить, русская эмигрантка взяла каталог парижского универсального магазина «Самаритэн» и начала показывать ей рисунки всевозможных товаров и их цены. Анна с жадностью все рассматривала, но поверить, что все это было так дешево и, главное, что все это можно было с в о б о д н о покупать — не могла, не поверила.

**
*

Двадцатилетняя советская Надя, насильно вывезенная немцами с Украины, на работах в Германии познакомилась с французом-военнопленным, парижанином, и вышла за него замуж. Вышла замуж Надя с большим трудом, ибо советские власти чинили всяческие препятствия, но она все-таки все преодолела и вышла. Меж собой муж и жена говорят на плохом немецком языке. Но это, конечно, временно. Француз в Наде души не чает и Надя очень любит своего Пьера. Семья француза к Наде относится очень хорошо. Да, и надо сказать, что Надя стоит этого: красивая, умная, энергичная. Наде всего 22 года, она дочь инженера, прошла комсомол, работала на заводе. Став француженкой, она обо всем советском говорит совершенно свободно и не скрывает того, что Европа ее и всех ее товарок, с которыми она была вывезена в Германию, поразила.

— «Но что же вас больше всего поразило в Европе?», спрашиваю я. Надя на мгновенье задумалась. «Больше всего меня поразило, как живут здесь рабочие. Мы все прямо не поверили, когда увидели жизнь рабочих-немцев в Германии. Ведь тут рабочие живут во много раз лучше, чем у нас живут инженеры. Как мы это увидели, так сразу и поняли, что стало-быть нам о Европе рассказывали «пропаганду».

**
*

Много советских девушек вышло замуж за французов военнопленных, с которыми вместе работали в Германии. Еще больше пытались выйти, но не могли из-за преследованья со стороны советских властей, которые в этих случаях отбирали у девушек все документы, помещали в лагеря советских граждан во Франции, и отправляли на родину. В провинции мне пришлось разговаривать с советской девушкой Катей, лет 20-ти. У Кати, как у всех советских, закаленный, крепкий характер. От советских властей она скрывалась, не раз подвергалась опасности, что ее накроют, но в конце-концов все-таки вышла замуж за своего француза и стала француженкой. Муж ее сельский каменьщик, довольно состоятельный человек. Катя дочь шахтера из Донбасса, кончила десятилетку, производит приятное впечатление. «Ну, скажите, Катя, вы говорите, что хотите остаться во Франции. Но почему ж вы хотите остаться? Только из-за того, что любите Жака?» — «Нет, не только. Вообще не хочу возвращаться в Союз, хочу остаться

тут жить». «Почему же?» — Да как почему же? Потому, что тут жить вольно, не как у нас». «Но ведь и в Союзе люди живут, две сотни миллионов людей?» Катя пожала плечами, с улыбкой проговорила: «Да, если б там узнали, что тут люди т а к живут, то все бы сюда прибежали». Катя не хочет оставаться в подпарижской деревне. У Жака братья — квалифицированные парижские рабочие. И молодожены тоже хотят перенести свою работу в Париж. Сейчас Катя, как все советские девушки, бывшие в немецком плену, объясняется с Жаком на каком-то смешном немецком воляпюке, но она уже засела за изучение французского языка и говорит, что вместе с мужем они будут в Париже «дальше учиться». — «Чему же вы будете учиться?» — «Да что-нибудь уж выберу, не беспокойтесь», улыбается Катя. Она полна жизни, энергии, молодости и жажды жизни. Но и свои русские интересы у Кати остались. Когда я с ней прощался, она попросила: «Нет ли у вас чего русского почитать?» «Что б вы хотели?» «Ну, вот Есенина бы, стихи». «Есенина? Да вы его, наверное, в России начитались!» «Мы его в десятилетке прорабатывали, с учителем. Только книжек стихов нам на руки не давали, самим читать запрещалось». «Как так?» поразился я. «Да так, в школе прорабатывали, а самой читать было нельзя. Одна моя подруга достала книжку, чтоб дома читать, так на нее кто-то донес, у нее обыск сделали и арестовали». Я прислал ей стихи Есенина.

**
*

У советской Маруси жизнь во Франции сложилась трагически. Выйти замуж ей не удалось. Жених ее был французмеханик. Познакомились в плену, в Германии. Любила Маруся своего француза без памяти. «Да как же мне его не любить, он мне у немцев жизнь спас. Без него я б померла...» Но и француз любил Марусю. И было за что: Маруся была очень красива, настоящей славянской красотой, и по характеру очень нежна, добра. Когда больная Маруся лежала в парижском госпитале, жених-француз и его семья ежедневно приносили Марусе фрукты, еду, трогательно ухаживая за ней. В госпитале Маруся познакомилась с русской эмигранткой, давно уже ставшей французской подданной. Ей Маруся только и рассказывала, что о своей будущей свадьбе. Но в одно прекрасное утро в госпиталь приехал советский военный, поговорил с Марусей о том, о сем, расспрашивал о ее будущей свадьбе и... отобрал все марусины документы. Это не единич-

ный факт, у всех лежавших в госпиталях советских, советское правительство отбирало документы. Маруся заволновалась. И, выйдя из госпиталя, обратилась с просьбой к бывшей русской эмигрантке: как ей быть? документов никаких! Ставшая француженкой эмигрантка предложила Марусе прямо с женихом итти в советское консульство, рассказать там все на чистоту и просить назад документы. Пошли втроем. На рю де Гренель объяснили, чего хотят. Их ввели в большую комнату, где сидел советский капитан, в окруженьи нескольких молодых лейтенантов. Бывшая эмигрантка, а теперь француженка, начала разъяснять капитану дело, по которому они пришли, но капитан не дослушав, сразу понял. Только спросил: «Француз по-русски понимает?» «Нет». И капитан тут же обратился к Марусе с речью-увещеванием. Сначала он говорил довольно мягко о том, что в советском союзе колхозница Маруся может стать инженером, врачем, артисткой, а тут в гнилой Европе во что она превратится? Она же не знает, в каком рабском положении живут французские женщины. И чем дальше говорил капитан, тем голос его становился суровее, властнее, и вдруг стало ясно, что Марусю охватил бесконечный страх и она уже сдалась капитану. А капитан говорил все грознее и грознее. И наконец, увидев, вероятно, что жертва уже совершенно готова, оборвал: «Выбросьте все глупости из головы и немедленно же возвращайтесь в Союз. Поняли? Завтра же с чемоданом вы придете сюда к девяти часам и отправитесь в лагерь Борегар, а оттуда на родину!» После речи капитана, молодые лейтенанты, смеясь, обратились к француженке-эмигрантке: «Знаете, который раз он произносит сегодня такую речь? Двадцать девятый! И каждый раз все лучше и лучше». Судьба Маруси решилась.

Когда все трое вышли из русского посольства, Маруся была как не своя. И только тут (говорит эмигрантка) я поняла, каким страхом полны советские граждане перед своей властью. «Ну, что-ж Маруся?», спросила она. «Как что?» тихо лепетала Маруся, «вы же слышали, что он говорил? Да разве ж могу я теперь оставаться? Ехать надо... теперь, наверное, в концлагере насижусь». Узнав о марусином решении, пораженный им жених тут же на улице разрыдался. А с Марусей нельзя было ни о чем даже говорить дальше. Она тоже плакала, говорила, что стало-быть ее такая судьба, что ничего не поделаешь, надо назавтра приходить с чемоданом, а то будет плохо, потому что все бумаги у них. И назавтра убитая горем Маруся с чемоданом пришла к посольству. Оттуда ее, с другими же такими советскими девушками и женщинами, от-

правили с провожатым в советский подпарижский лагерь Борегар. А из Борегара вместе с товарками Маруся улетела на аэроплане в Берлин, на земле аэродрома оставив плакавшего француза-механика. Отчаянье жениха было столь велико, что он пошел в посольство просить разрешить и ему ехать вместе с Марусей в Союз. Но ему в этом отказали. Так и оборвалась любовь советской Маруси и француза военнопленного.

**
*

К русскому эмигранту-интеллигенту ходили в гости советские военные. Он говорил им, что собирается вернуться в СССР. Они его в этом очень поддерживали. И только, когда однажды эмигрант остался с одним из них с глазу на глаз, советский сказал ему: «Не езди ты, братишка, к нам. У нас ведь жизнь тяжелая, не такая, как тут у вас. Нашей жизни ты не выдержишь». — «Ну, а как-же вы мне сами раньше с товарищами советовали ехать?» — Советский усмехнулся. «У нас так, когда мы вместе, то один другому не верит. При других и советовал. У нас самому себе правду и то боятся сказать».

**
*

Встретил советского капитана лет 45-ти. Капитан — крепкий украинец из крестьян, был в партизанах, немцы убили его сына. Капитан настроен очень победно, «всех давишь». Говорили о войне, о немцах, о том, о сем. Наконец, глядя на его золотые погоны, я говорю: «Гляжу я на ваши золотые погоны, товарищ капитан, и не понимаю все-таки, почему эти золотые погоны восстановили? Вы не так уж молоды, сами помните наверное, какую ненависть они вызывали в революционных солдатах? Объясните мне, как же могли их восстановить? Для чего?» — «А это вы правильно говорите, засмеялся капитан, я и сам, по правде сказать, не очень их люблю. Но это, знаете, для молодежи. Молодежь ведь любит эту всякую мишуру. Вот, для нее и восстановили»—и капитан хитро смеется. С капитаном в Париже была жена, тоже из крестьянок, но партийная, умная, тертая женщина. Она мало говорила, все больше приглядывалась к окружающим. Но в ней меня заинтересовало другое. Капитанша была одета в черное платье, но такого «парижского шика», что редкие эмигрантки могли бы позволить себе это (капитан служил в охра-

не советских лагерей и у капитана было очень много денег). И наконец, знакомая эмигрантка, помогавшая в Париже одеваться этой капитанской жене, рассказала мне, что пролетарская капитанша на платья меньше чем в 15 тыс. франков и не смотрела. «Мне дрянь не нужно» говорила капитанша, покупая самое лучшее и самое дорогое. «Я недоумевала», говорит эмигрантка, «откуда такой размах, такие требования?»

Об этой «широте размаха» некоторой категории советских людей рассказывал мне и другой эмигрант, полковник, ездивший в Мурмелен сюр Сен на чествование памяти русских воинов, павших на французском фронте в войну 1914 года. На это чествование помимо представителей французского командования приехали чины военной советской миссии, а также представители русской эмигрантской воинской организации, участники первой мировой войны на французском фронте. Встреча представителей двух армий, былой императорской и красной, была интересна. Советские военные расспрашивали старых военных-эмигрантов о войне на французском фронте. «И не понимаю я, откуда у них эти наши прежние жесты?», с одобрительной улыбкой рассказывал мне эмигрант-полковник» «в крови что-ль это у нас, у русских? Когда стали среди присутствующих собирать деньги на часовню и поддержание русского кладбища, французы, кто 50, кто 100 франков дали, эмигранты кто 20, кто 10, а советские полковники небрежно так, по тысяче франков кинули... знай, мол, наших...»

**
*

В семью русских эмигрантов ходили молодые советские военные из лагерной охраны, сами себя скромно называвшие «энкаведистами». Были они военнопленными, взятые на охрану стали «энкаведистами». Эмигранты с ними подружились так, что лейтенанты у них дневали и ночевали, пили и ели. Эмигранты помогали лейтенантам ориентироваться в Париже, купить то, да сё, написать французское письмо и пр. И от лейтенантов совершенно не скрывали того, что они хоть и патриоты, но возвращаться в Союз не собираются. «Вот я тут во Франции рабочий», говорил эмигрант, хозяин квартиры, «а видите, как живу, и радио, и пьянино, и дети с средним образованьем, и в театр ходим, и в концерты, и летом на дачу ездим, а главное я тут свободен, хочу работаю на этом заводе, а хочу на другой пойду, в своей жизни сам себе господин!» — «Да, дурак бы вы были, если б к нам поехали», сме-

ялись лейтенанты в ответ, «сами видим, что живете дай Бог всякому!» И один из лейтенантов, не скрываясь, говорил эмигрантам: «Знаете, деньги у меня есть, я тут тоже мог бы остаться, да дело то в том, что вы все эмигранты поживете тут, потом возьмете советские паспорта и уедете, а я куда денусь? Что я тут с французами делать буду? Нет, нам нельзя оставаться». Перед отъездом эти лейтенанты трогательно прощались с своими друзьями-эмигрантами, дали им денег, которых не могли увезти и, подвыпив, прощаясь, говорили: «Ну, прощай наша свободушка! Кончилась... уезжаем...» — «Ну, вам, энкаведистам, что? Вы и в России будете жить припеваючи...» — «А это там неизвестно, сначала тоже все в концлагерь пойдем...»

***

Русский эмигрант, ставший французским офицером, приехал в отпуск из Берлина в Париж. Много общался с советскими военными, но общее впечатление грустное. «В своем деле сведущи, но в смысле общей культурности — очень слабо. На заседаниях междусоюзных комиссий французские и английские переводчики (очень часто натурализованные русские эмигранты) переводили не только для англичан, американцев, французов, но и для советских, ибо их, советские, переводчики никуда не годятся. Нехорошее впечатление произвело на него отсутствие дисциплины среди советских военных во внеслужебное время. Он видел, как в ресторане советские солдаты пили вместе с офицером, а потом солдат почти что вытаскивал захмелевшего офицера из ресторана, что вызывало пренебрежительные улыбки офицеров союзных армий.

***

В семье русских эмигрантов бывал советский военнопленный армянин. Его разыскивали советские власти, гонялись за ним по пятам, чтоб арестовать и отправить в Союз. Он возвращаться не хотел и скрывался. Наконец армянин пришел в отчаянье. Русская семья эта уж подвергалась обыску и скрывать его больше не могла. Тогда, кто-то из этой семьи дал армянину адрес одной знакомой — русской, но принявшей иностранное подданство, и посоветовал пойти к ней поговорить, может-быть, она чем-нибудь ему поможет. Вечером в квартире этой русской раздался стук в дверь. Она спрашивает: кто это? Незнакомый голос по-русски настаивает, чтоб

она отперла. Но только что она повернула ключ, как в комнату буквально ворвался незнакомый ей армянин и стал ей бестолково объяснять, что за ним гонятся советские, что ему дали ее адрес, и он останется тут у нее ночевать. Совершенно не зная вошедшего, испугавшаяся женщина наотрез отказалась, заявив, что она одна и не может его у себя оставить. К тому же она видела, что армянин действительно не в себе. И вдруг армянин, увидев на стене висящие старинные кинжалы, в бешенстве проговорил, что если она не согласится его оставить, то он сейчас же убьет ее на месте, а потом зарежет себя, потому что другого выхода у него нет. На смерть перепуганная женщина не знала, что ей делать, схватив щетку, она начала стучать ею в потолок, крича: «на помощь! на помощь!» Армянин бросился к ней, вырывая щетку. Спасеньем женщины оказалось то, что явился знакомый этой женщины, русский эмигрант атлетического вида. Не понимая в чем дело, но видя, что его знакомая кричит на какого-то неизвестного «вон! вон!» он принял в этом выгоне живейшее участие. И поняв, что его дело плохо, армянин бросился бегом из комнаты и скрылся. Когда женщина успокоилась, она рассказала эмигранту все происшедшее и свой рассказ закончила так: «Нет, вы только подумайте, до чего должны дойти советские граждане, не желающие возвращаться на родину, что они готовы убить на месте неизвестного им человека и покончить с собой, но только не возвращаться... на родину...»

***

В дни войны, на севере Франции в одном из концентрационных лагерей, где были собраны французы, евреи, советские депортированные, сидел и русский эмигрант-еврей. Он много пережил, много видел, но с грустью мне говорил: «Знаете, кто были самыми жестокими надсмотрщиками над нами, евреями? Это некоторые советские выходцы из Белоруссии и Украины. Это были чудовища, хуже немецких эс-эсов. Они прямо немцам говорили: да, чего вы на этих жидов смотрите, дайте нам по полбутылки вина с головы, мы их всех передушим». — «Вы объясняете это антисемитизмом?» — «Нет... хулиганством. Я в лагере видел много советских людей, в них есть особого рода антисемитизм, совершенно ничего общего не имеющий с немецким, — хулиганский». В том же лагере с этим русским евреем-эмигрантом сидел советский интеллигент, врач, с которым он очень подружился и по вечерам в свободную минуту, следя за русскими и союзными победами,

всегда делился впечатлениями. Он утешал себя надеждой, что после победы в России неминуемо произойдут какие-то реформы и какие-то свободные ветры ворвутся в Россию. Доктор этого тоже очень хотел, но грустно покачивая головой такие разговоры всегда заканчивал так: «Нет, ничего не будет. Вы Сталина не знаете, а мы, советские, его знаем. И поверьте мне, ничто по-настоящему в России не изменится».

**
*

В еврейские благотворительные организации в Париже приходят и советские депортированные, евреи. Просят, чтоб их скрыли, чтоб помогли не ехать, не возвращаться в Советский Союз. Организации отказывают в такой помощи. «Так почему же вы не хотите возвращаться?» — «Да тут нам лучше, чем туда возвращаться». «Почему?» — «Да как почему? Тут свобода». А один интеллигент так уточнил это желание остаться: «А вы представьте себе состояние советского гражданина, когда в концлагерях сидят миллионы людей и когда вы каждую минуту по самому пустому оговору можете быть присоединены к этим миллионам». — В эти организации приходили даже не евреи советские граждане, заявляя, что они евреи и хотят ехать ...в Палестину. Куда-угодно, лишь бы не возвращаться в СССР.

**
*

Под Парижем в эмигрантском детском лагере скрывалась советская интеллигентная семья: отец, мать, сын, дочь. Жили в лагере по фальшивым документам, работая на кухне, как рабочие. В одно утро у лагеря остановился автомобиль с советскими военными. Вошедший лейтенант попросил заведующего лагерем предъявить документы всех служащих. «Мы знаем, что тут скрываются советские граждане», сказал лейтенант. Когда ему предъявили бумаги всех находившихся в лагере, он быстро отобрал четыре документа членов этой семьи, сказав: «Документы подложные. Держатели их советские граждане, я их арестовываю». У всех четырех арестованных подкосились ноги: они знали, что их ждет в Союзе за попытку скрыться и отказаться от советского подданства. Время было обеденное. Священник, заведующий лагерем, предложил лейтенанту отобедать, а после обеда уже везти арестованных. Лейтенант согласился. Сели. Пообедали. Но когда лейтенант хотел везти арестованных, то отца и сына не оказалось, бежали куда глаза глядят, только бы не быть увезенными, бежа-

ли, бросив на произвол судьбы двух женщин. Лейтенант пришел в ярость. «Вы меня обманули!», кричал он священнику. И напрасно старался уверить его священник, что у него в мыслях не было делать ему какую-то ловушку. Лейтенант верить не хотел. И приказал приехавшим с ним военным произвести повальный обыск. Начали обыскивать лагерь, все перевернули, но ничего не нашли. А после обыска лейтенант увез арестованных двух советских гражданок, мать и дочь, и еще впридачу арестовал эмигранта полковника, заведующего персоналом лагеря. Эпилог этой грустной истории был неожиданный. К заведующему этого лагеря потянулась вереница советских граждан с мольбой укрыть их. «Раз у вас они уже были, то во второй раз не приедут», говорили они. Но повторить этот грустный опыт священник наотрез отказался.

Такой же обыск произвели советские энкаведисты и в другом детском доме. Там никого из советских не нашли. Этот детский дом основан русской эмигранткой, княгиней, и в доме этом на стене до сих пор висит большой портрет императора Николая II-го. Советский лейтенант видел такие портреты, вероятно, только в музее и увидеть портрет бывшего царя в жилом доме ему было, вероятно, небезинтересно. Во всяком случае, взглянув на портрет, он тут же обратился к маленьким обитателям дома; обняв мальчика лет шести и показывая на портрет, спросил: «А кто это?» — «Государь», ответил мальчик. — «А где он живет?» — «Его убили». — А почему ты знаешь, что его убили?» — «Нам рассказывали». — Лейтенант отпустил мальчика. И, чему то улыбаясь, вышел.

***

Обыск был произведен и в русском эмигрантском доме в Сан-Женевьев де Буа, где живут престарелые русские люди, главным образом из былой аристократии. Подъехавшие на камионе советские энкаведисты делая обыск, оцепили дом и сад. Старички и старушки страшно перепугались. В перепуге пролетел даже слух, что их всех «вывезут в Советскую Россию». Но дело разъяснилось: советские искали здесь своих, же, советских. Говорят, что советские офицеры были даже очень вежливы в обращеньи с престарелыми русскими аристократами. О царских портретах, украшающих дом, тут никого даже и не спрашивали. И после безрезультатного обыска быстро скрылись на камионе.

**
*

Из Германии в Париж, с большим трудом, с американским камионом приехали советский профессор с женой. Люди очень пожилые. История их такова. Из столицы за какое-то «преступление» власти перед войной выслали профессора на Кавказ. Там его застала война и когда занявшие Северный Кавказ немцы отступали, они погнали с собой все население. Профессор просил оставить его, тем не менее он был угнан из России в Германию. В Германии он с женой были в концлагере, работали. После поражения Германии, понимая, что советские власти сочтут его преступником за то, что его немцы угнали с Кавказа в Германию, профессор с трудом пробрался с американцами во Францию. Но тень этого преследования все время шла за профессором. Все ему казалось, что за ним следит ГПУ, что его ищут, что его увезут. Этот страх день ото дня превращался в «манию». Наконец профессор стал обнаруживать явные признаки душевного заболевания. И в конце концов болезнь приняла такие бесспорные формы, что профессор был помещен в психиатрическую лечебницу, как больной «манией преследования» в тяжелой форме.

**
*

В русскую эмигрантскую семью часто ходил советский молодой лейтенант. Он был летчик, взятый в плен в Германии. Настроен был очень патриотически. Оставаться в Европе не хотел. Был беспартийным, коммунистов не любил. Как-то говоря об эмиграции, сказал: «Мы знаем, что в эмиграции много честных людей. Вот, например, генерал Деникин. Мы знаем, что он даже отказался от английской поддержки и от английского ордена из за принципиальных соображений».

**
*

Советские военные в Париже заходили в помещение Общевоинского Союза. Общевоинский Союз как известно, продолжает действовать и, как это ни странно, его существование не вызывает никакого протеста со стороны Советского Представительства. Приходя в Общевоинский Союз, советские военные с интересом рассматривали портреты Николая II-го, генерала Кутепова, генерала Миллера. Когда при них зашел разговор о таинственном исчезновении генерала Миллера в

Париже, один советский полковник сказал: «Да, да, мы знаем, он, кажется, в Америке...» В отношении военных, служащих в Общевоинском Союзе, советские военные были очень корректны, говоря: «Ну, как же, вы ведь наши учителя, в Москве в Академии у кого же мы все учились? У старых же офицеров Генерального Штаба...»

Вл. Новиков

КАК ЯПОНИЯ ВОШЛА В ВОЙНУ

(Статья вторая) *)

Почти два месяца провел Мацуока в Европе, — в переговорах с Гитлером, Муссолини и Сталиным. За это время в Японии наметились значительные перегруппировки внутри правительственного лагеря. Противники политики Мацуоки, т. е. политики войны, снова подняли голову. В центре споров стояли вопросы, казалось бы не имевшие прямого отношения к внешней политике, а именно вопросы, связанные с введением принудительного государственного планирования хозяйственной жизни. Но борьба вокруг этих вопросов с большей ясностью, чем борьба по какой-либо другой группе вопросов, вскрывала и тесную связанность внутренней политики с политикой внешней, и вполне определенное классовое содержание той внешней политики, которую проводил Мацуока. За планирование были все крайние милитаристы, — сторонники «большой войны», — которые считали такое планирование обязательным условием успеха в тотальной войне; с ними шли все их союзники из лагеря тоталитаристов — «новые бюрократы» и «госхозяйственники»; конечно, в этом же лагере были и военно-фашистские группировки «анти-капиталистического лагеря». В лагере их противников ведущую роль играли крупно-буржуазные группировки. И если первые, в процессе борьбы, исходя из интересов «большой войны», эволюционировали в направлении все более и более последовательного «анти-капитализма» и утверждения примата государства над правами «человека и гражданина», то вторые, защищая свои классовые интересы от покушения на них со стороны государства, логикой вещей вынуждались к эволюции в обратном направлении — к общему отрицанию внешней политики, ориентировавшейся на войну.

Еще в 1938 г., в период первого правительства Коноэ, был принят закон о национальной мобилизации страны; на основании этого закона был создан особый совет из 50 человек, к участию в котором были привлечены представители

*) См. 11-ую книгу «Нового Журнала».

всех групп — и милитаристских, и частно-хозяйственных. Это была попытка создания «единого национального фронта» для хозяйственной подготовки страны к трудностям «большой войны». Одновременно при правительстве было создано особое Национальное Плановое Бюро, во главе которого был поставлен наиболее известный японский «плановик» Наоки Хошимо: он только что закончил работу по проведению в жизнь им же составленного плана первой «пятилетки» по реорганизации хозяйства в Манчжурии и находился на высоте своего влияния.

Но уже очень скоро выяснилось, что мало-мальски прочное соглашение в этой области недостижимо: одно дело было проводить принудительное планирование в завоеванной Манчжурии, где оно осуществлялось за счет ограбления китайских промышленников и крестьян; иное дело осуществлять его в самой Японии, где буржуазия крепко защищала свои права и интересы. Плановое Бюро взяло курс на создание новых трестов, — полу-государственных по своей структуре, — и это сразу же поставило его в положение борьбы против трестов старых, частно-капиталистических. А влияние последних в Японии было огромно. В результате уже очень скоро Совет по Мобилизации Нации стал ареной борьбы между группировками частно-капиталистическими и различными группировками «анти-капиталистическими».

Особенно напряженной эта борьба стала во второй половине 1940 г., когда второе правительство Коноэ не только укрепило общее положение крайних милитаристов во всех органах власти, но и поставило во главе внешней политики страны Мацуоку, который в своей особе совмещал и лидера «манчжурской банды» госхозяйственников (к ее составу принадлежал и Хошино), и одного из наиболее последовательных сторонников «пан-азиатской» борьбы против англо-саксов. В сентябре 1940 г. Хошино выступил с проектом положения об установлении «новой экономической структуры» страны, в число основных мыслей которого входила мысль о превращении всех частных картелей в государственные органы, руководители которых назначаются государством. Против этого проекта со всей решительностью выступили и «старые» политические партии, и все объединения капиталистических организаций. Правительство пошло на некоторые частные уступки, но в основном проект Хошино правительством был одобрен (7 дек. 1940 г.). Это не приостановило сопротивления частно-владельческих группировок, а роспуск «старых» партий и решение о создании «Новой Политической Структуры», с

единой партией в качестве ее основы, проведенные около этого же времени, только подлили масла в огонь: в руководящем аппарате этой новой организации целый ряд виднейших мест был занят представителями военно-фашистских группировок «анти-капиталистического типа». Среди них выделялся наш знакомый полковник в отставке Кенгоро Хасимото, ставший одним из постоянных директоров новой организации: он имел на это право, как один из пионеров японского тоталитаристского движения.

Император задержал утверждение принятого положения о «Новой Экономической Структуре», тем самым поощрив противников реформы на борьбу против нее (свою подпись под этим положением Хирохито поставил только через 9 мес., 1 сент. 1941 г.). Он вообще положение расценивал несомненно много более трезво, чем очень многие из руководителей политической жизни Японии этого времени, и был в оппозиции к авантюристической внешней политике Мацуоки. Известно, что он оказывал сопротивление планам заключения союзного договора с Германией, и осенью 1940 г., в беседе с Коноэ, бросил пророческие слова:

«Если Вы заключите этот союз, то раньше или позже, но американские аэропланы появятся над Токио!»

Не менее отрицательно он относился и к планам фашистской перестройки хозяйственной структуры страны.

В этой обстановке вполне понятно, что продолжительное отсутствие Мацуоки, признанного политического вождя воинствующих госхозяйственников, повело к усилению противников Новой Структуры, под давлением которых Коноэ в конце марта и в начале апреля провел несколько мероприятий, явно говоривших о стремлении сговориться с частными трестами: он прежде всего сместил весь директорат новой правительственной партии, состав которого вызывал такое недовольство, и затем ввел в состав правительства двух из виднейших представителей частных трестов, стоявших во главе компании сопротивления «Новой Экономической Структуре», сместив одновременно автора положения о последней, г. Хошино. М. Огура, председатель правления треста Сумитомо (третий по своим размерам частный трест), получил пост министра без портфеля, со специальной задачей выполнения функций «экономической координации».

Эти перемены были попыткой правительства работу планирования хозяйственной жизни страны, если не передать в руки частных трестов, то во всяком случае проводить в согласии с последними, — в формах, для них приемлемых. — И в

высшей степени характерно, что эти перемены в области хозяйственной политики по времени совпадали с новой попыткой правительства вырваться из орбиты про-немецкой и анти-американской внешней политики. О ней мы недавно узнали из предсмертного меморандума принца Коноэ, где рассказано о закулисных переговорах, которые «группа частных американских граждан» во главе с еписк. Уокером вела с неофициальными представителями японского правительства как раз в это время. Эти переговоры закончились выработкой проекта соглашения, который 8 апреля получил неофициальное одобрение со стороны японского совета министров. По рассказу Коноэ, японское правительство, принимая этот проект, исходило из признания неудачи борьбы пронии Чан Кай-шека с про-японским правительством Ван Цзин-Китая, кроме Манчжурии, и принимало для будущего Китая политику «открытых дверей», настаивая только на соглашении Чан Кай-шека с про-зпонским правительством Ванг Цзинвея. Эти условия действительно могли стать основой для переговоров о прочном соглашении на Дальнем Востоке, в каковом смысле, повидимому, и был средактирован первый неофициальный ответ Вашингтона, куда проект соглашения был сообщен посредниками в неофициальном же порядке (точный текст ответа Вашингтона неизвестен, — в Токио он, по сообщению Коноэ, был получен 17 или 18 апреля)... Эти переговоры были сорваны Мацуокой*).

*) Для истории возникновения войны исключительно важно установить, был ли об этих переговорах Токио с Вашингтоном осведомлен Сталин? Прямых указаний по этому вопросу не имеется, но нет никаких сомнений, что Сталин был в курсе их. Теперь мы знаем об одном из источников его информации: корреспондент «Франкфуртер Цайтунг» в Токио Рихард Зорге, который был близок к наци и состоял заведующим информационным отделом немецкого посольства и лично дружил с немецким послом г. Отт, в действительности был секретным агентом Сталина и обо всем, что ему становилось известно, немедленно же, по особому секретному радио, сообщал в Москву. А осведомленность Зорге была совершенно исключительной: он знал не только подробности о секретных заседаниях совета министров, но и о тайных конференциях в императорском дворце (подробности о Р. Зорге и его работе см. в телеграмме А. Р. из Токио от 23 окт. 1945 г.; ср. также статью Дж. Ньюмэна в «Н. И. Трибюн» от 25 сент. 45 г. и др.). В этих условиях совершенно исключена возможность, что он не знал о переговорах Токио с Вашингтоном: во всяком случае он о них должен был узнать в тот момент,

Москву Мацуока покинул в ликующем настроении, следы которого проглядывают во всех приветственных телеграммах, которые он слал в Кремль с дороги (все они, — их добрый десяток, — собраны в майской книжке «Мировой политики» за 1941 г.). В каждой из них он рассыпался в уверениях своей признательности и в обещаниях свято хранить подписанный договор. Несомненно, не менее ликующими были его телеграммы в Токио, где вести о соглашениях, заключенных сначала в Берлине и Риме, а затем в Москве, были встречены восторженно.

Японская печать рассматривала эти соглашения, особенно московское, как большую дипломатическую победу Мацуоки, которая должна укрепить не только общие позиции Японии, но и личное положение Мацуоки, как вождя группировок ориентирующихся на борьбу против «англо-саксов». Представители этих группировок в один голос твердили, что теперь у Японии развязаны руки для движения на юг. Митсура Тайяма, этот «некоронованный император» из «Черного Дракона», нарушив свою обычную молчаливость, говорил о необходимости борьбы против «красно-волосых варваров». Тосио Шигенори, ближайший сотрудник Мацуоки по министерству иностранных дел, уверял иностранных журналистов, что Россия сочувствует движению Японии в район Южных Морей («Нэйшен» от 26 апреля 1941 г.). Вся пресса перепечатывала статью «Правды» о договоре 13 апреля, особенно подчеркивая те места, где московские коммунисты высмеивали «вашингтонских и лондонских политиканов», стремящихся толкнуть Советский Союз на конфликт с Японией. Газеты толковали соглашение, как присоединение Москвы к державам «оси» и подробно расписывали сцену прощания на московском вокзале. Слова Сталина, сказанные там Мацуоке: «мы должны итти вместе по одной и той же дороге», печать толковала, как заявление о состоявшемся соглашении насчет раздела сфер

когда условия для открытия официальных переговоров были предложены на утверждение японского совета министров, т. е. 8 апреля 41 г. Таким образом в тот момент, когда в ходе московских переговоров с Мацуокой Сталин внезапно изменил свою тактику и снял требования, обращенные к Японии, согласившись на подписание факта без всяких компенсаций со стороны Японии, он, несомненно, уже должен был иметь сведения о готовности Японии начать переговоры с Вашингтоном.

влияния на Дальнем Востоке, на базе признания роли Японии в деле построения «Великой Восточной Азии».

Токио было полно слухов, дополнявших заявления газет. Особенно заострены они были против Англии. Передавали, что еще до возвращения Мацуоки произойдет нападение на Сингапур, — внезапное, без предварительного объявления войны: в том, что свою «акцию» японские милитаристы начнут со «змеиного укуса», сведующие люди не сомневались и тогда, — весь вопрос был в том, кого и когда они укусят. Сосредоточение внимания прежде всего на Сингапуре было совсем не случайным: из материалов, оглашенных на нюрнбергском процессе, известно, что, во время своих переговоров с Мацуокой. Риббентроп прилагал все усилия к тому, чтобы Япония первый свой удар направила именно на Англию, оставив в стороне Америку. Риббентроп, правда, заявлял, что последняя не представляет большой военной силы (в этом он сходился со Сталиным, который в беседах с Мацуокой о Соед. Штатах говорил точно теми же словами) и что конфликт с нею Германию ни мало не пугает; но предпочтительнее ему все же казалось нападение Японии не на Америку, а на Англию. Возможно, что Германия знала тогдашние настроения Америки, которая, как выяснилось во время работ комиссии по расследованию катастрофы в Перль Гарборе, считала, что нападение на Сингапур не явится основанием для выхода ее из состояния нейтралитета. А если Риббентроп держался такого мнения, то именно в этом направлении должно было работать и информационное бюро немецкого посольства в Токио.

Все это, конечно, не могло не понижать шансов того компромиссного соглашения, условия которого были разработаны японскими «пацифистами» из крупно-владельческих группировок. Они пытались бороться с менявшимися настроениями. К числу таких попыток, несомненно, нужно отнести лозунг, пущенный тогда в газеты, — о необходимости поездку Мацуоки в Москву и Берлин дополнить его же поездкой в Вашингтон. В пользу такой поездки немедленно же высказался орган крупных промышленников. О ней сочувственно говорил официальный представитель правительства на конференции печати. Но против этого плана решительно выступил «Кокумин», орган крайних милитаристов, близких к «Черному Дракону», и немедленно же вслед затем сам Мацуока заявил в печати, что нужды в такой поездке он не видит, т. к. он и без того очень хорошо осведомлен о настроениях в Вашингтоне; более полезным он считал бы приезд в Токио Руз-

вельта и К. Холла, так как это они плохо разбираются в настроениях общественного мнения Японии...

Это заявление, сделанное без ведома правительства, звучало вызовом и положило конец толкам в печати на эту тему. Оно же вскрыло и действительное значение московского соглашения. Отто Д. Толишус совершенно правильно тогда записал в своем дневнике: поведение Мацуоки доказывало, что это соглашение носит не оборонительный, а наступательный характер.

Эта борьба в печати была лишь внешним проявлением той борьбы, которая шла за кулисами, внутри правительства и вокруг императорского дворца: о ней подробно рассказывает принц Коноэ, причем целый ряд его утверждений можно проконтролировать по другим источникам.

Мацуока спешил в Токио с явным намерением немедленно же приступить к проведению в жизнь планов, намеченных в Берлине и Москве. Из Кореи он по телеграфу просил о назначении специального заседания совета министров, и газеты его лагеря писали, что на этом заседании будут приняты решения исключительной важности. Исход этого заседания его разочаровал: возможно, что только на нем он узнал, как далеко за время его отсутствия зашли переговоры с Вашингтоном и как сильно изменилась позиция правительства, пополненного представителями крупной промышленности. Чтобы подготовить почву для борьбы, Мацуока прибег к излюбленному им приему: объявил себя больным, вынудив правительство отложить обсуждение вопроса.

Только 3 мая совет министров смог обсудить вопрос об ответе на сообщение из Вашингтона. По сообщению Коноэ, Мацуока был особенно агрессивен и терроризировал всех, кто пытался ему возражать. Соглашение с Москвой так усилило его позиции, что он имел возможность запугивать. В результате, в программу, одобренную 8 апреля, были внесены важные поправки. Мацуока прежде всего добился решения поставить перед Вашингтоном на первую очередь вопрос о подписании договора о нейтралитете и только после этого перейти к обсуждению вопроса об общем соглашении, причем условия последнего, на которых японское правительство было готово пойти, решено было пока что не вскрывать перед Вашингтоном. Далее он настоял на официальном сообщении

всех подробностей об этих переговорах Берлину, давая соответствующее тлокование союзному договору с последним. Инструкции, которые он своей личной властью послал японскому послу в Вашингтоне, Намуре, вводили ряд дополнительных оговорок, — в том числе указание на необходимость подчеркнуть, что Япония во всяком случае остается верна своим обязательствам перед Германией и должна будет выступить против Америки, если последняя вмешается в европейский конфликт. В результате весь план соглашения в его целом стал выглядеть совершенно иначе, чем он выглядел 8 апреля, и только естественно, что Вашингтон теперь к нему отнесся с большим недоверием. В своей речи перед комиссией Конгресса, расследующей события 1941 г., Кордел Холл подчеркнул, что в складывавшейся тогда обстановке проект договора о нейтралитете приобретал характер попытки помешать Америке развертывать ее помощь Англии, не давая в то же время ничего определенного в области противодействия агрессии на Дальнем Востоке...

Едва ли подобный результат прений в совете министров можно объяснить одной агрессивностью Мацуоки, как это пытается сделать Коноэ. Несомненно, что во всяком случае часть членов правительства и сама была захвачена теми настроениями, которые охватили Японию при известии о подписании соглашения с Москвой, что избавляло от риска войны на два фронта, которой так боялись японские стратеги. Движение на юг, которое предлагал Мацуока, в этой обстановке казалось почти совершенно безопасной прогулкой, отказ от которой был бы совершенно непростительным прегрешением перед «национальными интересами» Японии.

Едва ли не меньше других среди людей, которые тогда решали судьбы Японии, этому угару поддался ее император Хирохито. Судя по всем данным, которые о нем имеются в литературе, он был политически мало активным человеком, и склонялся к научной работе; но в обстановке разбирался очень трезво и был противником внешних авантюр. Мацуока прилагал много усилий, чтобы перетянуть его на свою сторону, и часто брал аудиенции для докладов. Но успеха не имел никакого: уже после первой аудиенции Хирохито, рассказав Коноэ о настояниях Мацуоки, поставил вопрос о желательности удаления последнего и нахождения нового, менее авантюристического министра.

Пойти прямо на устранение Мацуоки Коноэ не решался: он вообще не обладал сильным характером, а за Мацуокой стояли весьма влиятельные и «динамически» настроенные кру-

ги. Но закулисные интриги против Мацуоки он повел, и в результате их личные отношения окончательно испортились. Они не встречались иначе, как на заседаниях совета министров и готовились к открытой борьбе. Каждый вел свою политику, — и в результате общей политики страна не имела.

Мацуока скоро убедился, что он, если и может срывать политику Коноэ, то во всяком случае лишен возможности проводить свою, а в Берлине он взял на себя большие и срочные обязательства. Чтобы выполнить их, была необходима смена правительства, и уже во второй половине мая Мацуока приступает к организации кампании, которую нельзя рассматривать иначе, как в качестве кампании по мобилизации военно-фашистских сил страны. В это время он открыто сближается с «Черным Драконом», который берет на себя проведение в стране кампании под лозунгом поддержки внешней политики Мацуоки. 28 мая сам Мацуока выступил с большим политическим докладом, открыто связывая свою внешнюю политику с делом внутренней перестройки страны на базе «Новой Экономической Структуры» и единой политической партии. Этот доклад по существу был программной декларацией кандидата на роль фашистского фюрера Японии, стремившегося опереться на блок военно-фашистских групп с «госхозяйственниками» и «новыми бюрократами».

Центр тяжести всей борьбы за внешнюю агрессию таким образом снова переносился на проблемы политики внутренней, и именно на этих последних вопросах происходила мобилизации сил противоположного лагеря. Хиранума, тогда министр внутренних дел и, несомненно, наиболее сильный человек среди сторонников Коноэ, при поддержке министра юстиции Янагава, повел настоящий поход против «анти-капиталистов» из фашистского лагеря, предъявляя им обвинения на основе того самого закона, который в свое время был создан для борьбы против «анти-капиталистов» из лагеря коммунистического. Он не только арестовал несколько сотен участников военно-фашистских организаций, но и конфисковал указанную программную речь самого Мацуоки, своего коллеги по совету министров. Одновременно Хиранума усиленно подчеркивал, что соглашение с Москвой оживило пропаганду и коммунистов, между которыми и крайними элементами военно-фашистского лагеря протягиваются нити прочных связей. Появление рядом в газетах, — говорил Хиранума, — портретов Сталина и Мацуоки, как авторов московского соглашения, содействует росту такого рода настроений. Старая, консервативная Япония не сдавалась и свою борьбу против

сторонников агрессии открыто связывала с борьбой против «анти-капиталистических» экспериментаторов.

Наиболее острым и сильно действующим оружием, которое она пустила против Мацуоки, было обвинение последнего в отказе от национально-японской политики и в подчинении всей своей внешне-политической акции интересам Германии. Утверждали, что Мацуока в Берлине связал себя далеко идущими обязательствами, на которые он не имел полномочий и о которых он не сообщает даже правительству и императору. Сопоставление записей Коноэ о рассказах Мацуоки про его переговоры в Берлине с документами об этих переговорах, оглашенными на процессе в Нюренберге (заседание 23 ноября), приводит к выводу, что эти обвинения были совершенно правильными. В беседах с Гитлером и Риббентропом Мацуока открыто признавал, что о своих основных планах (разрушение Британской империи и общий передел мира) он вообще не может сказать ни одного слова ни Коноэ, ни императору («Н. И. Таймс» от 24 ноября). Министр иностранных дел, сговаривающийся с главой иностранного государства об интриге против своего собственного монарха, — можно ли найти лучший пример «азиатской» лояльности?

Для правильного понимания роли Мацуоки необходимо добавить, что в своей политической игре он не останавливался опускаться и до роли вульгарного дезинформатора: показания, напр., его личного секретаря, г. Ш. Казе («Н. И. Таймс» от 25 ноября), устанавливают, что беседа Мацуоки с американским послом в Москве, г. Стейнгартом, о берлинских переговорах была прямым обманом, — а эту беседу такие авторы, как Грю, Толишус, Гафенко и др., рассматривают, как надежный источник для суждения о характере японо-немецких отношений. В действительности Мацуока эту беседу вел исключительно для того, чтобы замаскировать заключенное им с Гитлером соглашение о совместной войне против «англосаксов»!

***

Все рассчеты и на этот раз спутал новый крутой поворот политики Гитлера — его нападение на Россию.

Несколько позднее Мацуока весьма непочтительно отзывался о мозгах тех, кто этого нападения не ждал, но его собственное поведение в апреле-июне 1941 г. заслуживало бы во много раз более суровой квалификации, если б оказалось,

что все, им тогда сделанное, он делал, зная, что такое нападение произойдет: еще можно допустить, что его клятвы в верности и обещания совершить над собой хара-кири, которые он давал Сталину, были всего только «азиатской уловкой» дипломата-авантюриста; но даже с этой точки зрения непонятно, зачем ему в таком случае нужно было самому об этих клятвах рассказывать в печати? В тех «дружеских беседах», которые Мацуока вел с Гитлером, вопрос о возможности конфликта с Москвой, конечно, поднимался, но поскольку позволяют об этом судить точные документы (к сожалению, документы, относящиеся к этому периоду, поскольку в них заходит речь о Сталине, публикуются с большими пропусками и искажениями), он ставился в иной плоскости; так, напр., Риббентроп дал тогда Мацуоке заверение, что в случае, если Сталин ударит в тыл Японии, когда последняя ввяжется в конфликт против «англо-саксов», то Германия обрушится на Советский Союз, не считаясь ни с какими пактами.

22 июня нападение для Мацуоки было во всяком случае неожиданностью, но к новой обстановке он приспособился очень быстро. Получив телеграмму о выступлении Германии, Мацуока примчался с дачи, где он тогда отдыхал, в Токио и уже 23 июня, на экстренной аудиенции у императора, настаивал на немедленном же нападении на Россию. Этот совет он давал исключительно на свой риск и страх, не только без обсуждения вопроса в совете министров, но и без совещания с председателем последнего. «Император, — пишет Коноэ, — был сильно поражен и приказал Мацуоке посовещаться с премьером, послав своего лорда хранителя печати осведомить последнего о настояниях Мацуоки».

Ближайшие 10 дней были заполнены борьбою внутри правительства и вокруг него. Наметилось несколько точек зрения.

Позиция Мацуоки была наиболее ясна: судьбу Японии он неразрывно связывал с судьбой Германии. Если раньше эта про-немецкая ориентация делала его сторонником далеко идущих соглашений с Советской Россией, то теперь из нее же он делал вывод о необходимости войны против России со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Свою основную задачу Коноэ понимал совершенно иначе: для него наиболее важным теперь представлялось высвобождение Японии из под немецкого влияния и прежде всего свое собственное освобождение от Мацуоки. Это настроение у него сплеталось с тем отталкиванием от «большой войны», которое разрослось в виду ее связанности с «анти-капитали-

стическими» движениями. Именно поэтому Коноэ и его единомышленники (даже те из них, кто еще незадолго перед тем были сторонниками войны против России, — как напр., Хиранума), теперь решительно отвергали предложение Мацуоки. Коноэ в те дни несколько раз говорил по радио, причем ударной мыслью его речей неизменно был протест против попыток внешнюю политику Японии подчинить интересам каких-либо других стран, — хотя бы даже союзных. В последней речи он прямо выступил против Германии, доказывая, что Япония должна соблюдать все свои обязательства и «не должна в своих поступках руководствоваться исключительно низменными соображениями, что так поступают некоторые другие страны» («Правда» от 3 июня).

По своим дальнейшим последствиям наиболее важное значение имело поведение руководящих кругов армии, которые в это время обособились и от Коноэ, и от Мацуоки. В этих кругах за предшествовавшие годы сложилась своего рода традиция, в силу которой каждое большое армейское соединение вело свою собственную внешнюю политику, причем политика, напр., шанхайского командования нередко расходилась с политикой квантунской армии, а обе они в ряде вопросов отличались от политики главного штаба в Токио. И каждая группа имела своих шефов печати, свои газеты и т. д. Теперь колебания правительственной политики их толкали на объединение. Они все были против Коноэ, поскольку в политике последнего усиливались анти-военные настроения: в руководящих кругах армии противников войны вообще в это время, кажется, совершенно не существовало. Но недовольство крутыми поворотами внешней политики Гитлера в этой среде было, наверное, еще более сильно, чем в среде невоенных политиков. Они еще помнили свое вынужденное отступление перед советскими армиями в 1939 г., а теперь их заставляли оборвать всю подготовительную работу, которую они в течении последних лет проделали для движения на юг, в область благодатных Южных морей. Поэтому теперь все они были и против Мацуоки, как «немецкого агента».

Эти настроения армии полностью разделял и «Черный Дракон», который в эти дни обособился от Мацуоки и создал особый «Совет для проведения национальной политики», куда вошел целый ряд виднейших представителей военно-фашистского движения во главе с Хасимото (М. Тайяма в него официально не входил, но газеты сообщали, что он руководит его деятельностью из за кулис). Этот Совет дал вполне определенный лозунг: «Во что бы то ни стало — движение на юг!»

Такова была обстановка, в которой собралась имперская конференция 2 июля, — орган, который созывался императором только в особо важных случаях: она была пятой по счету во всей истории Японии. Мацуока приложил все усилия, чтобы провести свое предложение: он доказывал, что Япония имеет вполне достаточно сил в Манчжурии, чтобы нанести России решающий удар (по сведениям советской литературы, на русских границах Япония тогда имела свыше миллиона человек), и настаивал на необходимости воспользоваться этой «благоприятной обстановкой». Это предложение было отклонено, причем представители армии и флота голосовали против Мацуоки. Но для получения их поддержки Коноэ должен был согласиться на продвижение армий в Индо-Китай. В своем меморандуме Коноэ пытается объяснить, почему он тогда думал, что это решение ему казалось не связанным с риском большой войны: эти его аргументы — только лишнее доказательство, как плохо он разбирался и в международной, и в внутри-японской обстановке.

В качестве уступки Мацуоке конференция приняла решение о мерах против подвоза военных материалов, бензина и пр. во Владивосток из Америки. По существу, это был акт помощи Германии, но настроение против последней было так велико, что и эту половинчатую меру помощи конференция мотивировала соображениями чисто японскими: нельзя допустить превращения Владивостока в новый Порт-Артур. А такая мотивировка оставляла открытой дверь для изменения этого решения.

⁂

Имеющиеся в литературе материалы не позволяют судить, откуда шли сведения о решениях этой конференции, поступившие в распоряжение Вашингтона. Судя по записям в дневнике г. Грю, американского посла в Токио, это не была его информация; он, наоборот, о настроениях внутри японского правительства был осведомлен правильно; это не была

*) См. напр., «Н. И. Трибюн» за соответствующие дни; из рассказа корреспондента этой газеты, г. Дж. Ньюмэна («Н. И. Трибюн» от 25 сент. 45 г.) мы знаем, что свои сведения он получал от некоего Вукелича, сотрудника того Р. Зорге, который работу в немецком посольстве совмещал с работой для Москвы. Из этого следует, что и Москва во всяком случае к 1 июля уже точно знала об отклонении японским правительством предложения напасть на Россию.

также информация американской печати, так как последняя была осведомлена в общем хорошо. Тем не менее в Госуд. Департаменте и в Белом Доме в те дни из какого то источника имелась информация, создавшая уверенность, что Япония приняла решение напасть на Россию. Она дала толчек для весьма энергичного выступления Соед. Штатов на защиту России: по прямому предложению президента Рузвельта 4 июля государственный секретарь Кордел Холл обратился непосредственно к Коноэ (в обход Мацуоки) с телеграфным предостережением, которое не оставляло места для сомнений о том, какой будет реакция Соед. Штатов в случае «вооруженной агрессии» против России (текст обращения см. в официальном собрании документов «Мир и война», 1943 г., стр. 685).

Если у кого-либо из японцев и могли быть раньше сомнения в том, как реагирует Америка на их выступление против России (из записей Коноэ известно, что Мацуока допускал возможность отсутствия резкой реакции), то теперь эти сомнения должны были окончательно рассеяться. Предупреждение президента звучало очень внушительно, — особенно на фоне обычной сдержанности официального языка дипломатических актов Соед. Штатов. Япония теперь знала, что, напав на Россию, она войдет в войну на обоих фронтах, т. е. окажется в том положении, которого больше всего боялись японские стратеги, учившие, что основной задачей подготовки к «большой войне» в плоскости внешне-политической должно явиться недопущение образования враждебного блока, который вынудил бы ее вести войну одновременно и на суше, и на море. Именно этот момент надо считать моментом похорон плана нападения на Россию, — он же был и моментом решения личной судьбы Мацуоки: еще вчера опасный кандидат в фашистские диктаторы, теперь он стал отыгранной картой, которая никому не нужна.

Что же касается до Японии, то теперь перед ней стоял только один выбор: если она не пересматривала старой доктрины о войне на двух фронтах, то она должна была или вообще отказаться от в о е н н о г о участия в борьбе (что, конечно, совсем не исключало политики мародерства на поле чужой войны), или найти ту или иную форму соглашения со Сталиным, которое сделало бы возможной войну против «англо-саксов» без риска превращения ее в войну на двух фронтах.

Исход конференции 2 июля решил судьбу Мацуоки. Оставаться на посту министра он теперь не мог, — особенно в виду общего мнения о грубой нелойяльности его поведения. Последние дни его пребывания в правительстве полны резких столкновений, причем, по некоторым указаниям, однажды дело дошло даже до рукопашной схватки между ним и Хиранумой. 16 июля была произведена реорганизация министерства, причем из него был удален не только сам Мацуока, но и наиболее заметные из его приверженцев. Коноэ, получивший от императора полномочие на формирование нового правительства, увеличил представительство в нем «умеренных» элементов, связанных с финансовыми и промышленными кругами. Министерство иностранных дел было передано инж.-адм. Тойода, который был тесно связан со «старыми трестами» и в тоже время был широко известен, как сторонник соглашения с Америкой. Представитель «старых трестов» занял и пост министра финансов.

Новое правительство, — оно известно, как «третье правительство Коноэ», — своей главной внешне-политической задачей ставило соглашение с Америкой. Но в то же время оно было связано соглашением с армией об оккупации Индо-Китая. Это был основной внутренний порок его позиции. В то самое время, как из Токио в Вашингтон шли заверения о готовности уладить все трения, в Виши велись переговоры, завершившиеся «добровольным согласием» правительства Петэна на оккупацию Японией Индо-Китая, а американские контрольные станции, в это время уже располагавшие японским шифром, перехватывали секретные каблеграммы японских военных властей, из которых они узнавали, что происходящее сосредоточение военно-морских сил «положит конец» англо-американскому противодействию японской экспансии на юг и что в ближайшую же программу этой экспансии включены не только Индо-Китай, но и Голландская Индия, и Сингапур, и многое другое (см. напр., секретную телеграмму из Кантона в Токио от 14 июля, «Крист. Ссайнс Монитор» от 30 ноября 45 г.).

Было ли официальное японское правительство полностью осведомлено об этих планах военного командования, в точности неизвестно. Вернее всего, что оно знало лишь немногое. «Замораживание» японских счетов в американских банках, проведенное Соед. Штатами 26 июля в качестве ответа на заявление о предстоящей оккупации Индо-Китая, явилось

неожиданностью и для Коноэ, и для нового мин. ин. дел, — во всяком случае такое впечатление производили беседы с ними на г. Грю. Официальный ответ Японии на эту меру вызвал возмущение в военно-фишистских кругах: они рассматривали его, как недостойное Японии заискивание перед Америкой. В дело вмешались вожди «Черного Дракона», которые сделали визиты к Коноэ и к Хиранума.

6 августа выяснилось, что японское правительство пошло на частичную уступку в вопросе о Сиаме, — под прямым ультиматумом Соед. Штатов и Англии. Уже 7 августа «Кокумин», орган военного командования, выдвинул требование смещения Тойоды, как неумеющего защищать национальное достоинство, а 10-го Толишус записал в свой дневник про решение, принятое подпольными группами, добиваться устранения влияния «умеренных» на правительство. Ни для кого не составляло тайны, как будет проведено в жизнь это постановление. По указанию Хиранума полиция производила аресты, но все мелких исполнителей. Прикоснуться к «вождям» полиция не рисковала, и один из них, Сэйго Накано, раздраженный арестами его людей, по телефону грозил Хирануме, что уже завтра его не будет в живых. Друзья и знакомые заранее выражали свое соболезнование...

14 августа к Хиранума явился незнакомый посетитель. Хотя он и был предупрежден, Хиранума принял незнакомца, и был им тяжело ранен двумя пулями. Незнакомец оказался бывшим офицером Мишийяма, 33 лет, членом «Черного Дракона». Император прислал специального делегата с выражением соболезнования и своих личных врачей для операции. Коноэ и многие из министров, сановников, промышленников и т. д. заехали лично. Более интересны были имена тех, кто соболезнования не выражал: в этой группе была едва ли не вся командная верхушка армии. Они уже не считали нужным скрывать, что их симпатии на стороне правых террористов.

Хиранума не умер (теперь он арестован в качестве одного из виновников войны), но из строя он выбыл на несколько недель. Для правительства это была незаменимая потеря. Оно продолжало делать попытки сговора с Америкой, но его руки были все более и более связаны армией, которая искала не компромисса с «англо-саксами», а возможностей надежнее обеспечить свой тыл для бескомпромиссной борьбы против них.

Такое обеспечение могло дать только соглашение с Советской Россией. Правда, Япония имела договор с нею, подписанный 13 апреля 1941 г., но она сама так недавно стояла совсем на грани его аннулирования, что не могла не стремиться проверить, намерена ли Россия его соблюдать.

С точки зрения военной, последняя, несмотря на свою войну против Германии, представлялась силой, которую нельзя было скидывать со счетов. Летом 1941 г. Япония держала на границах России и Внешней Монголии около миллиона штыков, т. е. целую половину своей тогдашней армии. Красная Армия на этих границах была едва ли не более многочисленной. Человеческие резервы у России в то время были настолько значительны, что в течении первых месяцев русско-германской войны, Красная Армия на Дальнем Востоке не только не была уменьшена, но скорее возросла. Значительной была и авиация. Кроме того нельзя было упускать из вида и русский флот. Правда, последний не мог и мечтать о настоящей борьбе против флота японского. Он был совсем иным по своей структуре: в нем не было не только больших дредноутов, но и крейсеров. Но за то в нем было много быстроходных миноносных катеров и особенно подводных лодок. Последние были малы по размерам: в 500-600 тонн, но радиус их действия был вполне достаточен для операций в пределах Японского моря, а количество настолько значительно (точное число их неизвестно, но по некоторым указаниям надо полагать, что их было около 250-300), что они могли внести весьма серьезное расстройство в сообщения Японии с Кореей и Манчжурией. А такое расстройство могло почти парализовать японскую промышленость.

Все это делало Советскую Россию противником, которого японская армия не могла скидывать со счетов даже осенью 1941 г., — в дни максимальных немецких успехов. Устранить возможность ее нападения для Японии, если она хотела итти на большую войну на юге, в конце 1941 г. было так же необходимо, как и в апреле того года, когда Мацуока подписывал свой договор со Сталиным. И Япония действительно повела эти переговоры, — правда, не японское официальное правительство Коноэ-Тойоды, а главным образом командование японских вооруженных сил. Но мы уже знаем, что это последнее было более властным хозяином японской политики, чем официальные ее руководители.

Два частных вопроса оставались неразрешенными после договора 13 апреля: с одной стороны, вопрос о нефтяных концессиях Японии на Северном Сахалине, и, с другой, о пограничных спорах между Манчжурией и Монголией. Вокруг них и шел спор.

Победы Германии на Западе изменили обстановку, и время апрельских бесед Сталина с Мацуокой, причем он закончился соглашением, в силу которого Япония обязалась в течении 6 месяцев вернуть эти концессии России. Срок этот истекал в середине октября, и между полпредом Сметаниным и официальным японским правительством по этому вопросу велись оживленные переговоры. 7 августа «А. Р.» сообщило из Токио о третьем свидании Сметанина с адмир. Мазако Саконджи, министром торговли и промышленности в 3-ем правительстве Коноэ. Этот Саконджи министром стал потому, что он был большим промышленным деятелем; в частности, он был и вице-председателем того самого акционерного общества, которое было собственником нефтяных концессий в русской части Сахалина. В той социально-политической борьбе, которая шла в 1940-41 гг. в Японии, Саконджи играл вполне определенную роль, выступая против «новых бюрократов» и «госхозяйственников». Он был человеком «старых трестов». Может быть, именно поэтому его переговоры со Сметаниным не привели ни к какому результату, и, несмотря на письменное обязательство Мацуоки, Япония вернуть концессии отказалась. В виду этого Сталин имел все права тогда же аннулировать соглашение 13 апреля в его целом, — он этого не сделал. Вопрос о концессиях был наново поставлен на обсуждение только зимой 1943-44 гг., когда концессии и были возвращены России.

Много более сложным был вопрос о манчжуро-монгольской границе, и история его разрешения представляет большой интерес для истории возникновения войны на Тихом океане.

Для установления этой границы, как уже было сказано в первой статье, еще в сентябре 1939 г., немедленно же после боев в районе Номонгана, была создана особая комиссия в составе представителей от СССР и Монгольской Народной Республики, с одной стороны, и от Японии и Манчжу-Го, с другой. Эта комиссия работала в течении нескольких месяцев, но без особого успеха, а 1 февраля 1940 г. «Тасс» опубликовал сообщение о прекращении ее работ в виду «выяснившейся полной противоположности» точек зрения сторон. Это было время, когда, с одной стороны, русско-финская война в

большой степени подорвала авторитет Красной Армии, и когда с другой, в Японии к власти пришло правительство адм. Ионай, стремившееся к соглашению с англо-американцами.

Победы Германии на Западе изменили обстановку, и 9 июня 1940 г. японский посол в Москве Шигенори Того заключил соглашение с Молотовым относительно возобновления работ комиссии. 3 августа комиссия приступила к работе, и уже 26 августа «Тасс» сообщил, что комиссией достигнуты «положительные результаты». Это было время, когда министром ин. дел Японии стал Мацуока и в Токио уже прибыл фон Штамер, личный эмиссар Гитлера для установления отношений с Японией, который по дороге в Токио имел в Москве подробные беседы о русско-японских отношениях и получил «принципиальное согласие» Сталина на сближение с Токио. Корреспондент «Юн. Пресс» из Токио, подтверждая 27 августа сообщение Тасса, пояснял, что в дипломатических кругах этому соглашению придают большое значение, так как оно, если будет достигнуто, устранит повод для длительных и острых пограничных конфликтов. Корреспондент прибавлял, что Япония уже сделала значительные уступки в районе Номонгана и готова на дополнительные уступки в других районах, потому что ее основной задачей, в виду ее вступления на путь южной экспансии, в областях Голландской Индии и Индо-Китая, теперь становится обеспечение безопасности своего северного фланга («Н. И. Таймс» от 27 авг. 40 г.).

Тем не менее сообщение Вильфр. Фляйшера («Вулканические острова») о достижении тогда окончательного соглашения по этому вопросу было неправильным: Мазао Маруйяма, подводя в декабре 1940 г. баланс русско-японским отношениям, вопрос о монголо-манчжурской границе ставил на первом месте среди частных вопросов, продолжающих играть роль яблока раздора между Россией и Японией (его статья в декабрском номере за 1940 г. журнала «Контемпорари Джапан», официоза японского министерства иностр. дел).

Трудность вопроса состояла в том, что вопрос о манчжуро-монгольской границе относился к области компетенции Квантунской армии, которая вела свою собственную внешнюю политику и для которой вопрос о границах у Номонгана был особенно болезнен, так как там потерпели крушение ее планы нападения на Россию. В 1940 г. эти планы и для нее не были актуальными, но она стремилась сохранять этот вопрос нерешенным для того, чтобы иметь возможность при изменившейся обстановке использовать его в качестве зацепки для развертывания конфликта. Сталин со своей стороны превосходно

понимал значение этого козыря: «обеспечение безопасности своего северного фланга» для японских стратегов было непременным условием возможности движения на юг, а это обеспечение было возможно только при достижении соглашения по вопросу о границах.

После московских переговоров Сталина с Мацуокой работы комиссии были еще раз возобновлены и продвигались очень успешно, но утверждение Д. Ю. Далина («Внешняя политика Совет. России», стр. 349) о том, что 17 июня 1941 г. по этому вопросу было достигнуто соглашение все же неверно; официозный советский обозреватель В. Аварин, — единственный из советских авторов, касавшийся в печати этой щекотливой темы, — пишет:

> «Вопрос об окончательном уточнении границы оставался нерешенным и в первой половине 1941 г. Затруднения в урегулировании советско-японских отношений не уменьшались. В японских военных кругах и среди капиталистов оказались весьма живучими те элементы, которые несмотря на все уроки, продолжали лелеять планы нападения на Советский Союз. Эти элементы все время оказывали известное влияние на политику токийского правительства» («Мировое хозяйство и мировая политика», 1944, № 12, стр. 63).

О том, когда вопрос этот был урегулирован, В. Аварин молчит, — и это молчание явно является результатом совершенно сознательного старания не вскрывать всей правды об этих переговорах, значение которых для истории японского нападения на Перль Гарбор в Москве превосходно понимают.

В действительности работы комиссии, прерванные нападением Гитлера на Россию, были вскоре возобновлены, и 21 августа токийские газеты сообщали о соглашении, которое по этому вопросу достигнуто, причем на этот раз уступчивость проявлял Советский Союз: это видно и из того факта, что на этот раз комиссия работала не в Чите, а в Синкинге, и из комментариев японской прессы, которая соглашение рассматривала в качестве доказательства готовности СССР признать курс политики Японии и Манчжу-Го («Н. И. Таймс» от 21 августа 41 г.).

Соглашение не было еще ратифицировано, и в печати вокруг него развертывался не лишенный интереса спор: «Асахи», орган сановных консерваторов, к которому был и лично близок тогдашний премьер Коноэ (в этой же газете

печатался и его предсмертный меморандум), приветствуя намеченное соглашение, настаивал, чтобы такое же соглашение было достигнуто и относительно всех остальных 3 тыс. миль совето-манчжурской границы. Это и были те самые «капиталисты», о которых пишет Аварин: планов нападения они не лелеяли, но положение использовать стремились для получения наиболее выгодных для Японии условий пограничного размежевания. В другую сторону смотрел «Кокумин», — орган военной верхушки, готовившей тогда агрессию на юг. Статья этой последней газеты — это попытка уговорить Сталина не попадаться в «англо-американскую ловушку» и не примыкать к политике «окружения» Японии. Самое лучшее, — советывали политические генералы из «Кокумин», — заключать с Германией сепаратный мир.

В таком неопределенном положении дело с пограничными спорами оставалось еще почти 2 месяца. Окончательно утверждено соглашение было только **15 октября 1941 г.** Значение этой даты будет видно из дальнейшего, — официально же распубликовано оно было только еще через 7 месяцев и при том только в официальных органах—Монгольской Народной Республики, выходившем в Улан-Батор, и Манчжу-Го, выходившем в Синкинге; в советской печати о нем не появилось ни слова, — хотя «Мировое хозяйство и мировая политика» обязана регистрировать все официальные акты советской внешней политики. О нем известно стало только в результате болтливости японского официозного телеграфного агентства Домей, сообщение которого перехватил «Ас. Пресс» и включил в свой бюллетень от 15 мая 1942 г. Только много позднее, упоминание о нем проникло и в советскую печать (см. сборинк «Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны», т. 1, 1944, стр. 474).

Так был ликвидирован вопрос, который в течении долгого времени вносил острые осложнения в русско-японские отношения.

Значение этой даты, — 15 октября 41 г., — мы правильно поймем, если вернемся к общей борьбе вокруг правительства Коноэ и его политики.

Выстрелы в Хирануму отнюдь не были завершением списка террористических актов, совершенных военно-фашистскими группами. Полиция производила не мало арестов, но они были еще более беспорядочны, еще менее достигали цели,

чем аресты, которыми руководил сам Хиранума, лучше других осведомленный о внутренней жизни террористических групп, так как еще недавно сам был тесно с ними связан. Япония была полна слухов о более крупных выступлениях, когда должны истребить большую часть членов правительства. Коноэ жил под постоянной охраной и около его загородного дома несколько раз арестовывали подозрительных людей с оружием.

Дело было не в молодых фанатиках, среди которых всегда можно было найти сотни людей, готовых поставить на карту свою жизнь. Важнее были лица, дергавшие нити из-за кулис, а до них добраться полиция была бессильна. Люди «Черного Дракона» и аналогичных групп имелись повсюду. Министры боялись откровенно высказываться на заседаниях совета министров, так как было известно, что их речи на самых секретных совещаниях становятся известными в военно-фашистских организациях и ставятся им в счет.

Несколько неожиданный свет на эту сторону деятельности военно-фашистских групп бросили разоблачения, проникшие в печать в связи с арестом Рихарда Зорге, — того самого немецкого журналиста, который дружбу с немецким послом совмещал с секретной работой для Москвы: оказалось, что он поддерживал близкие связи с некоторыми террористическими группами. При том случае вспоминали о таинственных телефонных звонках из немецкого посольства, которые доказывали, что в этом посольстве о покушении на Хирануму знали раньше, чем это покушение состоялось. Был арестован и личный секретарь г. Отта, состоявший в большой дружбе с Р. Зорге, но печатание этих разоблачений было быстро оборвано: слишком многие были заинтересованы в том, чтобы правда о сложной игре военно-фашистских групп не была вскрыта. Надо надеяться, что теперь история эта будет освещена более подробно, — и мир узнает, что правда, а что вымысел во всех этих рассказах, которые показывают, что действительность порою плетет более затейливые узоры, чем самая буйная фантазия авторов полицейских романов.

Эта атака террористов шла на фоне ускоренным темпом проводившейся политической мобилизации сил сторонников похода на юг. Блок агрессоров-тоталитаристов, который с таким успехом начал сколачивать еще Мацуока, но который дал трещины после 22 июня, был восстановлен — правда, теперь без Мацуоки на ведущих ролях. Ведущую роль играла только что созданная «Лига для создания великой восточно-азиатской области взаимного процветания», — с самого на-

чала построенная на широкую ногу: она имела 1000 директоров, 1000 советников и т. д., — всего 5 тыс. одних только высших чиновников, конечно, щедро оплачиваемых за счет государства. Масштаб был грандиозный, но ведь грандиозны были и задачи, которые ставились перед Лигой: она готовила кадры администраторов для управления всей «великой восточно-азиатской областью взаимного процветания». А под крылышком этой Лиги выступали всевозможные организации для «освобождения» Индии, Филиппин, Сиама, Индо-Китая, Индонезии и т. д., с участием «ультра-революционных» представителей всех этих стран, ежедневно и в печати, и на всевозможных собраниях громивших алчный британский, голландский, американский и пр. империализмы. Все они свою работу вели на японские деньги, и всеми ими руководил «Черный Дракон», дергая нужные ниточки из-за кулис... Имена некоторых из них за последнее время стали снова мелькать в печати в качестве героев «анти-капиталистических» движений на Дальнем Востоке!

Все эти люди, и лично заинтересованные в походе на юг, на всех противников этого похода смотрели, как на людей, намеревающихся их ограбить. С явным раздражением воспринимались голоса, шедшие даже из вполне «своего» лагеря. Когда ген. Садао Араки, еще недавно вдохновитель всего военно-фашистского движения, выступил в «Кокумин» (от 19 августа) со статьей, в которой говорил об «опасности с севера» и доказывал, что прежде движения на юг, надо свести старые счеты с Советской Россией, то его призыв не только не встретил сочувственного отклика, но вызвал прямое раздражение.

Настроения подавляющей массы и всего большого блока агрессоров-тоталитаристов, и особенно его боевого авангарда, военно-фашистской молодежи, точнее всего выражала газета «Хочи», и тем, кто выясняет теперь вопрос о действительных виновниках войны в Японии, следует пристальнее разобраться в том, куда тянутся нити политических связей ее руководителей. Толишус регистрирует слухи, которые в свое время циркулировали по Токио, о помощи этой газете из немецкого посольства. Но по переменам в ее позиции правильнее будет полагать, что если немецкий посол г. Отт и был причастен к субсидированию газеты, то сношения с газетой он поддерживал вернее всего не непосредственно, а через своего интимного друга, Рихарда Зорге, или через своего личного секретаря, который был арестован вместе с Зорге. Политическая

линия газеты, во всяком случае, в эти месяцы была, как нельзя более выгодна не для Берлина.

Газета эта с давних пор, еще до первой мировой войны, выступала в качестве сторонницы японо-русского сближения, защищая интересы определенной группы японской буржуазии. Эту ориентацию она пронесла сквозь все передряги последующих десятилетий, постепенно врабатывая ее в кадры большой «пан-азиатской» концепции борьбы за освобождение Азии от гнета «англо-саксов». В ее редакции с начала 1920 г. видную роль играли японские геополитики, многому научившиеся у геополитиков немецких и ставшие горячими пропагандистами идеи большого японо-русско-немецкого блока. В этих условиях понятно, что в Японии не было более восторженных поклонников пакта 13 апреля 1941 г., чем редактора этой газеты. Тем сильнее их огорчило нападение Гитлера на Россию. Но за Мацуокой в этот момент они не пошли, а после некоторого колебания стали выступать с призывами не обращать внимания на русско-немецкую войну, не менять из за нее политики Японии, а продолжать начатое наступление на юг (напр., № от 6 июля).

Вскоре после этого газета постепенно вырабатывает новую политическую линию, которой суждено было сыграть значительную роль во всей последующей политике Японии, — линию, которую газета любила называть независимой национальной политикой. Особенностью этой линии было сочетание проповеди немедленного же движения на юг, против «англо-саксов», с двусторонними призывами заключать компромиссный мир, обращенными и к Германии, и к России. Газета то заклинает Сталина, призывая его не попадаться в ловушку, расставляемую коварными «англо-саксами», которые хотят завлечь его в ряды проводников «политики окружения» Японии, то умоляет Гитлера понять невозможность и нежелательность постановки «тотальной цели» в войне против России и ввести эту войну в рамки борьбы за «ограниченные задачи». Если даже, — доказывала газета, — Гитлер и имел основания опасаться России, считая, что она вынашивает планы будущего нападения на Германию, то после разгромов на фронте в течении первых месяцев войны эта опасность перестала существовать, и теперь самое подходящее время для заключения такого компромиссного мира, который гарантировал бы полный переход России в лагерь «оси» и дал бы последней возможность все свои силы сосредоточить на борьбе против главного врага, — против «англо-саксов».

Японии при этом отводилась весьма значительная роль.

— роль не только посредника в ликвидации «братоубийственной» русско-немецкой войны, не только «честного маклера» в деле выработки условий мира, но и подлинного вдохновителя восстановленного блока в его основном деле: в борьбе против Англии и Америки. Газета сознавала, насколько трудна эта задача, какого напряжения всех сил и какой исключительной политической ловкости она потребует от Японии, и потому мечтала о национальном вожде, который был бы, подобно Гитлеру (от методов его дипломатии газета тогда была в восторге), «богоподобным в своих рассчетах и равным демону в их проведении в жизнь»...

«Демонов» крупного масштаба в Японии не нашлось, но «мелкие бесы» и «бесенята», желавшие выставить свою кандидатуру на эту роль, имелись в изобилии.

Вайолет С. Хэвен в своей книге об «Японских джентельменах» передает, что в конце августа 1941 г. в Токио состоялось совещание вождей «Черного Дракона» и что ген. Тоджо, тогда военный министр, 26 августа на этом совещании развил подробную программу войны против Америки и Англии, которую «Черный Дракон» и одобрил. Источников, откуда она почерпнула это сообщение, г-жа Хэвен не приводит; других указаний об этом совещании автору этих строк найти не удалось; но косвенных данных, подтверждающих политическую правдоподобность этого сообщения, имеется больше, чем достаточно. Мы знаем, что 29 августа старый вождь «Черного Дракона», М. Тойяма, открыто выступил с требованием смены правительства и удаления из него людей, находящихся под «иностранным влиянием», а внутри правительства около этого же времени представители армии и флота начали вполне конкретно говорить о необходимости язык дипломатических переговоров с Америкой заменить языком пушек.

Коноэ, который к середине августа понял, в какой безнадежный тупик его завела политика захвата Индо-Китая и как близко надвинулась угроза войны с Америкой, начал делать попытки выправить положение. В центре его планов теперь становится план личной встречи с Рузвельтом — для того, чтобы устранить взаимные недоразумения, как пишет он в своем посмертном меморандуме. Представители армии высказались против этого плана, но своего вето на него не наложили (по своеобразной японской конституции они имели эту возможность), а только поставили ряд условий, выполне-

ние которых необходимо должно было повести к крушению всего плана. Переговоры теперь возобновлялись в обстановке, когда шансы на удачу почти совершенно отсутствовали. Политика армии носила явно провокационный характер: она стремилась сорвать изнутри мирную попытку правительства, чтобы скомпрометировать последнее и сделать неизбежной последующую передачу власти в руки армии.

Около этого же времени (Коноэ, из меморандума которого заимствуются последующие данные, к сожалению, не приводит точной даты, — во всяком случае ее нет в передаче «Н. И. Таймс», 27 дек. 45 г.), на совещании во дворце императора разыгралась сцена, показывающая, что главным препятствием на пути армии к власти и войне теперь стал лично император Хирохито. Этот последний на совещании с министрами и начальниками штабов армии и флота поставил вопрос перед маршалом Сугийяма, тогдашним начальником штаба армии:

«Если разразится война между Японией и Америкой, сколько, по Вашему мнению, понадобится времени, чтобы довести ее до конца?»

— Поскольку речь идет о южных областях, — ответил Сугийяма, — мы можем рассчитывать на окончание в течении трех месяцев.

«Когда разразился китайский инцидент, — продолжал император, — Вы были военным министром. Мне вспоминается, что тогда Вы говорили, что инцидент может быть урегулирован в течении приблизительно одного месяца. Инцидент длится четыре года и до сих пор все еще не урегулирован».

«Смущенный Сугийяма, — пишет Коноэ, — начал давать растянутые объяснения, говоря об огромных пространствах Китая и утверждая, что операции велись не так, как было намечено в планах, — но император, повысив голос, заявил:

«Тихий океан больше, чем даже Китай. Какие у Вас основания, чтобы говорить о трех месяцах?»

«Бессильный ответить, начальник штаба низко склонился... В этот момент вмешался начальник штаба флота, адмирал Осами Нагано (автор плана нападения на Перль Гарбор. **Б. Н.**), сравнивший японо-американские отношения с инвалидом, которому может помочь операция. «Как раз теперь, — заявил он, — мы должны решить, нужна ли операция».

На этот раз, под прямым давлением императора, верховное командование уступило, и на ближайшем заседании имперской конференции представитель командования, адм. Накано, официально заявил, что оно признает примат дипломатии

над войной. Но закулисная подготовка к перевороту продолжалась, и, как регистрирует Толишус, появились слухи, шедшие из военно-фашистских кругов, о необходимости отправить императора, если он будет сопротивляться войне, в Киото. Киото, старая столица Японии, была известна тем, что в ее дворце жили в заточении императоры Японии в период военно-феодальной диктатуры сиогунов. Для Хирохито, за его сопротивление войне, подготовляли такую же судьбу.

***

В Вашингтоне новые предложения Коноэ были встречены без большого энтузиазма: за последнее время из Токио приходило так много предложений и их так часто меняли (неизменно в худшую сторону), что недоверие к искренности японской дипломатии не могло не окрепнуть у всех, кто имел с ней дело. Вашингтон и его представители в Токио превосходно понимали, что в Японии существуют разные группы, которые по разному смотрят на задачи японской политики в отношении Америки, и знали, насколько сильна группировка сторонников войны. Изменение японской политики им казалась обязательным предварительным условием возможности прочного соглашения. Именно в этом смысле ответил Кордел Холл, когда он впервые ознакомился с предложениями Коноэ. Рузвельт, перенявший дело в свои руки, несколько уточнил этот ответ: он подчеркивал свое согласие с теми основными идеями (стремление к мирному улаживанию всех спорных вопросов), которые были формулированы в письме Коноэ, но указывал на существование «в известных частях Японии» совершенно иных настроений, которые не могут не создать препятствий для успешного сотрудничества, и предлагал предварительно сговориться о принципиальных основах будущего соглашения (ответ Рузвельта, переданный японскому послу Намуре 3 сент. 41 г.). Эту линию Вашингтон последовательно проводил и на всем протяжении дальнейших переговоров.

Таким образом стратегическая задача американской политики была определена вполне точно: подчеркивая готовность считаться со справедливыми пожеланиями Японии, в то же время так вести предварительные переговоры, чтобы те силы внутри Японии, которые действительно стремятся к мирному соглашению, могли в позиции Америки находить поддержку для своей борьбы против сил, стремящихся к агрессии во что бы то ни стало. С этими последними силами политика Вашинг-

тона не допускала никакого соглашения, никакого компромисса.

Совершенно иную стратегическую задачу ставила политика советского правительства. Отношения между Советским Союзом и Японией за этот период (от нападения Гитлера на Россию до Перль Гарбора) в литературе вообще освещены очень слабо. Официальное советское издание «Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной Войны» (т. 1:22 июня 1941 г. — 31 дек. 1943 г.) для совето-японских отношений указанного периода дает только одно сообщение Нар. Ком. Иностр. Дел и три «опровержения» ТАСС'а; очень скудны и официальные японские материалы, поскольку они известны в американской литературе. Тем не менее основную линию политики Сталина в его тогдашних отношениях с Японией можно наметить с полной точностью.

Первые недели после 22 июня, пока министром оставался Мацуока, в поведении Москвы можно было уловить некоторую нервность, но и тогда основная линия этого поведения оставалась ясной: нападение Гитлера не вносит никаких перемен в совето-японские отношения, как они определены соглашением 13 апреля 1941 г. Именно это соглашение твердо и бесповоротно определяет отношения двух стран, и оно ни в какой мере не связано с соглашениями, которые разорваны нападением Гитлера. После смены японского правительства впервые с заявлением в этом же смысле выступает и официальное японское агентство Домей, опубликовавшее 8 августа сообщение, что «вопреки различным слухам, в совето-японских отношениях не произошло изменений со времени подписания совето-японского пакта о нейтралитете».

Протесты японского правительства по поводу провоза бензина и других продуктов из Америки в дальне-восточные порты Советского Союза, повидимому, не носили ни ультимативного, ни вообще твердого характера. Ответ на них дал Молотов 25 августа, заявив, что он «не видит оснований для какого-либо беспокойства Японии», так как бензин и другие материалы нужны России для потребностей войны на Западном фронте и для мирного строительства на Востоке; всякий акт, направленный против этих перевозок, совтеское правительство обещало рассматривать, как «недружелюбный» («Внеш. Политика», стр. 140).

В то же самое время советское правительство пользовалось всяким поводом, чтобы подтверждать свою полную лояльность в отношении пакта Сталин-Мацуока; так, отвечая ген. Араки, который выступил в «Кокумин» с воспоминаниями

о совето-японской борьбе 1918-21 гг., Лозовский в официальном сообщении на конференции с представителями печати, заявил:

> «Исторические воспоминания г. Араки, может быть, делают честь его памяти, но они не делают чести его пониманию международной обстановки вообще и взаимоотношений, сложившихся между Японией и Советским Союзом в последний период на основе пакта о нейтралитете от 13 апреля 1941 г. Нельзя ничего иметь против исторических воспоминаний даже тогда, когда этим делом занимаются генералы и бывшие министры, но хотелось бы, чтобы высокопоставленные авторы, вспоминая о прошлом, не забывали о настоящем и будущем своей собственной страны» («Известия» от 20 авг.).

Но совето-японский договор 13 апреля для военно-фашистских кругов Японии был необходим, так как он прикрывал их северный фланг и делал возможной агрессию на юг, не опасаясь удара в тыл. Сталин это знал и сознательно на это шел. Как и Рузвельт, он знал о существовании в Японии различных групп, проводивших различную внешнюю политику, но ориентировался на поддержку не тех групп, которые были вообще против всякой войны, а на соглашение с теми группами, которые были за ту форму агрессии, которая уводила войну от границ Советского Союза.

Если б Япония с обеих сторон, — и со стороны Соед. Штатов, и со стороны Советского Союза, — была поставлена перед тем ультиматумом, который ей ставил Рузвельт, то едва ли можно сомневаться, что военно-фашистские агрессоры не смогли бы одержать победу в борьбе за власть, которая разыгрывалась внутри правительства и в императорском дворце. Все, что нам теперь известно о японских группировках, подтверждает этот вывод. При наличии же указанного основного расхождения между политикой Рузвельта и политикой Сталина результаты этой борьбы были предопределены в совсем ином направлении.

По японской печати, — даже в тех цитатах из нее, которые давала пресса американская, — можно проследить, как одна за другой отказывались от своего сопротивления те военные группы, которые по традиции были противниками со-

глашения с Москвой. Повидимому, дольше других сопротивлялось командование шанхайской группы: очень похоже, что соглашение с Москвой в то время было как то связано с отказом от больших наступательных операций не только против китайских коммунистов, но и против Чан Кай-шека, а это срывало всю политику Хонды, японского посла в Нанкине, определявшего политическую линию японских армий в Южном Китае.

Та же японская печать позволяет разобраться и в другой стороне эволюции политической линии японского командования: вместо давления немцев, которые в июне-июле требовали активного выступления Японии против Советской России, теперь все более и более заметным становится давление Японии, которая требует от Гитлера отказа от борьбы на уничтожение против Сталина и перехода к общей борьбе против «англо-саксов». Выступления «Хочи» становятся все более и более настойчивыми, и «Хочи» перестает быть одинокой. Доклад немецкого военного атташе, полк. Кречмера, который был сделан 12 или 13 сент. на большом фашистском собрании, был, по существу, публичным обязательством немецкого командования не задерживаться слишком долго в русских степях, а в ближайшем же будущем перейти к борьбе против Англии. Как видно из материалов американской секретной службы, оглашенных в комиссии Конгресса для расследования событий в Перль Гарборе, германское командование действительно принимало соответствующие меры: уже 11 сент. 41 г. из Берна поступило сообщение, что немецкое командование сосредоточивает большие резервы в Майнце, Карлсруэ, Страсбурге и т. д. и соответствующим образом их тренирует. Эти резервы должны были влиться в армию Роммеля, который должен был начать большое наступление в Африке одновременно со вступлением Японии в войну («Н. И. Таймс» от 29 ноября 45 г.). Японское командование энергично настаивало на возвращении к тем планам войны, которые были намечены в марте-апреле 41 г., во время пребывания Мацуоки в Германии.

Политика «Черного Дракона» побеждала, — можно было брать власть в свои руки.

Последний толчек был дан решением Америки, Англии и Голландии закрыть вывоз нефти и бензина в Японию. Это закрытие было, действительно, тяжелым ударом: жидкое топливо — необходимое условие для современной войны; своей нефти Япония имела мало; нефть с советского Сахалина продолжала поступать, но и ее количество было недостаточно.

Япония стояла перед выбором: или честно пойти на сговор с Вашингтоном, расправившись для этого с военно-фашистскими авантюристами, или пойти на войну против Америки, обезопасив свой северный фланг какой то формой подтверждения договора 13 апреля 1941 г. Армия выбрала последнее.

В Токио известие о закрытии вывоза нефти пришло 10 октября. 12 октября, — это был день 50-летия Коноэ, — на квартире последнего состоялось небольшое совещание. Министр иностранных дел адм.-инж. Тойода, сторонник соглашения с Вашингтоном, доказывал, что соглашение осуществимо, если армия согласится на вывод войск из оккупированного Китая. Военный министр категорически отклонил эту мысль: оккупация абсолютно необходима для армии.

14 октября состоялось собрание совета министров. Перед заседанием произошла резкая стычка между Коноэ и ген. Тоджо, который требовал объявления войны Америке. Коноэ отказался; на официальном заседании вопрос не был даже поставлен, но Коноэ решил уйти, так как бороться против армии он не чувствовал себя в силах. 16-го об отставке его было сообщено в печати. 18-го было сформировано правительство ген. Тоджо. В состав его не вошел ни один из представителей тех социальных групп старой Японии, которые были главной опорой Коноэ, — ни представители крупных трестов и финансовой олигархии, ни представители крупного землевладения, ни «старые сановники». Но за то в качестве ведущей группы в него вошли все главные деятели «манчжурской банды», строившие государственное хозяйство в этой стране, во главе с тем Наоки Хошино, который осенью 1940 г. разработал план «Новой Экономической Структуры» Японии. Блок тоталитарных госхозяйственников вместе с тоталитаристскими элементами армии — такова была социальная база правительства Тоджо, правительства войны против «англо-саксов». Политическая проблема подготовки страны к войне в этот момент была уже решена, оставалась только техника ее осуществления. Император, если б он попытался сопротивляться, как тогда открыто говорили в Токио, был бы немедленно арестован...

Б. Николаевский

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ И. П. ПАВЛОВА

(Главы из биографии)

I.

По своим политическим взглядам Павлов, в течение всей своей долгой жизни, был умеренным либералом. В его лаборатории (до 1914 г.), через которую прошло так много людей с самыми разнообразными политическими взглядами, конечно, нередко велись разговоры на политические злобы дня. В особенности горячо обсуждались события Русско-Японской войны и первой революции 1904-1905 гг. Нередко Павлов принимал участие в этих разговорах или спорах и всегда высказывал умеренные либеральные взгляды. Он одинаково отрицательно относился и к крайним правым и к крайним левым течениям. В качестве примера может служить его отношение к одной из самых влиятельных русских газет той эпохи — «Новое Время».

С 1902 г., т. е. с того времени, когда я вступил в его лабораторию и до 1905 г., Павлов «Нового Времени» не читал. Мало того, когда читальня Института Экспериментальной Медицины устраивала ежегодный референдум для выписки газет среди работавших в Институте, Павлов отговаривал подавать голос за «Новое Время», тех из своих сотрудников которые были склонны это сделать. Однако после 1905 года, Павлов стал читать «Новое Время», иногда бранился, но читал, предпочитая умеренное направление Суворина, ставшего теперь конституционалистом и сильно умерившего свой антисемитизм, более радикальным воззрениям левых газет.

Когда в августе 1905 г. был обнародован декрет о совещательной, так называемой, Булыгинской Государственной Думе, Павлов говорил, что на первых порах такого парламента для России достаточно.

В тревожные осенние дни 1905 г. в разных кругах Петербурга шли политические совещания. Одна группа профессоров собиралась, если не ошибаюсь, у профессора Баумана. Павлов был приглашен к участию в этих совещаниях, но скоро перестал ходить на них, хотя по всей вероятности, левее

кадетов там никого не было. В разговоре со мною (я приезжал тогда в Петербург из заграничной командировки на Рождество) он сказал, что считает свое участие в этих совещаниях бесполезным, так как это все «мечтатели», как он выразился.

Русско-Японскую войну 1904-1905 года Павлов переживал крайне тяжело. Проф. Л. А. Орбели пишет во введении к полному собранию трудов И. П. Павлова, что, в связи с катастрофическими неудачами этой несчастной войны, Павлов говорил: «Нет, только революция может спасти Россию. Правительство, которое довело страну до такого позора, должно быть свергнуто». Когда, наконец, в октябре 1905 года упорство реакционных кругов было сломлено и Россия получила Государственную Думу, Павлов принял это, как несомненный шаг вперед в политическом развитии России. Однако и после 17 октября 1905 г. он продолжал относиться критически к попыткам «мечтателей», хотевших сразу скакнуть от безграничного самодержавия, к которому он относился не менее отрицательно, чем они, к ответственному министерству, или даже республике. Он не примкнул ни к одной из политических партий, но его политические воззрения в общих чертах были сродни воззрениям лучших представителей партии Октябристов.

Не думаю, чтобы Павлов приветствовал очень радостно февральскую революцию 1917 г. Но как истинный патриот и свободолюбивый человек, он не мог не скорбеть по поводу дезорганизации, скорее даже развала, правительства во время войны и не возмущаться его незакономерными действиями. Следующий эпизод свидетельствует об этом.

В течение всей зимы 1916-1917 г. Императорское Правительство делало всякие препятствия к созыву первого всероссийского съезда физиологов, который должен был собраться в Петербурге. Министерство Внутренних Дел, во главе которого тогда стоял Протопопов, боялось всяких демонстраций и даже того, что съезд физиологов может превратиться в политический митинг. Отсюда произошли совершенно нелепые ограничения в чисто научной сфере деятельности съезда в роде того, что градоначальник брал на себя роль цензора физиологических докладов. Наконец, на Пасху 1917 г. съезд был разрешен. Однако, Павлов не мог принять в нем участие, так как лежал в постели с переломом бедра. В виду невозможности открыть съезд лично, он прислал письмо:

«Мы только что расстались с мрачным, гнетущим временем. Довольно вам сказать, что этот наш съезд не был разре-

шен к Рождеству и допущен на Пасхе лишь под расписку членов Организационного Комитета, что на съезде не будет никаких политических резолюций. Этого мало. За два-три дня до нашей революции окончательное разрешение последовало с обязательством накануне представлять тезисы научных докладов градоначальнику. Слава Богу, это уже прошлое, и, будем надеяться, безвозвратное».

Время перед февральской революцией, было, действительно «мрачное» и «гнетущее». Чувствовалось, что жизнь страны, осложненная войной, затянулась в узел, распутать который никаким градоначальникам не удалось бы. Только совершенно радикальная перемена правительственной политики могла бы предотвратить революцию, при условии, что общественные круги и политические партии пошли бы на разумный компромисс. Но ни того, ни другого не было сделано. Великая империя рухнула и погребла под своими обломками не только то, что мешало ее развитию, но и то, что сделало ее великой. Только через двадцать с лишком лет новая власть, которая с особой энергией в начале разрушала устои русского государства, начала робко выкапывать из-под этих обломков традиции, деяния и героев великого прошлого великой страны.

Знаменательная последняя фраза в письме Павлова: «Слава Богу, это уже прошлое и, будем надеяться, безвозвратное». Боялся-ли Павлов, что реакционные силы снова возьмут верх или был Павлов уверен, что Россия после февральской революции вышла на дорогу свободного демократического развития? Если был уверен, то незачем было надеяться, что мрачные и гнетущие времена не вернутся. У меня есть не мало оснований думать, что Павлов переживал мучительную тревогу за судьбы своей родины. Вот несколько фактов, указывающих на это.

Еще задолго до революции 1917 г., вероятно, около 1910 года, как-то зашел в лабораторию Института Экспериментальной Медицины проф. С. С. Салазкин. Он начал утверждать, что жизнь под Столыпинским режимом невыносима и что нужна вторая революция, чтобы навсегда покончить с императорским режимом. Завязался спор, в котором горячее участие приняли В. В. Савич и я. Мы оба, хотя и были убежденными конституционалистами, по своим убеждениям стояли несколько правее кадетской партии, к которой принадлежал Салазкин. Мы утверждали, что для России довольно и одной революции 1905 года и что с такой Думой, какая тогда была, можно только желать, чтобы Россия просуществовала 25 лет,

а там можно будет подумать и об ответственном министерстве и о других переменах. Павлов слушал нас одобрительно, а с Салазкиным, несомненно, не соглашался. В заключение он сказал, что если в России будет еще одна революция, то Россия погибнет.

Мое второе наблюдение относится к более позднему времени. В своей публичной лекции «Об уме вообще и о русском уме в частности», которую Павлов читал уже после большевистского переворота, он нарочито подчеркнул важность баланса между консерватизмом, осуществлявшимся в русской жизни императорским режимом, и новыми либеральными и даже радикальными течениями, взявшими верх после февральской и, в особенности, после октябрьской революции 1917 г. Никакой симпатии к действиям большевистской власти Павлов тогда не проявлял и говорил он так смело и открыто, что многие из нас искренно беспокоились относительно его личной безопасности.

Идеалом политической организации для Павлова был Англия, где так замечательно сочеталась монархическая власть с властью народа и с личной свободой. Если бы Павлов был англичанином, то он, вероятно, был-бы либералом, но не трудовиком.

К представителям императорской власти, кроме минутного раздражения, вызванного тем или иным их действием, не соответствовавшим политическим взглядам Павлова, никакой злобы или вражды он не питал. Говоря о реакции, наступившей в царствование Александра III, Павлов часто повторял: «Мы сами ее создали. Мы, молодежь 70 и 80-х годов, да и не только молодежь, буквально, травили Александра II. Другого имени для него не было, как «пуганая ворона» (в связи с покушением на его жизнь), пока это безумие не привело к 1-му марта». Но уже и в эту отдаленную эпоху, Павлов, проявлял умеренность. Он говорил, что в осуждении действий Александра II он не мог следовать за крайними левыми.

Как-то, в бытность Павлова в Монтреале (в 1929 г.) я спросил его, верно-ли то, что памятник Александру III, работы Трубецкого, на Знаменской площади в Петербурге не был разрушен большевиками, но что на его пьедестале, как мне говорили, была высечена надпись: «Стоит комод, на комоде бегемот, а на бегемоте сидит идиот». Павлов ответил мне: «Я не знаю» и подумав немного сказал: «Это было бы крайне несправедливо». Павлов должен был в известной мере ценить Александра III. Несмотря на реакционную политику этого государя, он был первым среди правителей России, который

понял, что немцы не друзья, а враги России. Больше, чем кто-либо из его предшественников, Александр III способствовал освобождению русской жизни из-под немецкого влияния и поощрял русскую национальную культуру. За его патриотизм, Павлов прощал многое Александру III, потому что сам любил и верил в Россию.

Даже несчастный и безличный Николай II, которого трудно было любить, или уважать, вызывал в Павлове чувство симпатии. Павлов рассказывал мне сам, что одно время, когда советские власти за ним особенно ухаживали, они присылали ему экипаж, запряженный лошадьми из бывших придворных конюшен. Ежедневно его отвозили от дверей его квартиры на 7-ой Линии Васильевского Острова в Институт Экспериментальной Медицины, находившийся на Аптекарском Острове. Всегда приезжал один и тот-же кучер и между Павловым и ним завязались дружеские разговоры. Кучер говорил, как изменились времена и какие люди теперь стали грубые и жестокие. А вот, мол, покойный Государь всегда, бывало, скажет ласковое слово или улыбнется даже такому маленькому человеку, как кучер. Кончая рассказ, Павлов добавил от себя: «Повидимому, Государь был, действительно, милый человек».

Еще в 1929 г. Павлов, гостивший тогда у нас в Монтреале, говорил, что он совершенно не понимает, как многие из его знакомых в Петербурге могут шутить, веселиться и искать развлечений, когда кругом творятся в России такая неправда и насилие.

Умеренный либерализм, как политическое credo, проходит красною нитью через всю жизнь Павлова. Он твердо шел по определенной средней дороге, делая выводы, когда это было нужно, направо или налево, борясь за законность, свободу мысли и слова и за человеческое достоинство. Но за три-четыре года до своей смерти, т. е. около 1932-1933 года он, как будто-бы, изменил убеждениям всей своей жизни и оправдал то, против чего так решительно восставал до того.

В чем-же дело?

II.

Павлов встретил большевистскую революцию, как величайшее несчастье для России. Он не стеснялся говорить об этом, как в частных разговорах, так и публично. Известны его слова, сказанные им на одной из вступительных лекций к курсу физиологии студентам Военно-Медицинской Акаде-

мии, а потом повторенные им на публичной лекции в Тенишевском Училище: «если то, что делают большевики с Россией есть эксперимент, то для такого эксперимента он пожалел бы дать даже лягушку».

Я видел Павлова в России в последний раз летом 1918 г. (заграницей мы встречались в 1923 и 1929 гг.). Поэтому я не имею возможности представить во всей полноте и обосновать фактическими данными отношение Павлова к большевистскому режиму в течение тех 18 лет, которые он прожил еще после этого. Но, несомненно, что это отношение подверглось эволюции. Под конец своей жизни Павлов относился много более терпимо к советской власти, чем в начале.

Первый, отрицательный период отношения Павлова к большевикам, охватывающий приблизительно 16 лет (с 1917 по 1933 г.), вероятно, очень долго, а может быть и никогда не найдет своего историка. Люди, жившие одновременно с Павловым в Советской России и продолжающие сейчас жить там, не смогут по разным причинам писать о том, как Павлов реагировал на действия большевиков. Второй, короткий период более положительного отношения Павлова к Советской власти (приблизительно от 1933 до его смерти 1936 г.) уже в настоящее время чрезвычайно переоценивается писателями и учеными (напр. проф. Л. А. Орбели), живущими в Советской России.

Главным документальным доказательством того, что Павлов изменил свое отношение к советскому социалистическому эксперименту, для которого он раньше не хотел пожертвовать даже лягушки, служит речь Павлова, произнесенная им на приеме Советским Правительством делегации XV Международного Конгресса Физиологов 17-го августа 1935 года в Большом Кремлевском Дворце в Москве. Павлов говорил:

«Вы слышали и видели, какое исключительно благоприятное положение занимает в моем отечестве наука. Сложившиеся у нас отношения между государственной властью и наукой я хочу иллюстрировать только примером: мы, руководители научных учреждений, находимся прямо в тревоге и беспокойстве по поводу того, будем ли мы в состоянии оправдать все те средства, которые нам предоставляет правительство. Как вы знаете, я экспериментатор с головы до ног. Вся моя жизнь состояла из экспериментов. Наше правительство тоже экспериментатор, только несравненно более высокой категории. Я страстно желаю жить, чтобы увидеть завершение этого исторического социального эксперимента» (под бурные апплодисменты присутствующих И. П. Павлов про-

возглашает тост за «великих социальных экспериментаторов»).

Как объяснить такую радикальную перемену в отношении Павлова к Советскому режиму? Попытаемся разобраться в этом сложном вопросе с наибольшей возможной объективностью.

Свидетельствует-ли эта речь Павлова о действительном изменении всех тех убеждений, которыми он жил в течение 82 лет? Не было-ли каких-либо иных мотивов, которые заставили Павлова в таком позднем возрасте отнестись одобрительно к попыткам большевиков, путем революции, изменить в корне социальный строй России, против чего он боролся открыто до тех пор?

Совершенно невероятно то, что Павлов изменил свой отрицательный взгляд на революции вообще, с их эксцессами. Он сам заявил в предисловии к «Двадцатилетнему опыту», что войны и революции воспроизводят «межживотные отношения». Даже лишение жизни животного в лаборатории с чисто научною целью, т. е. для пользы человечества, вызывало в Павлове острый протест и принималось им, как неизбежная, но тяжелая необходимость. Он писал по поводу вивисекции в 1904 г.: «Когда я режу, разрушаю живое животное, я слышу в себе едкий упрек, что грубой невежественной рукой ломаю невыразимо-художественный механизм. Но переношу это в интересе истины, для пользы людям»*). Неужели-же в интересе некой истины, верность которой еще надо доказать, можно принести в жертву тысячи и тысячи, не собак и кроликов, а людей?

Еще 28 сентября 1929 г., т. е. за четыре года до того, как Павлов переменил свое отношение к большевикам и за шесть лет до речи, произнесенной на Конгрессе, он писал мне: «Теперь осенью собираемся достойно отпраздновать столетие со дня рождения Ивана Михайловича Сеченова. Эти помещики, эти попы, эти купцы, так теперь поносимые и лишенные прав вообще и в частности права поступлеиня в высшие учебные заведения, однако, были творцами русской культуры» (Сеченов,выдающийся ученый, отец русской физиологии, был сыном помещика; сам Павлов был сыном священника, а напр. знаменитый клиницист С. П. Боткин проис-

*) Цит. по книге А. Югова «И. П. Павлов» (Москва-Ленинград. 1942), стр. 136.

ходил из купеческой среды. Как известно, Павлов вышел в отставку из Военно-Медицинской Академии в 1924 г., мотивируя ее тем, что он сам был сыном священника).

Трудно поверить, что человек такого исключительного ума и необыкновенной честности, как Павлов, мог в короткий срок 4-5 лет совершенно отказаться от того, чему он верил в течение всей своей долгой жизни и что считал правдой. А между тем факт на лицо: восьмидесятилетний Павлов хочет страстно жить, чтобы видеть завершение исторического социального эксперимента большевиков. Ни о каком ослаблении умственных способностей у Павлова в его последние годы, конечно, говорить не приходится. По свидетельству наиболее беспристрастных наблюдателей, Павлов сохранил до последней своей минуты необыкновенную свежесть ума. Так же абсолютно исключается то, что по каким-либо мотивам Павлов льстил большевикам, заискивая перед ними. Он никогда в жизни никому не льстил, и большевики у него заискивали, а не он у них.

Некоторые советские писатели и кое-кто из учеников Павлова стараются представить перемену его взгляда на советский режим, как позднее, но действительное признание им заслуг большевиков перед Россией.

Так напр. талантливый ученик Павлова профессор Л. А. Орбели во введении к полному собранию трудов И. П. Павлова в издании Академии Наук СССР, объясняет отрицательное отношение своего учителя к большевистскому «эксперименту» тем, что этот эксперимент (со всеми его ужасными эксцессами, я добавлю), вызывал у Павлова «неоднократные вспышки страха за судьбу родины, опасения за увядшую, якобы, роль русского народа, боязнь культурной и политической деградации и т. п.». Наконец, в конце своей жизни Павлов понял и оценил верность коммунистических идей. Он уже больше не высказывал теперь, по поводу действий большевиков, «случайные и мало продуманные мысли и соображения, которые подхватывались и усиленно муссировались враждебными новому строю элементами». «Речь на приеме делегации Международного Конгресса (приведенная выше), заключает Орбели, важна не только тем, что явилась конечной оценкой, со стороны гениального ученого, хода событий, основанной на 18-летнем наблюдении, с критическим, подчас скептическим и пессимистическим отношением, но еще и тем, что составила в жизни самого Ивана Петровича переломный момент, позволивший ему тесно слиться с горячо любимым народом,

войти в общий строй новой жизни, созданной великой пролетарской социалистической революцией под мудрым руководством партии Ленина-Сталина, из стороннего наблюдателя событий превратиться в активного участника политической жизни страны» (стр. 20-21).

Алексей Югов, о книге которого я упоминал выше, идет еще дальше. Павлов был ясновидцем в физиологии, говорит Югов, но «как-будто толщей из непроницаемого для взоров свинца было закрыто от него даже ближайшее будущее родины» (стр. 164). Но факты большевистского строительства, которые накоплялись очень медленно, убедили наконец Павлова в правильности политики большевиков. Павлов теперь верил, что «его родина явится воспитательницей мира для всего мира». Политика Советской России миролюбива, а Красная Армия сильна. «Мощная Россия станет стражем всего мира и не позволит другим странам создать войну» (стр. 170).

Мне думается, что психология Павлова была гораздо сложнее, чем ее представляют советские писатели.

Прежде всего нужно отметить, что советская власть действительно сделала очень много для развития научного исследования в России. Было открыто много новых университетов; были организованы новые исследовательские институты или расширены прежде существовавшие, как напр. Институт Экспериментальной Медицины; громадное количество людей было привлечено к научной работе и средства, отпускаемые на нее, были огромны. Павлов не мог не ценить этого. Он был истинным сыном своего века, т. е. второй половины XIX столетия, когда наука приобрела почти-что религиозное значение. Павлов твердо верил, что не через что-либо другое, а именно через науку придет умиротворение народов и истинное братство людей. Правда, наука в Советской России не была свободна: согласно марксистской теории она должна была служить государству; «наука для науки» не должна была существовать, как таковая; советские ученые должны были рассуждать согласно правилам диалектического материализма; менделизм, напр., считался зловредной ересью и т. д. Но это только временные ограничения, мог думать Павлов: курс советской политики постоянно меняется и наступит момент, когда никакая плотина не сможет сдержать поток свободного научного творчества. Павлова не могло не радовать то, что интерес к научному исследованию в Советской России чрезвычайно повысился. Так, напр., сборник его

речей и докладов «Двадцатилетний опыт» выдержал в России за десять лет, т. е. с 1922 по 1932 г., пять изданий и разошелся в количестве 21.200 экземпляров. Возможно также, что Павлову импонировала активность, или как он любил говорить, «деловитость» большевиков. Он, так ненавидевший «расхлябанность» русского характера, мог думать, что нарождается новое сильное поколение людей в России.

Павлов знал по собственному опыту, как благожелательно может относиться советская власть к науке и к ученым. Очень скоро после прихода большевиков к власти, учение Павлова об условных рефлексах было ими признано, как утверждающее то, что духовная жизнь людей может быть радикально перестроена и что мировая пролетарская революция создаст новое человеческое общество. Еще в 1921 г., когда жизнь в России была в полном развале, Совет Народных Комиссаров дал Павлову совершенно исключительные преимущества для научной работы, а также и личные привилегии. Вот этот документ.

Постановление Совета Народных Комиссаров.

Принимая во внимание совершенно исключительные научные заслуги Академика И. П. Павлова, имеющие огромное значение для трудящихся всего мира, Совет Народных Комиссаров постановил:

1) Образовать на основании представления Петросовета специальную комиссию с широкими полномочиями в следующем составе: тов. М. Горького, Заведывающего Высшими Учебными Заведениями тов. Кристи и члена Коллегии Отдела Управления Петросовета тов. Каплуна, которой поручить в кратчайший срок создать наиболее благоприятные условия для обеспечения научной работы Академика Павлова и его сотрудников.

2) Поручить Государственному Издательству в лучшей типографии Республики отпечатать роскошным изданием, заготовленный Академиком Павловым, научный труд, причем оставить за Академиком Павловым право собственности на это сочинение, как в России, так и заграницей.

3) Поручить Комиссии по рабочему снабжению представить Академику Павлову и его жене специальный паек, равный по калорийности двум академическим пайкам.

4) Поручить Петросовету обеспечить профессора Павлова и его жену пожизненным пользованием занимаемой ими квартиры и обставить ее и лабораторию Павлова максимальными удобствами.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин).
Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров
Н. Горбунов.
За секретаря М. Гляссер.
Москва, Кремль. 24 января 1921 г.

Позднее, в 30-х годах была выстроена для Павлова в деревне Колтушах под Ленинградом специальная лаборатория для исследований по экспериментальной генетике высшей нервной деятельности и дача для него самого и его семьи. На эту лабораторию еще при жизни Павлова в 1936 г. советское правительство отпустило один миллион рублей, а после смерти Павлова в 1937 г. полтора миллиона и в 1938 г. 2.4 миллиона рублей (цитирую из статьи И. Андронова в газете «Известия» за 1938 г.). Как велика была покупная способность советского рубля в 1936-1938 гг. и его стоимость в американской валюте, я сказать не могу, но, вероятно, она была много ниже той, которую он имел до войны 1914 г. (1 рубль тогда равнялся 50 центам). Но как-бы то ни было, суммы, отпущенные на лабораторию в Колтушах, были очень значительны.

В ознаменование 85-летия со дня рождения Павлова (27 сентября 1934 г.) Совет Народных Комиссаров СССР постановил «основать ежегодную государственную премию в 20 тысяч рублей имени Академика И. П. Павлова в области физиологии и установить пять стипендий его же имени по 500 рублей в месяц каждая для повышения научной квалификации молодых ученых в области физиологии. Кроме того, Совнарком решил издать в течение 1935-36 г. собрание сочинений Академика Павлова и отпустить в 1935 г. один миллион рублей на содержание биологической станции в Колтушах» («Вечерняя Красная Газета», 27 сентября 1934 г.).

Президиум Ленинградского Совета постановил по тому же случаю: «учредить в Ленинградских высших учебных заведениях пять стипендий имени академика Павлова для наиболее успевающих студентов и переименовать Лопухинскую улицу (на которой стоит Институт Экспериментальной Медицины) в улицу академика Павлова» («Вечерняя Красная Газета», 27 сентября 1934 г.).

Павлов не отказывался от всех этих исключительных привилегий и принимал их, как выражение поддержки советскою властью того научного исследования, которое он вел и которое было так дорого ему. Это явствует из того, что большевики осыпали его своими милостями в то время, когда он продолжал относиться определенно отрицательно к их деятельности.

Я не сомневаюсь, что Павлов принимал с тяжелым сердцем это особое благоволение большевиков к нему и к его работе. Он не мог не сознавать, что в России есть другие ученые и другие области знания, которые заслуживают поддержки государства. Вероятно, только в самые последние годы своей жизни, когда он убедился в том, что советская власть искренно намерена поддерживать науку и научные учреждения в России, он признал возможным пойти на примирение с нею. Однако, у меня есть все основания думать, что еще в 1932 г. Павловы — муж и жена — сознавали ненормальность тогдашней русской жизни, а свое личное положение считали особенно трудным.

Определенно отрицательное отношение Павлова к большевикам продолжалось приблизительно до 1933 года. Что-же случилось в 1933 году? В этом году пришел в Германии к власти Гитлер и Павлов, по моему глубокому убеждению, был одним из первых, который понял, какая ужасная опасность, совершенно ясно высказанная в «Mein Kampf», грозит России.

Любовь Павлова к родине была искренней и глубокой. Он гордился великим прошлым России, радовался ее успехам и скорбел о ее неудачах или несправедливости, творившейся в ней. Он никогда бы не отказался от прошлого своей родины, какое-бы оно ни было, и верил в ее великое будущее.

Когда перед самой войной 1914 г. Министр Народного Просвещения Кассо, едва ли не демонстративно, игнорировал русских ученых и организовал при разных иностранных университетах (преимущественно германских) семинарии по различным наукам для подготовки молодых людей к научной деятельности, негодованию Павлова не было границ. Несомненно, что его резко отрицательное отношение к возмутительной затее Кассо придало вес заявлению Академии Наук, что предлагаемая мера Министерства Народного Просвещения есть оскорбление для русской науки и для русских ученых (цитирую по памяти).

Уже после войны 1914-1918 гг. отношение Павлова к немцам, среди которых у него до того было немало научных

друзей, резко изменилось. Так напр. он не задумался отказаться от предложеия советского правительства выписать самого лучшего германского хирурга для операции на желчных путях, которой он тогда должен был подвергнуться.

В 1936 г. известный немецкий ученый проф. Х. говорил одному из моих научных сотрудников, что Павлов был его другом, но что к большому его огорчению эта дружба порвалась после войны (т. е. первой мировой войны). Проф. Х. рассказал, как он встретился с Павловым на одном из международных научных съездов, бывших незадолго до того, и подошел к нему с протянутой рукой, желая возобновить дружеские отношения, прерванные войной. Павлов отказался пожать протянутую руку и с раздражением сказал, что немцы традиционные враги России и это не позволяет ему восстановить свои прежние отношения с германскими коллегами. Горе и несчастье, которые немцы принесли России, настолько велики, сказал он, что это убивает в нем всякие дружеские чувства.

Что же должен был чувствовать Павлов и как опасаться за судьбу России, когда пришел к власти такой явный и беспощадный ее враг, как Гитлер? Еще в 1918 г. в особенно мрачные дни для России, когда вся ее южная половина была оккупирована немцами и австрийцами, Павлов с буквально искаженным лицом говорил, что в конце концов соседи разберут Россию по частям. Тогда это не состоялось, так как центральные империи сами пали. Но кто-же помешал-бы сделать это Гитлеру?

У меня сохранилось несколько писем В. В. Савича, которые он писал мне во время предпоследней, крайне тяжелой, болезни Павлова (пневмония с осложнениями) весною 1935 года. В письме от 13-го июня, Савич пишет, что он видел Павлова, оправляющегося после болезни, но еще довольно слабого. Тем не менее Павлов с огромным интересом говорил «о политическом положении во всемирном масштабе», и надеялся «на умение англичан улаживать дела». Значит, уже в 1935 г., т. е. через два года после прихода к власти Гитлера, Павлов тревожился о судьбах Европы, а может быть и всего мира. Он говорил Савичу, что «мы живем в исключительно интересное время и что хотелось бы увидать, как это все разрешится». Савич тоже был настроен пессимистически и, сообщая мне в письме от 6-го апреля того же года о болезни Павлова, между прочим писал: «Впереди вижу войны и войны. Гитлеру без войны нельзя обойтись, а это сулит рано или поздно, и вернее рано, ряд войн. Хорошая армия есть сама по

себе причина войны. Не даром Англия стала беспокоиться».

Поэтому Павлов мог быть благодарен большевикам не столько за социализм с его экспериментами, сколько за то, что они объединили русский народ и собрали развалившуюся Россию. Совсем другое было бы, если-бы немцы захватили юг России — Украину, Крым, Кавказ — и превратили бы его в свой «Lebensraum». Это была-бы окончательная и безвозвратная гибель тысячелетних стремлений и трудов бесчисленных поколений русских людей.

Затем, для Павлова, как для всякого русского человека, горячо любящего свою родину, выбора не было: нужно было сделать все, чтобы помочь России, а не вносить раскол в минуту смертельной для нее опасности. Приветствуя, на открытии XV Международного Физиологического Конгресса в Ленинграде 9-го августа 1935 года иностранных и русских его участников, Павлов призывал к содружеству народов и подчеркивал миролюбие советского правительства, как-бы чувствуя приближающуюся катастрофу. Между прочим он говорил:

«Мы, столь разные, однако, сейчас объединены и возбуждены горячим интересом к нашей общей жизненной задаче. Мы все — добрые товарищи, даже во многих случаях, связанные между собой явными дружескими чувствами. Мы работаем, очевидно, на рациональное окончательное объединение человечества. Но разразись война — и многие из нас станут во враждебное отношение друг к другу, именно на нашей научной плоскости, как это бывало не раз. Мы не захотим встречаться вместе, как сейчас. Даже взаимная научная оценка друг друга станет другой. Я могу понимать величие освободительной войны. Однако, нельзя вместе с тем отрицать, что война по-существу есть звериный способ решения жизненных трудностей, способ, не достойный человеческого ума с его неизмеримыми рессурсами. Сейчас видно почти всесветное желание и стремление избежать войн и, пожалуй более верными средствами, чем это было до сих пор. И я счастлив, что правительство моей могучей родины, борясь за мир, впервые в истории провозгласило: «ни пяди чужой земли». И мы, конечно, в особенности должны сочувствовать и способствовать этому. А как искатели истины, мы должны прибавить, что в международных отношениях необходимо строго соблюдать справедливость. А это и есть главная и реальная трудность» («Известия», 10 августа 1935 г.).

Так думалось Павлову и так ему хотелось, чтобы оно было. Но события, после его смерти в 1936 году, приняли

совершенно иное направление, т. е. то, которого он так опасался.

Перемену отношения Павлова к большевикам лучше всего сравнить с переменой отношения русской эмиграции заграницей к советской власти после того, как Россия была вовлечена в войну в 1941 г. За редкими исключениями, огромное большинство эмиграции, забыв на время свою вражду к большевикам и горе и обиды, причиненные ими, безоговорочно стало помогать всем, чем только могло, Советской России.

У меня нет больше фактических данных для обоснования моей теории перемены отношения Павлова к большевикам, но, зная Павлова, я думаю, что не ошибаюсь. С одной стороны, Павлова примирила с большевиками поддержка ими науки, которая согласно его глубокому убеждению, должна была в конце концов разрешить все мировые конфликты. С другой стороны, Павлова сделала более терпимым к большевикам боязнь за судьбу родины, стоявшей под занесенным над ней железным кулаком Германии. Однако нет достаточно данных, для того, чтобы утверждать, что Павлов признал большевиков русской национальной властью.

Демократические же убеждения Павлова в том смысле, как они понимаются в англо-саксонских странах, для меня несомненны. Он никогда не изменял им в течение своей долгой жизни и, несомненно, остался верен им до конца.

Б. П. Бабкин

ПАМЯТИ ПЕТРА ПЕТРОВИЧА ЮРЕНЕВА

Мы с покойным П. П. Юреневым были почти ровесниками. Я был только на пять лѣт старше. Оба мы коренные петербуржцы и, хотя в дѣтствѣ и юности знакомы не были, но росли и воспитывались в той-же общественной средѣ, создавшейся в Петербургѣ в эпоху великих реформ. Это был довольно широкій круг старых дѣлателей великих реформ и примыкавших к ним по духу болѣе молодых либералов из Петербургской профессуры, высшаго чиновничества, магистратуры и адвокатуры. Из людей этого круга, которых я знал в своем дѣтствѣ или имена которых постоянно слышал, назову Таганцева, Спасовича, Кони. Всѣ они, несмотря на измѣнившіяся времена, проявляли упорность и стойкость в своих либеральных убѣжденіях. К этой-то средѣ петербургских либералов принадлежал и отец П. П. Юренева, молодой судебный дѣятель эпохи великих реформ, ставшій потом первоприсутствующим гражданскаго кассаціоннаго департамента Сената.

Среда была сплоченная, сильная традиціями либерального идеализма шестидесятых годов и с прочными семейными связями. Дѣти воспитывались свободно, но находились под сильным нравственным вліяніем родителей, с ранних лѣт проникаясь их общественно политическими воззрѣніями. Конечно бывали и в этой средѣ разногласія между отцами и дѣтьми, которыя подвергались и другим вліяніям. Часть молодого поколѣнія, подобно мнѣ, проникалась болѣе радикальными воззрѣніями и пополняла собой ряды революціонной молодежи, часть наоборот уходила вправо, под вліяніем сгущавшейся реакціи восьмидесятых годов. Но большинство оставалось вѣрным завѣтам своих отцов. К этому большинству принадлежал и П. П. Юренев. Блестяще окончив третью классическую гимназію, он поступил в Институт Путей Сообщенія. В то время как в других высших учебных заведеніях Петербурга постоянно шло революціонное броженіе, Институт Путей Сообщенія считался «благонадежным» и революціонеры встрѣчались там среди студентов лишь в видѣ исключенія. То обстоятельство, что П. П. обучался именно в Институтѣ Путей Сообщенія, удержало его от увлеченія революціонными тео-

ріями. Но уже тогда у него проснулась потребность участвовать в общественной работѣ. Усердно занимаясь и блестяще сдавая переходные экзамены с курса на курс, он в то же время удѣлял много времени дѣлам организаціи институтскаго студенчества, неизмѣнно избираясь товарищами старостой своего курса. Окончив в концѣ 90-х годов Институт, П. П. сразу получил мѣсто инженера-строителя в провинціи. Побывав на постройках в разных мѣстах Россіи, он ко времени революціи 1905 года служил на желѣзной дорогѣ в городѣ Новозыбковѣ, в Черниговской губерніи. Там же началась его политическая дѣятельность. Не знаю, принимал ли он участіе в Союзѣ Освобожденія. Но когда образовалась Партія Народной Свободы, он с самаго начала сдѣлался дѣятельным и видным ея членом, выступая в Новозыбковѣ с рѣчами на митингах перед выборами в Первую Думу. А при выборах во Вторую Думу, был избран ея членом.

Точно не помню, когда именно я с ним познакомился. Вѣроятно на одном из съѣздов Партіи Нардоной Свободы в теченіи 1906 г. Но мнѣ хорошо запомнилась коренастая фигура молодого брюнета с умным и вмѣстѣ с тѣм добрым взглядом выразительных глаз, смотрѣвших из под густых черных бровей. Он мало выступал с рѣчами, но когда говорил, рѣчь его отличалась всегда особой простотой, логичностью и ясностью.

Вскорѣ послѣ роспуска Второй Думы, П. П. переселился в Москву и был избран членом городской управы. Продолжая карьеру инженера, он благодаря своим знаніям и недюжинным способностям, мог бы сдѣлаться богатым человѣком, как многіе инженеры путей сообщенія, на которых, при усиленном развитіи желѣзнодорожной сѣти, был в Россіи начала 20-го вѣка огромный спрос; но его привлекала не богатая жизнь, а общественная дѣятельность. Само собой разумѣется, что став членом Московской Городской Управы, он завѣдывал в ней техническими отдѣлами. Между прочим, под его непосредственным руководством, в Городской Управѣ был разработан проэкт постройки метро, осуществленіе котораго было отложено из за начавшейся в 1914 году войны. Впослѣдствіи этот проэкт был использован совѣтской властью при постройкѣ первой линіи Московскаго Метро, которой она так гордится.

Живя в Москвѣ, П. П. Юренев принимал дѣятельное участіе в жизни партіи Народной Свободы и вскорѣ был избран в члены Центральнаго ея Комитета. Так как я тоже, по переселеніи в Петербург в 1910 г., вошел в Центр. Комитет

партіи, то мы стали с ним чаще встрѣчаться, чѣм прежде. Я принадлежал тогда, по своим политическим взглядам, к крайне лѣвому крылу Ц. К., П. Ю. Юренев скорѣе к лѣвому центру, но по многим вопросам мы были единомышленниками, что до извѣстной степени послужило к усиленію нашей взаимной симпатіи. Все же мы жили в разных городах, а пленарныя засѣданія Ц. К., на которыя либо москвичи пріѣзжали в Петербург, либо петербуржцы в Москву, происходили рѣдко. Поэтому в теченіи первых 10-12 лѣт наше знакомство оставалось довольно поверхностным. Лѣтом 1917 г. П. П. Юренев появился в Петербургѣ в качествѣ министра путей сообщенія третьяго состава Временнаго Правительства. Я в это время состоял секретарем Ц. К. нашей партіи и принимал участіе во всѣх его засѣданіях. Однако П. П., заваленный административной работой, почти никогда на них не появлялся. Запомнилось мнѣ лишь его выступленіе на засѣданіи Ц. К., происходившем в Москвѣ перед открытіем Государственнаго Совѣщанія. На этом засѣданіи, П. Н. Милюков, говорил о том, что нужно сдѣлать попытку склонить Керенскаго к образованію дуумвирата Керенскій-Корнилов, который должен разогнать Совѣт рабочих и солдатских депутатов и возстановить дисциплину арміи для продолженія войны против Германіи. Если же Керенскій на такое соглашеніе с Корниловым не пойдет, мы должны в крайнем случаѣ поддержать Корнилова в его борьбѣ с Керенским. Предложеніе Милюкова встрѣтило сочувствіе среди нѣкоторых членов Ц. К., но нашлись и рѣшительные противники, среди которых находился и П. П. Юренев. Он заявил, что со времени іюльскаго возстанія большевиков, Временное Правительство постепенно укрѣпляет свою власть и независимость от Совѣта рабочих и солдатских депутатов. Поэтому он считает, что попытка государственнаго переворота, которая вѣдь может и не удастся, сопряжена с риском разрушить начавшуюся организацію власти и создать еще большую анархію. Во всяком случаѣ, если бы Ц. К. партіи признал необходимым поддержать Корнилова в его борьбѣ с Временным Правительством, он просит заранѣе предупредить об этом партійных министров, дабы они могли своевременно выйти в отставку. Ибо он во всяком случаѣ не намѣрен играть в Правительствѣ роль предателя. Первый раз я видѣл П. П. Юренева, всегда спокойнаго, благодушнаго и разсудительнаго, в состояніи большого волненія и раздраженія. Оно и понятно, ибо в вопросах личной морали он всегда отличался исключительной принципіальностью. Никакого постановленія Ц. К. по этому поводу не состоялось.

Во время Корниловскаго возстания я отсутствовал из Петербурга, но насколько мнѣ извѣстно, Корнилов предпринял его на свой страх и риск, без участія Ц. К. нашей партіи и его предсѣдателя Милюкова. Во всяком случаѣ, для П. П. Юренева, возстаніе Корнилова оказалось совершенной неожиданностью. Но, как он мнѣ впослѣдствіи рассказывал, он и его товарищи по партіи очень плохо себя чувствовали в составѣ Временнаго Правительства, ибо другіе министры подозрѣвали их в предательствѣ. Подав в отставку, П. П. вернялся в Москву и, до большевистскаго переворота, продолжал работать в городском самоуправленіи. Затѣм началась гражданская война и больше года мы с ним не встрѣчались. Первая наша встрѣча произошла в Ростовѣ на Дону в 1919 г. гдѣ П. П. Юренев работал в качестве предсѣдателя организаціи Союза Городов при Добровольческой Арміи, а я пріѣзжал туда для переговоров с правительством генерала Деникина, по дѣлам Таврическаго Земства. С этого момента, у нас началось болѣе близкое знакомство, перешедшее потом в большую дружбу, продолжавшуюся 25 лѣт вплоть до его смерти. За время гражданской войны я раза три ѣздил в Ростов и каждый раз останавливался в маленькой квартиркѣ, в которой помѣщались С. В. Панина, Н. И. Астров и П. П. Юренев. В этой квартиркѣ было четыре комнаты, но она широко отворяла свои двери пріѣзжим друзьям, иногда трем-четырем одновременно. Спали на чем попало, на диванѣ, на двух сдвинутых креслах, на полу. П. П. Юренев всегда уступал свою походную кровать какому-нибудь гостю, а сам ложился на пол, на свой полушубок, с которым никогда не разставался. Я всегда ночевал в его комнатѣ, и лежа, я — на походной кровати, а он — на полушубкѣ, мы вели с ним долгія бесѣды.

Послѣдній раз мы встрѣтились с П. П. в Россіи на совѣщаніи остатков нашего Ц. К. в Ялтѣ, куда он пріѣзжал из Одессы. Там в это время дѣлались попытки к созданію общественнаго объединенія, Національнаго Центра, Союза Возрожденія и Съѣзда Земств и Городов Юга Россіи, с цѣлью направлять политику бѣлаго движенія, уже носившаго всѣ признаки начавшагося разложенія. Обладая ясным, реалистическим умом, Юренев отлично понимал не только трудность, но и безполезность созданія такого представительства. Однако, в качествѣ делегата Національнаго Центра, он считал своей обязанностью употреблять всѣ усилія к примиренію враждебных друг другу теченій.

В эмиграцію П. П. попал на нѣсколько мѣсяцев раньше

меня, и когда из Крыма я пріѣхал в Константинополь, я уже его там застал. Он с головой ушел в общественную работу, возстанавливая в Константинополѣ дѣятельность Союза Городов. Положеніе было трудное, ибо средств у Союза Городов не было никаких. Но П. П. был талантливым и опытным организатором и съумѣл сплотить около начинавшагося дѣла полезных людей. Он и его ближайшая энергичная сотрудница, А. В. Жекулина, поставили себѣ цѣлью культурную помощь дѣтям эмигрантов. Собрав небольшую сумму денег, они открыли в Константинополѣ Русскую Гимназію с интернатом для мальчиков и дѣвочек. Вести такое большое дѣло было нелегко, ибо гимназія не имѣла опредѣленных источников существованія. Нерѣдко случалось, что средств на ея содержаніе оставалось всего на нѣсколько дней. Но, благодаря неиссякаемой энергіи А. В. Жекулиной, средства в концѣ концов находились и гимназія продолжала свое существованіе. Когда большая часть русских бѣженцев покинула Константинополь и переселились в Болгарію, в Югославію и Чехословакію, Союз Городов перенес свою дѣятельность в эти страны, гдѣ возникло нѣсколько средних учебных заведеній и дѣтских пріютов, на содержаніе которых образовавшійся в Парижѣ Земско-Городской Комитет, равно как и правительство этих стран, стали регулярно ассигновывать потребныя средства. П. П. Юренев руководил всей этой сѣтью учрежденій, поселившись в началѣ в Бѣлградѣ, а затѣм в Прагѣ. Сотни, если не тысячи русских юношей и дѣвушек смогли таким образом завершить свое среднее образованіе, и нѣкоторые из них, благодаря стипендіям Земско-Городскаго Комитета и Комитета возглавлявшагося М. М. Федоровым, окончили высшія учебныя заведенія. По мѣрѣ изсякновенія средств Земско-Городскаго Комитета, учрежденія Союза Городов постепенно поступили на полное содержаніе мѣстных правительств и наконец прекратил свое существованіе и самый Союз Городов. П. П. лишился скромнаго жалованія, на которое жил с своей семьей, переѣхал во Францію, арендовал небольшую ферму в Нормандіи, куда и переселился с женой и тещей. Он разсчитывал, что к ним переѣдет из Праги и его единственная дочь с мужем, что дало бы возможность общими силами вести маленькое хозяйство, но всѣ его планы рухнули из за внезапной смерти дочери. Это было страшным для него ударом. Однако нужно было как-то продолжать свою жизнь. И вот, в теченіи двух лѣт, он с женой, уже в преклонном возрастѣ, ведут крестьянскую жизнь, сажая огород и ухаживая за коровами. Изрѣдка из Нормандскаго захолустья, П. П. появлялся в Париж прода-

вать масло, но главным образом чтобы не отрываться от дорогой ему общественной работы, принимая участіе в жизни Земско-Городского Комитета и в Союзѣ Русских Инженеров, гдѣ иногда он выступал с докладами на разныя темы по своей спеціальности.

В концѣ концов из за общаго экономическаго кризиса фермерство стало убыточным. Юреневым пришлось ликвидировать свое сельское хозяйство и переселиться в Париж. И опять перед П. П. стал вопрос о нахожденіи средств к существованію. Обсудив разные проекты, он остановился на рѣшеніи заняться с женой стиркой бѣлья. Всѣ знакомые его отговаривали от выбора такой странной спеціальности, но он с карандашем в руках доказывал, что это дѣло вполнѣ обезпечит их жизнь. И вот бывшій министр россійскаго Временнаго Правительства стал парижской прачкой... И как ни странно, оказалось, что быть парижской прачкой выгоднѣе, чѣм быть фермером и даже предсѣдателем Союза Городов. Затѣм началась война, нѣмцы заняли Париж. Пришлось ликвидировать и прачешную. Положеніе было отчаянное. П. П. было уже 70 лѣт и трудно было ему с женой и старухой тещей начинать новое дѣло в такой сложной обстановкѣ. Я все таки не сомнѣваюсь, чт он с его изобрѣтательностью в концѣ-концов нашел бы себѣ какую нибудь работу, дающую им возможность жить. Но на этот раз изобрѣтательности не потребовалось. Ему предложили мѣсто сторожа и огородника при заводѣ возлѣ Парижа, куда он и перебрался с семьей. Через три года он там и умер.

Такова в общих чертах біографія крупнаго русскаго человѣка. Судьба его не пожалѣла, но под этими ударами судьбы, он сохранил свою личность и свои, усвоенныя еще с дѣтских лѣт, убѣжденія.

Заканчивая этот очерк, я хочу добавить нѣсколько слов, характеризующих внутренній облик П. П. Юренева. Задача эта не из легких. Легко писать о людях блестящих, хотя и менѣе значительных. Они освѣщают свой жизненный путь ярким свѣтом, дающим возможность возстановить полностью особенности их внутренняго міра. Покойный П. П. Юренев не принадлежал к их числу. Он был человѣком, свѣтящимся не ярким, а матовым свѣтом, чрезвычайно сильным, но как то незамѣтно излучаемым. Его недюжинный ум и большія способности скрывались за его исключительной скромностью и полным отсутствіем самомнѣнія. Тщательно скрывал он и глубину своих чувств, которую улавливали лишь близкіе его друзья особым внутренним чутьем. А свойственную ему силь-

ную волю он направлял не на подчиненіе других, а на самого себя, сдерживая свои страсти и сокращая свои потребности. Его публичныя выступленія и частые разговоры отличались особым стилем в соотвѣтствіи с характером его ума. Неправильно было бы сказать, что он не обладал отвлеченным умом. Скорѣе — не позволял себѣ разсуждать на слишком отвлеченныя темы, в которых всегда есть много неяснаго. Его ум требовал математической ясности. Поэтому, обсуждая какой нибудь вопрос, он старался по возможности его упростить, вынося за скобки все его усложняющее. В спорах он никогда не позволял себѣ никаких личных раздраженных выпадов по отношенію к противнику. Вообще к людям он относился с большой терпимостью и рѣдко о ком либо отзывался с рѣзкостью. Он был настоящим демократом не только по своим политическим взглядам, но и по свойствам своей природы. Всякая излишняя роскошь в домашней обстановкѣ ему претила. Втеченіе своей жизни в эмиграціи он старался упростить свою жизнь до возможных предѣлов. Он дѣлал это прежде всего потому, что так ему нравилось, но постепенно возвел это в принцип, доказывая друзьям, что комфортабельная жизнь среди моря эмигрантской бѣдноты недопустима. Единственная роскошь которую он себѣ позволял, была бутылка вина, выпитая за дружеской бесѣдой с друзьями.

А другом он был вѣрным и преданным, всегда готовым помочь своим друзьям в постигшем их несчастіи и утѣшить их в трудную минуту жизни. Сердечный, хотя и без лишних слов, по отношенію к друзьям и добродушно снисходительный к противникам, он однако с 1914 года ощутил чувство ненависти. Ненавидѣл нѣмцев. И это чувство не покидало его в теченіи всей эмиграціи. Помню, как иногда приходилось его упрекать за несправедливое отношеніе к цѣлому народу, но он еще задолго до появленія Гитлера на политической авансценѣ упорно твердил: «Подождите, они еще себя покажут». Оказалось, что он был прав... Очень тяжело переживал он нѣмецкія побѣды в началѣ войны, но дожил до освобожденія Франціи и до русскаго побѣдоноснаго наступленія, которое его радовало и которым он гордился. Но эти побѣды не измѣнили его отрицательнаго отношенія к совѣтской власти. Он понимал, что в Россіи, в связи с пробужденіем сильнаго патріотическаго чувства, происходят какіе-то глубокіе психологическіе сдвиги, но его трезвый ум отказывался дѣлать на этом основаніи какіе либо широкіе обобщающіе выводы, столь распространенные среди русских эмигрантов в настоящее время. Его лишь огорчала мысль, что нам, старикам, уже

не придется видѣть новой Россіи. «Впрочем, говорил он, по существу это значенія не имѣет. Не мы, так другіе увидят, а Россія и без нас жить будет». Нѣсколько мѣсяцев не дожил П. П. до окончательной побѣды над Германіей, но умер с сознаніем ея приближенія.

Умер он в больницѣ от уреміи. Он никогда не был церковным человѣком. Но не был и матеріалистом, так как признавал существованіе чего то непостигаемаго и непостижимаго. Не любил разсуждать на религіозныя темы, как вообще обо всем, не поддающемся обработкѣ его яснаго логическаго ума. Однако, когда он почувствовавл, что умирает, призвал священника, исповѣдовался и причастился. Похоронен П. П. Юренев под Парижем на кладбищѣ С. Женевьев де Буа, гдѣ имѣется уже около 500 могил русских эмигрантов.

В. Оболенскій

ПАМЯТИ А. И. ЗИЛОТИ

Осенью 1887 я впервые поднимался по лестнице старого здания Московской Консерватории на Большой Никитской в доме графа Воронцова-Дашкова. Я шел на приёмный экзамен; на площадке второго этажа я увидел группу весело разговаривающих людей; мне бросилось в глаза, что пять человек были одинакого роста — очень высокие; кто то проходя мимо меня сказал: «Вон зверь со своими зверятами»... Как потом я узнал, это были очень популярный в Москве профессор Н. С. Зверев, его бывший воспитанник, молодой блестящий профессор А. И. Зилоти, и ученики консерватории С. Рахманинов, Л. Максимов и Л. Прессман.

После экзамена Петр Ильич Чайковский представил меня профессору Н. С. Звереву и А. И. Зилоти. На другой день я был у А. И-ча. Он только что женился на Вере Павловне Третьяковой. И он, и его жена приняли меня радушно. С тех пор наше знакомство не прекращалось и вылилось в крепкую, чуть ли не 60-летнюю дружбу. Многие читатели знают, что Зилоти блестяще кончил Московскую Консерваторию по классу фортепиано у Н. Г. Рубинштейна, а по классу теории у Чайковского; затем он занимался с Антоном Григорьевичем Рубинштейном. Еще несколько позднее, дирекция Московской Консерватории отправила его к Францу Листу. Пробыв у Листа, кажется, 3 года, он поехал в концертное турнэ по Европе. Успех был блестящий. По окончании концертного турнэ, А. И. вернулся в Москву и сейчас же был приглашен профессором консерватории. Вот в это время я и познакомился с ним.

Мне хочется обрисовать его таким, каким я его тогда видел. Прежде всего это был красавец, высокого роста, с удивительно приветливым лицом. В консерватории он был общим кумиром. Девицы таяли при встрече с ним; но и мальчишки, и мы, полу-молодые люди, вроде Скрябина и меня, буквально обожали его. Да и как можно было не любить А. И-ча: всегда веселый, милый, приветливый — и какой музыкант! Наша московская гордость... Мировая знаменитость, любимый ученик Листа!..

Консерватория наша в то время была особенная: учеников было всего 400 человек. Это была большая музыкальная семья — все друг друга знали, все были свои и друзья; в

консерватории тогда еще жил дух Николая Григорьевича Рубинштейна.

Был такой же у нас красавец, которого мы все любили, виолончелист А. А. Брандуков, товарищ и однокашник Зилоти; такой же блестящий виртуоз и чудесный музыкант — оба закадычные друзья П. И. Чайковского; когда мы их встречали вместе с Чайковским — то буквально сердце радовалось.

В следующем сезоне Александр Ильич выступил дирижером в Симфоническом Собрании Музыкального Общества. Успех был грандиозный. Все его выступления, как пианиста, тоже сопровождались колоссальным успехом. Кто из москвичей не помнит Концерт и Трио Чайковского, фантазию Шуберта-Листа «Вандерер», Пляску Смерти Листа, его постоянные выступления на двух фортепиано с С. И. Танеевым и т. д.? Я горжусь и счастлив, что, будучи молодым скрипачем, удостоился чести играть Трио Чайковского и Аренского с такими большими артистами, как Зилоти и Брандуков.

Наша семейная музыкальная жизнь продолжалась до 1890 года. В этом году директор консерватории, всеми уважаемый и любимый С. И. Танеев, подал в отставку. На его место был приглашен В. И. Сафонов. Начались какие то трения, недоразумения, первым подал в отставку Чайковский, а с ним уехал обратно в Париж Брандуков. Вскоре подал в отставку и Зилоти и тоже уехал за границу. Весь его класс перешел частью к П. А. Пабсту, частью к В. И. Сафонову. Один С. Рахманинов не захотел менять профессора и на следующий сезон держал выпускной экзамен от себя, но как ученик Зилоти.

В это время А. И. побывал впервые в Америке. Турнэ было блестящее. Кстати, он впервые сыграл тогда в Америке прелюдию Рахманинова Cis-moll. Рахманинов часто потом шутил: «Саша, я тебе никогда не прощу, что ты привез мою прелюдию в Америку, это мне стоит миллионы...» Дело в том, что тогда конвенции с Сев. Америкой относительно авторских прав не было. После успеха прелюдии в концерте Зилоти американские издатели печатали ее беспрепятственно и наживали деньги. Когда, в 1918 году, Рахманинов приехал в Америку, его прелюдия уже была любимой пьесой. Можно сказать, что он потерял, если не миллионы, то миллион!...

В Петербурге А. И. организовал свои замечательные симфонические концерты, которые длились около 15 лет. Он выписывал лучших солистов и лучших дирижёров. Программы составлялись необычайно интересные.

Одна из характерных черт этого человека сказывалась

в вопросе о деньгах. Главным принципом А. И-ча было: прежде всего должны быть оплачены артисты и хорошо оплачены. По этому поводу бывали неприятности. Оркестр у него играл Императорской Мариинской Оперы, обслуживавший и симфонические собрания Русского Музыкального Общества. Музыканты получали всегда определенную плату; когда Зилоти пригласил оркестр к себе, он заявил им, что плата, которую они получают, — мизерная и что у него они будут получать чуть ли не вдвое. Музыканты были, конечно, довольны, но потребовали такую же плату и от Русского Музыкального Общества. Дирекция Р. Муз. О-ва возмутилась: «Что Зилоти с нами делает?... У нас и так дефицит!»

Характерно и его отношение к «меценатам». У него был договор с Московским Филармоническим Обществом. Приглашенные им в концерты солисты и дирижеры должны были выступать и в Московской Филармонии. В это время я был профессором в Филармоническом Музыкальном Училище и состоял членом концертной комиссии. Помню первый же концерт. Зилоти нам прислал программу: дирижер Менгельберг, в программе кантата Листа. Когда мы все подсчитали, то оказалось, что расход по концерту с дирижером, хором, солистами при полном сборе давал дефицит больше тысячи рублей. Члены дирекции — богатое московское купечество — запротестовали. Через два дня приехал Зилоти и на заседании заявил им: «Господа, если вы думаете, что на музыке можно что-то наживать, вы жестоко ошибаетесь. За музыку надо платить! И платить много! И вот для этого вы нам и нужны. А если вы не можете или не хотите, то для чего же вы нам нужны?..» — Купцы выслушали эту речь с улыбкой и расход приняли. Думаю, что эта черта его характера — Рубинштейновская традиция: Николай Григорьевич умел ладить с купцами, и они его обожали.

Говорить о доброте А. И. не приходится. Он помогал всем и всюду. Если что нибудь с кем случалось, надо было обратиться к А. И.: он с кем-то говорил, кому-то телефонировал и всё бывало устроено, и это все музыканты в Петербурге знали и его обожали.

В 1920 году я был в Афинах. Там получилось сообщение, что Зилоти расстрелян. Мы были потрясены... Я отслужил панихиду. Вскоре я приехал в Париж и узнал, что Александр Ильич жив и здоров и живет в Лейпциге. Я съездил в Лейпциг повидать старых друзей; там-же в Германии я увидел и всю семью Рахманинова.

Позднее часть нашей музыкальной семьи перекочевала в

Америку. В С. Штатах Александр Ильич много играл. Как музыкант, для меня он — одна из самых замечательных фигур: блестящий виртуоз, удивительный артист: всё, что он ни играл — было совершенно в смысле стиля, будь то Бетховен, Бах, Шопен, Моцарт или Лист. Артист ненавидящий позу и рекламу; честный, неподкупный музыкант.

Он воспринял веймарскую школу Листа и новоромантическую Рубинштейна. Позднее А. И. увлекался Равелем, Дебюсси, Роже Дюкасом, Скрябиным. Но дальше он не дошел, — музыкальная жизнь опередила его. Здесь, в Америке, он сказал: «если это музыка, — то я не музыкант»... Он тихо отходил от музыкальной жизни, как тихо и скончался 8 декабря 1945 года. С его кончиной закрылась последняя страница истории Московской Консерватории первого периода — Рубинштейновского — самого блестящего.

Н. Авьерино

АКАДЕМИК А. Е. ЧИЧИБАБИН

А. Е. Чичибабин кончил свою жизнь в августе 1945 г. в Париже, в год когда Франция только что вышла из величайшего потрясения второй мировой войны, а родился он в глуши Полтавской губернии в 1871 г., последовавшем за годом тягчайших испытаний для Франции. Судьба связала конец его жизни с этой страной, его, такого русского, вся жизнь и помыслы которого были в России, для России, для русской науки.

Куземино, родной городок Полтавщины, где жила его мать, бедная вдова оставшаяся после смерти мужа-чиновника без средств с детьми на руках; Лубны, где учился в гимназии и где в шестнадцать лет он увлекся химией, делом всей его жизни. Москва — университет с кипением молодых сил, с тягою к знанию, к справедливости, к свободе; но и с трудом, с нуждой, с испытаниями. Таковы вехи юности Чичибабина; в ней он набрался сил для громадной работы всей жизни, из нее вынес он правила жизни, которым следовал неукоснительно.

Как мало было шансов у этого коренастого юноши, говорившего с сильным украинским говором, только что кончившего провинциальную гимназию, учившегося что называется на медные деньги, стать одним из крупнейших химиков — ученых не тлолько его родины, но и всего мира! Все было против него: и нужда дома, и отсутствие какой бы то ни было поддержки, и увлечение окружавшей его молодежи политикой. За его призвание была его жажда знаний, любовь к науке, его уверенность в своих силах, его острый пытливый ум, такой строгий к себе и к другим.

Чичибабина можно сравнить с Ломоносовым в том отношении, что он сам добился всего, чего он достиг, не будучи никому обязанным; без помощи со стороны, перенося сильнейшие лишения, особенно в Москве студентом, принужденным жить в общежитии «Ляпинка», вчетвером в одной комнате, и обедавшим на 10 копеек в столовке. Лишения и испытания не кончились и с окончанием курса Университета. Его научная честность выдержала испытание, когда его профессор предложил ему переменить тему занимавшей его научной работы — он наотрез от этого отказался: в результате не был

оставлен для подготовки к профессорской кафедре.

Четыре года Чичибабин без постоянного заработка боролся за право заниматься наукой, пока не получил место помощника заведующего лабораторией «Общества содействия развитию мануфактурной промышленности». И только в 1899 г., через семь лет после окончания Университета, он получил место ассистента в Московском Сельско-хозяйственном Институте и получил возможность серьезно заниматься наукой, имея в своем распоряжении необходимые приборы и средства.

Но и тогда он проявляет всю твердость своего характера и упорство научного «искателя», работая над такими вопросами, как напр. над пиридином, который он выбрал для темы своей магистерской диссертации и который считался тогда «неинтересным» в официальной науке. Его оппонент, видный профессор химии, заявил, что выбор Чичибабиным такой темы показывает, что он не сможет сделать никакого вклада в науку...

Признание пришло к нему, позже, чем он этого был в праве ожидать, после того, как его работы, в частности над трехатомным углеродом, обратили на него внимание заграничных ученых. Он делается приват-доцентом Московского Университета, и в 1908 г. избирается профессором химии Московского Технического Училища. В 1901 г. он был приглашен в Англию и сделал обративший на себя всеобщее внимание доклад в «Британской Ассоциации для Научного прогресса» о трех-атомном углероде. В 1929 г. он избирается действительным членом Академии Наук СССР. Его книги являются основным пособием для студентов и переводятся на иностранные языки.

Общественно-организационная деятельность Чичибабина в России имела два главных устремления: забота о высшем химическом образовании и создание химико-фармацевтической промышленности независимой от за-границы. Для процветания промышленности — условия мощи родной страны — необходимо поднять науку на высокий уровень, дать ей все нужные условия для развития: такова была основная мысль А. Е., которую он изложил в своей брошюре «Новый поворот материальной культуры», вышедшей в 1929 г. в связи с известной запиской ученых о химизации производственной жизни СССР.

«Той атмосферой, писал он, без которой не может жить и развиваться современная химическая промышленность, как не может жить человек без воздуха, является вера в науку и покровительство научным исследованиям, как имеющим практические задания, так и не имеющим их... Напряженность творческой работы требует строжайшего отбора способнейших, которыми располагает страна».

Состоя более 20 лет деканом химического факультета Московского Высшего Технического Училища, Чичибабин горячо отстаивал научность преподавания в высшей школе, в частности в тот период, когда эта школа пережила реформу ее в первые годы после октябрьской революции. Эти мысли были впоследствии признаны единственно правильными и лежат теперь в основе советской высшей школы. Эту свою деятельность он мог развить будучи назначен председателем Комиссии по Кадрам Комитета Химизации СССР (при Совнаркоме) и принимая участие в строительстве высшего и среднего химического образования в Сов. России, прилагая на родине все то лучшее, что он наблюдал при своих поездках для ознакомления с постановкой этого дела за границей: в Соед. Штатах, Англии, Франции, Германии, Швейцарии и Голландии.

А. Е. верил в химию и, в частности, в русскую химию. Он ясно сознавал, что химия приобретает исключительно важное значение для жизни его родной страны, и для жизни всех стран. Припомним по этому поводу слова сказанные великим нашим Ломоносовым: «далеко простирает химия руки свои в дела человеческие». Он сам писал в 1929 г.: «История знает множество примеров, когда открытия русских ученых, приведшие к применениям громадной важности, не были использованы в России. Назову хотя бы открытие получения анилина Зининым, открытие превращения ацетилена в альдегид Кучеровым и работы Ипатьева по каталитическому восстановлению при высоких давлениях».

В России имелись все предпосылки для мощного развития химической промышленности, во первых имелись кадры ученых и техников. «Чистым активом нашим является наличие в СССР кадра научных работников, русские химики во второй половине XIX века дали миру двух гениев: Менделеева и Бутлерова и очень большой ряд ученых игравших и играющих выдающуюся роль в мировой науке... Научная школа наших химиков не уступает по качеству школам научных исследователей лучших западно-европейских ученых».

И далее он пишет: «СССР располагает колоссальными

пространствами, на которых он имеет в огромном количестве все необходимое, чтобы создать свою химическую промышленность, удовлетворяющую почти всем нуждам своего населения а затем могущую дать ряд предметов для вывоза в другие страны. При правильной утилизации этих богатств СССР не будет страшна никакая блокада извне».

Но и это не все: «Залогами успеха являются возможность единства плана, отсутствие противоречия интересов при стремлении к совершенствованию промышленности, но в особенности жизненная сила широких масс населения, вовлеченных социалистическим переворотом в культурную жизнь страны («Новый поворот матерьяльной культуры»).

Эти мысли Чичибабин высказывал в 1928-29 гг. в тот период, когда после разрухи, вызванной войной и революцией, советская химическая промышленность только что достигла уровня довоенного производства. Но А. Е. имел уже до революции большие заслуги перед русской химической и в частности химико-фармацевтической промышленностью. В начале германской войны 1914 г. он обратился к русским химикам с призывом заняться разработкой методов производства в России химико-фармацевтических продуктов, производимых до того времени Германией монопольно для всего мира. Он создает Комитет по организации производства медикаментов в России, председателем которого он становится, и призывает население к сбору лекарственных растений для приготовления нужных армии и тылу медикаментов.

Идеи Чичибабина и других видных химиков о необходимости химизации Сов. России не пропали даром. С начала первой пятилетки происходит коренной сдвиг в химической промышленности СССР. Обеспеченная сырьем благодаря находке и планомерной разработке калиевых солей, серы, фосфоритов, бокситов, полиметаллических руд и редких элементов, опираясь на мощную энергетическую базу в виде электричества, угля и нефти, — химическая промышленность СССР выходит к концу первой пятилетки на 3-е место в мире.

Но особенно близкое участие принимал А. Е. в развитии химико-фармацевтической промышленности, почти не существовавшей до первой мировой войны в России. Во время войны — его усилиями в значительной степени — создается эта промышленность, но она сильно развилась к концу первой пятилетки, когда ценность валовой ее продукции поднялась с 24 милл. рублей в 1926 г. до 52 миллионов в 1931 г., а количество занятых в ней рабочих превысило 5.000 человек.

Чичибабин сделал огромный вклад в русскую химико-фармацевтическую науку и промышленность, в первую очередь своими теоретическими работами, получившими потом практическое значение для производства важнейших медикаментов: назовем исследование химии пиридиновых оснований, синтез пиридинового ядра, работы по алкалоидам — методы получения пилокарпина, пласмохина — нового антималярийного вещества, синтезы сульфамидов содержащих пиридиновое ядро, и т. д.

Он мог бы сам подписаться под словами произнесенными другим крупным ученым: «Всякий ученый теоретик испытывает особое чувство радости, когда его научные открытия используются для блага народа». Видя расцвет русской химической промышленности, зная развитие фармацевтики за границей, он мог с удовлетворением думать: и моего тут капля меду есть!

***

В самый расцвет его деятельности, в 1930 г., его поразил страшный удар судьбы: погибает от несчастного случая его дочь — студентка, работавшая на химическом заводе в Москве. Он не чувствует в себе достаточно моральных сил, чтобы работать в прежних условиях, и уезжает заграницу, где и остается, в Париже. Несколько оправившись от этого удара, он думает работой в лабораториях отвлечься, продолжать свои научные разработки. Но здесь ему не удается найти ни поддержки для своих изысканий, ни среды благоприятной для плодотворной работы, теоретических помощников, на которых он мог бы положиться. Промышленные предприятия, которые приглашают его в качестве консультанта и предоставляют в его распоряжении лаборатории, имеют слишком ограниченные, практические запросы. Это положение его тяготит, но он не уверен в том, что у него есть силы для того, чтобы вновь окунуться в советскую жизнь с ее интенсивной деятельностью. Там нужно много сил.

Его тянет на родину, он получает письма от друзей ученых о том, что его помнят и любят в России, что там он нужен. Это было в 1941 г. Грозовые тучи собираются на международном горизонте. С ним, лишенным советского гражданства, начинают переговоры о его возвращении в СССР. Он не со всем согласен, что там делается, не все одобряет, но теперь не до того. Переговоры не удается довести до благополучного конца, грянула война и сообщения с Россией отрезаны.

Нападение Германии на СССР было для А. Е. тяжелым личным испытанием. Он был уверен, что немцы идут в Россию не для ее освобождения, а для порабощения и превращения в колонию. В тяжелые дни испытаний 1941-42 годов он бывал близок к отчаянию, Чичибабин не мог простить себе, что он не там; он не понимал, для чего ему жить и работать здесь в Париже, когда там в России он нужен. Он вспоминал ту атмосферу московской жизни, в которой так хорошо и плодотворно работалось, подъем от общения с друзьями, с учениками, с русской молодежью, которую он так горячо любил.

Все эти переживания не могли не отразиться на его уже подорванном организме. Начались недомогания, перешедшие в серьезную болезнь. Месяцами был он прикован к постели и испытывал тяжкие физические страдания.

***

Но он не мог примириться со своей физической немощью, с приступами удушья, с возней с лекарствами. Он хотел бы еще поработать, писать свою незаконченную книгу, дающую обзор всего нового, что сделано в науке за последнее десятилетие, дополняющую классический его курс органической химии; он намечал новые исследования в области синтеза хинина, пиридина. По временам его лицо освещалось теплой улыбкой, когда он узнавал что нибудь хорошее про Россию. Он мечтал вернуться и чем меньше было на это надежд, тем сильнее ему этого хотелось.

Но болезнь взяла верх. То светлое спокойствие, которое было на его лице на смертном одре, бывает только у людей свершивших свое жизненное призвание и исполнивших свой долг.

Н. В. П.

БИБЛИОГРАФИЯ

ВИЗАНТИНОВЕДЕНИЕ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ *)

Если была какая либо отрасль науки, составлявшая бесспорную специальность русских ученых, то ею было прежде всего византиноведение.

Нет, конечно, нужды объяснять, почему изучение византийской истории стало в России местным насаждением, столь естественно принявшемся на почве, насыщенной византийским влиянием, в то время как для других стран византиноведение было лишь экзотической флорой, выращиваемой более или менее искусственно, либо как результат модного увлечения, либо по настоянию энтузиастов-пионеров, желавших направить внимание ученых на еще необработанные поля или неведомые культуры. К числу прочих причин возрождения интереса к византиноведению в некоторых странах следует отнести также и политические расчеты, стремление завладеть частью византийского наследства. Но любопытно при этом отметить, что современные греки, хотя они никогда не переставали смотреть с вожделением на Константинополь, в течение долгого времени разделяли старый предрассудок Западной Европы против Византии. Увлеченные славой своих отдаленных предков, создателей «греческого чуда», они с презрением относились к этим «выродившимся» грекам средних веков, и нужно было, чтобы акции бедных византийцев сильно поднялись на Западе, чтобы Греция соблаговолила, наконец, вспомнить эти тридцать оклеветанных поколений. И тем не менее, со времени заслуженной, но неудовлетворительной, а в настоящее время и совсем устарелой книги Папарригопулоса, там была только одна единственная попытка написать историю Византии («История Византийской Империи» Константина Амантоса, 1939 — вышел только том 1).

*) Печатая чрезвычайно ценную статью проф. А. Грегуара, известного специалиста по истории Византии, редакция, в виду размеров этой статьи, к сожалению, оказалось вынужденной сделать в ней, с согласия автора, некоторые сокращения.

Если так обстояло дело в стране, являющейся прямой преемницей Византии, в стране, где язык, — оба языка: литературный и народный, — традиции, церковь, география, словом все дает возможность понимать столько сторон и почти переживать столько сцен византийской жизни, то можно себе представить насколько трудно было привить эту тысячелетнюю историю, так сурово осужденную Вольтером и Тэном, на нашем латинском или германском Западе, где вражда к Константинополю была исконной. И действительно, чтобы сделать изучение византийской истории хотя бы отчасти популярным, потребовались гениальный талант Рамбо, первосортная ученость Диля, его дар светского популяризатора и полвека его систематического труда, вместно с усилиями, положенными изобразителем византийской эпопеи Густавом Шлюмберже и историком византийского искусства Милле. Да, их задача, несмотря на конечный успех, была нелегка и порой доставляла им горькие разочарования в виду революционной новизны предмета, не фигурировавшего в официальных программах обучения. И ни Диль, ни Шлюмберже, несмотря на свои блестящие литературные заслуги, не попали во французскую Академию, которая, однако, не колеблясь приняла в свое лоно такого «писателя», как Пьер Бенуа. Причина? Невежество этих «средних» французов, заседавших под Куполом, и тот уничижительный смысл, который французский политический язык придает эпитету «византийский». В Германии, где баварец Крумбахер написал историю византийской литературы и основал в 1891 году журнал «Byzantinische Zeitschrift», предубеждение было еще более сильно и антипатия более глубока. Эта страна, бывшая в то отдаленное время страной гуманистов и филологов, могла ли она интересоваться периодом греческой литературы, «где предлог 'пара' требовал употребления винительного падежа»? В Англии пример и традиция, установленные Гиббоном, легализовали в некоторой степени византийскую историю, но в то же время изучение этой истории требовало тона мало уважительного по отношению к народу, так часто подвергавшемуся унижениям и оскорблениям.

Совсем иначе обстояло дело в России. Уже первая русская летопись привита к старому стволу византийской хронологии. Чтобы определить даты, установить важнейшие события начального периода русского государства, существует только одно средство: проверить, выправить хронологию Нестора, сопоставив ее с более точными данными различных византийских источников. Вот почему русская Академия по-

ручила швейцарцу Эдуарду де-Мюральту написать его трехтомный труд, озаглавленный «Опыт византийской хронологии», который уже более трех четвертей века является необходимым подспорьем для византиноведов всех стран. Русско-византийские и вообще славяно-византийские взаимоотношения, столь значительные главы в истории самой Византии, являются в России самой основой национальной истории. Что же касается православного богословия, то нет нужды говорить об его чисто греческом происхождении. Поэтому, если сравнить книги, исследования, очерки, статьи, заметки, появившиеся в России начиная с 1860 года и до приблизительно 1928 г., т. е. до смерти Федора Успенского, с тем, что за это самое время было напечатано на французском, немецком, итальянском и английском языках, то поражает уровень, на котором стоят русские труды. Не то, что они всегда превосходят другие своим критическим подходом, талантом изложения, оригинальностью или глубиной взглядов, — скорее можно отметить обратное. Но они намного превышают другие своим интимным знакомством с предметом, своим знанием первоисточников, первоисточников греческих, латинских и даже восточных. Не все русские ученые были тонкими знатоками классического греческого языка. Но все те, которые занимались Византией, знали, чувствовали, несравненно лучше, чем Диль или Шлюмберже, византийский греческий язык, которому старо-славянский и даже современный русский часто только подражают. Вот почему только на русском языке можно найти хорошие переводы самых трудных византийских авторов, вроде Никиты Хониата. Что же касается отцов церкви и религиозных писателей Византии, то русские богословы воздвигли им такие памятники, что вызвали изумление и зависть самых ученых прелатов Греции и всей западной образованности, включая иезуитов и ассумпсионистов. Более того, кто, не зная русского, может изучать Феодорита, Иоанна Эфесского, Федора Студита, Григория Паламу? Феодор Студит, в частности, был объектом двух огромных монографий на протяжении всего лишь нескольких лет. Оба труда (принадлежащие — один перу Гроссу, а другой — Доброклонского) далеко превосходят по объему и ценности все, что было написано о великом Студите в течение веков на всех языках, включая латинский. Поэтому, в период, предшествовавший первой мировой войне, Россия в глазах всего ученого мира являлась классической страной византиноведения. Наука эта была там представлена выдающимися профессорами и приват-доцентами, преподававшими во многих рус-

ских университетах и духовных академиях. Темы по византийской истории с давних пор принимались там для магистерских и докторских диссертаций. Уже в 1884 году Федор Успенский посвятил свою магистерскую диссертацию изучению Никиты Хониата, и эта замечательная книга и по сей день еще остается самой исчерпывающей работой в литературе, посвященной этому знаменитому историку. И мы можем только подчеркнуть здесь, что для тех, кто готовится приступить к изучению Хониата и его эпохи, знание греческого языка безусловно полезно, но знание русского — просто необходимо.

Работы русских византиноведов производились в массовом масштабе и были в то же время вполне законченными. Работники в этой области были многочисленны. Крупные ученые формировали отличных учеников, указывали им темы для работ, проявляя при этом острое чувство научной своевременности. Русские ученые первые из всех приступили к изучению сначала административных учреждений, а затем социально-экономической истории Византии. Для административных учреждений XI века, периода кануна крестовых походов, классический труд Скабалановича, не переведенный ни на какой другой язык, является единственной в своем роде сокровищницей знаний. А книге этой, так же как и Никите Ф. Успенского, уже более шестидесяти лет! Сколько русских журналов печатало очерки и статьи о том или другом периоде, о той или другой стороне византийской цивилизации! Публикации Академии наук, записки ученых обществ, университетов, богословских школ, «Труды», «Летописи», «Записки», издаваемые в Москве, Петрограде, Киеве, Казани, Одессе, должны были штудироваться византистами всего мира.

Но среди всех этих публикаций особенно одна являлась неисчерпаемым источником русской эрудиции. То был изумительный «Журнал Министерства Народного Просвещения» с его двенадцатью книгами в год, — с его сложной нумерацией страниц, объясняющейся существованием многочисленных отделов. Журнал этот еще и по сей день является в глазах исследователей настоящей энциклопедией по византиноведению, ибо в сущности там можно найти все главные работы Васильевского, Веселовского, Федора Успенского, Юлиана Кулаковского и многих других. Уже один этот журнал мог бы играть роль вестника по византиноведению. Но Россия еще пожелала Крумбахеровской «Byzantinische Zeitschrift» противопоставить специальный русский журнал, и основала «Византийский Временник», который в свою очередь встретил в конце своего существования соперника

в лице «Византийского Обозрения», издававшегося в Юрьеве Б. Регелем. И это еще не все. Русский Императорский Археологический Институт в Константинополе имел свой собственный орган: «Известия Археологического Института в Константинополе», в котором изучались знаменитые памятники искусства и обсуждались различные исторические вопросы, начиная с мозаик Солуни и Кахриэ-Джами, с Восьмикнижия и кончая аграрным вопросом и византийской сфрагистикой — наукой о печатях (эти две последние области были специальностью секретаря Института В. Панченко). Нужно ли перечислить другие известные имена? Для памяти полезно назвать хотя бы с полдюжины. В первом ряду стоят два великана: гениальный исследователь Васильевский, классические работы которого, как напр. «Варяго-русская дружина» и «Печенеги» не нуждаются ни в какой переработке, и Федор Успенский, который с такой смелостью проник в неисследованные дотоле области и которого не устрашали ни экономическая история, ни богословие, ни сложные проблемы, связанные с историей «Константинопольского Университета», ни философско-религиозные споры, ни история искусства, которой он, в качестве главы Константинопольского Института, должен был заниматься, ни, наконец, общий синтез византийской истории (но,может быть, эта последняя задача была выше его сил). Его большая «История Византийской Империи» осталась незаконченной, точно так же, впрочем, как и византийская история Кулаковского. А. А. Васильев, переселившийся в Америку в 1924 году, написал еще задолго до первой мировой войны свои главные работы, важнейшей из которых является его двухтомный труд «Византия и Арабы», появившийся полвека тому назад и написанный по внушению двух его учителей: Васильевского и барона Розена, этого замечательного арабиста, который сам так блестяще использовал восточные источники для своего «Василия Болгаробойцы».

И мы еще ничего не сказали, за исключением Успенского и его Института, о русских пионерах в области истории искусства. А между тем Айналов своими «Эллинистическими основами византийского искусства» наметил вехи для этой отрасли науки, а Н. П. Кондаков был замечательным главой школы и по своему формату превосходил большинство названных историков и филологов и даже богословов и историков церкви, которых нам остается еще упомянуть. Среди последних были Дьяконов, Брильянтов, русский сириец Яреда, Попов и Иванцев-Платонов, так хорошо знавшие деятельность

патриарха Фотия и религиозную политику Леона VI, и, наконец, гениальный Болотов, «Лекции по церковной истории» которого являются не только для меня, но даже для наших ученых издателей житий святых, знаменитых Болландистов, постоянным источником научного вдохновения.

Что же осталось от этого громадного здания, воздвигнутого русским византиноведением? Ничего или почти ничего. Прежде всего исчезли все названные журналы: нет больше ни «Византийского Временника» (последний том был напечатан в 1927 году), ни «Византийского Обозрения». Русский Институт в Константинополе закрылся в 1914 г.; библиотека Института, редкая по богатству, была конфискована и коллекции ее распылены. «Известия» исчезли вместе с учреждением, органом которого они являлись. Духовные Академии были упразднены. Большая часть названных нами византинистов умерло, либо в России, как Успенский, либо в изгнании, как Кондаков. Вторая мировая война завершила в этом отношении разрушительную работу первой. «Seminarium Kondakovianum» и его печатный орган под тем же названием, в последние годы переименованный в «Annales Kondakovianae», переехавшие из Праги в Белград, стали там жертвой рока. Расовский, историк степных кочевников и продолжатель в этом вопросе Васильевского, был убит при бомбардировке Белграда вместе со своей женой, дочерью последнего крупного археолога Н. Окунева (от самого Н. Окунева мы недавно получили из Праги письмо, в котором он сообщает, что собирается в ближайшее время возобновить печатание чешского журнала «Byzantino-Slavica»). Три видных русских ученых, редактировавшие вместе с Расовским «Annales» и преподававшие в Белградском университете, если и живы, как мы надеемся, то кажется подверглись гонениям и двое из них как будто лишены кафедр. Это Георгий Острогорский, Владимир Соловьев и В. Мошин. Двое последних выпустили незадолго до этой войны чрезвычайно полезный и наиболее научный сборник греческих средневековых актов сербских владетелей, снабженный всеисчерпывающим комментарием и указателем. К сожалению, мы лишены более точных сведений о теперешней судьбе этих трех крупных ученых, мы слышали только, что В. Мошин ушел в монастырь. Два других прежних члена «Seminarium Kondakovianum», историк Георгий Вернадский и его зять археолог Н. Толль, живут, как известно, в New Haven'e. Что касается А. А. Васильева, попрежнему неутомимого, несмотря на свои более чем 70 лет, то он продолжает с поразительной регулярностью выпускать все новые

работы. Его последняя книга о нападениях русских на Византию ставит наново и наново разрешает проблемы, связанные с историей первого века русского государства. Благодаря ему великая русская школа продолжается и влияние ее на мировое византиноведение все растет, ибо А. А. Васильев, во всех своих книгах и статьях, не перестает напоминать об изысканиях, открытиях, заслугах своих великих предшественников, коллег и современников, ныне уже исчезнувших*).

Но мы поставили вопрос: что же осталось от этой славной традиции в самой России? Нужно еще раз сказать: все специальные органы по византиноведению там исчезли, а ученые либо умерли, либо находятся в рассеянии. Однако некоторые продержались там довольно долго. Несколько лет тому назад известный коллекционер и археолог В. Лихачев прислал нам три своих статьи, которые я имел честь перевести и напечатать, две последних, к сожалению, уже после его смерти. Первый том «Byzantion'a» содержит довольно полную картину работ по византиноведению в Советской России за 1924 год, а годом позже мною было переведено на французский то, что можно назвать «научным завещанием» Ф. Успенского. В томе IV «Byzantion» напечатано было несколько археологических заметок, принадлежащих перу сотрудников Успенского, предназначавшихся для опубликования в общем сборнике по истории Трапезунда. В течение нескольких лет археологи Алпатов и Брунов и филолог Бенешевич, зять известного польского гуманиста Тадеуша Зелинского, с блеском сотрудничали в разных западно-европейских журналах, но затем мы больше их имен не встречали. Оставалось еще несколько востоковедов и специалистов по классическому периоду, пользовавшихся большим уважением в международной исторической науке. Трое из них недавно умерли: это классический филолог и историк древности Жебелев, знаток семитских языков Коковцов и знаменитый турколог Бартольд. Остается И. Ю. Крачковский, блестящий арабист, сотрудничавший с Васильевым в издании истории Яхья-ибн-Саида. Недавно мы прочитали очаровательный томик его воспоминаний «Над арабскими рукописями», выпущенный Академией Наук СССР.

---

*) Как дань преклонения перед его выдающимися научными заслугами, А. А. Васильеву посвящен т. XVII международного органа по византиноведению «Byzantion», 1944-45.

***

И тем не менее русское византиноведение не исчезло окончательно. Возврат к изучению отечественной истории должен был воскресить интерес к Византии, культура которой оказала такое влияние на развитие России. В 1940 г. появилась однотомная история Византии М. В. Левченко. Книга эта, несмотря на свои многочисленные недостатки и предрассудки ее автора, осужденные А. А. Васильевым в его рецензии («Byzantion» т. XV, 1940-41), явилась тем не менее первой ласточкой начавшегося возрождения византиноведения в Советской России. В. Г. Жебелев еще в 1939 году напомнил в статье, появившейся в «Вестнике Древней Истории», о былой славе русской византиноведческой школы и наметил ее задачи для ближайшего будущего («Русское византиноведение, его прошлое, его задачи в советской науке»). Н. Лебедев в своей статье «Византиноведение в СССР за 25 лет» (см. «Двадцать пять лет исторической науки») также пытается доказать, что традиция, установленная этой школой, никогда не прерывалась. В 1939 году в ленинградском отделении Института Истории Академии Наук образовалась группа византинистов. Появилось несколько работ, помеченных 1940, 1941, 1942 г. М. Шангин поместил в журнале «Историк-Марксист» несколько кратких заметок о византино-русских договорах и на другие, связанные с этим вопросом, темы (1941). Первая крупная работа Н. Пигулевской: «Месопотамия на рубеже V-VI вв. н. э. (Сирийская хроника Иешу Стилита)» появилась в 1940 г.

Движение это особенно усилилось начиная с 1943 года. Появилась группа византинистов в Москве под руководством академика Е. А. Косминского, и печать оповестила о ближайшем выходе первого тома «Византийского Сборника»*).

Отметим здесь имена участников этого возрождения. Действительным главой группы являлся вначале Б. Т. Горя-

*) Первый номер «Византийского Сборника» напечатан в 1945 году. Он содержит между прочим посмертную статью А. Дьяконова, умершего в мае 1941 г.: «Византийские димы и факции в VI и VII вв.»; статьи М. Левченко: «Материалы для внутренней истории восточно-римской империи V и VI вв.; В. Вальдебнерга в прошлом ценного сотрудника «Byzantion'a»: «Философские взгляды Михаила Пселла»; Е. Э. Липшиц: «Византийское крестьянство и славянская колонизация»; М. Шангина: «Византийские политические деятели первой половины X в.», и др.

нов. Наряду с ним мы встречаем имена госпожи Е. Э. Липшиц и Н. В. Пигулевской. Темы, над которыми каждый из них работает, очень интересны и чрезвычайно показательны. Сюжет большой работы Н. В. Пигулевской, «Византия и Иран в VI и VII вв.», основанной, как сообщается, на новых источниках, в особенности сирийских, вполне в линии славной традиции, установленной ориенталистами-византинистами Розеном, Васильевым, Крачковским*), в то время как Горянов в своем исследовании по социальной революции зилотов в Византийской империи XIV века выказывает себя учеником и продолжателем Успенского. Е. Э. Липшиц также возвращается к одной из излюбленных тем Успенского — истории византийской культуры (см. его «Очерки по истории византийской образованности», С.-Петербург, 1892), занявшись детальным изучением известного ученого IX века Льва Математика, учителя Фотия и Константина-Кирилла. Тема эта — необходимая глава в большом труде по научному и философскому движению в Византии, разработка которой доставила бы удовольствие Ф. Успенскому: ее действительно не хватает как в его «Очерках», так и в серии его статей, появившихся, под названием «Богословское и философское движение», в «Журнале Министерства Народного Просвещения» (в них Успенский изучает главным образом более поздний период — XI, XII и XIV вв.).

Нас приятно поразили заметки, замечания и примечания, напечатанные в «Историческом Журнале» за 1944 г. за подписью Б. Горянова. Его чисто научный энтузиазм трогает своей искренностью и бескорыстностью. Если движение это будет продолжаться, если оно не будет неожиданно и грубо подавлено, то есть некоторая надежда на то, что прерванная традиция восстановится. Чтобы достичь этого, советские византинисты должны прежде всего приступить к углубленому

*) См. также великолепную работу, достойную во всех отношениях великой школы русских ориенталистов, В. Гордлевского: «Государство сельджукидов Малой Азии», изд. Академии Наук СССР, М.-Л. 1941, 198 стр. Книга эта — критический обзор первоисточников, персидских и турецких хроник, напечатанных 45 лет тому назад голландским ученым г. Т. Хаутсма. К этим источникам автор сумел прибавить много ценных документов. Нельзя не оценить его прекрасного знакомства со всей современной международной литературой вопроса. Брюссельская школа, в частности, ему признательна за исчерпывающий обзор ее публикаций до 1940 г. (особенно писаний П. Виттека).

и благоговейному изучению трудов своих великих предшественников. Просматривая номера «Исторического Журнала» за 1944 г., мы замечаем, что это первое условие для возрождения византиноведения выполняется, ибо в номере 5-6 Н. Лебедев посвящает восемь столбцов «академику В. Г. Васильевскому» и его трудам по византийской истории, а в номере 12 (столбцы 44-52) Б. Горянов отдает подобную же дань Ф. И. Успенскому.

Правда, если бы византиноведение было в современной России действительно живой наукой, то и Лебедев и Горянов не преминули бы отметить то новое, что наука внесла за последние полвека (т. е. со смерти Васильевского в 1899 году) или, по крайней мере, с 1928 года (год смерти Успенского). Но византиноведение в России сейчас только пробуждается от долгого сна, или, по крайней мере, полу-дремоты, и потому печатаемые там биографии и библиографические обзоры, хотя и очень детальные, очень точные и очень полезные, лишены какого бы то ни было критического подхода. Во всяком случае в них не чувствуется никакой попытки пересмотреть решения больших исторических проблем, — решения, часто носящие лишь временный характер, — данные этими знаменитыми историками, которые, несмотря на свою гениальность, могли ошибаться и даже серьезно ошибаться. Совершенно очевидно, что научные работники в Советской России в массе своей отучились от критического подхода к историческим проблемам и отвыкли от проверки выводов путем обращения к первоисточникам.

Мы с большим любопытством прочитали разбор произведений Васильевского, касающихся первоначального периода русской истории. Н. Лебедев, автор этого обзора, составленного в самых неопределенных выражениях, выказывает себя настоящим диллетантом, совершенно чуждым трактуемому вопросу. Никогда, думается нам, в русской научной литературе не было более неудовлетворительного обзора по вопросу, столь близко в прежнее время знакомому не только ученым, но и простым составителям учебников. Н. Лебедев, повидимому, и не подозревает, что выводы этих блестящих работ Васильевского лишь смелые гипотезы, в то время как Куник, идеи которого Васильевский оспаривал, верно оценил источники и правильно установил факты. Н. Лебедеву очевидно также совершенно неизвестны новейшие работы, появившиеся по этому вопросу, которые окончательно разрушают установку Васильевского. Когда появится готовящаяся к выходу книга А. А. Васильева, выступающего там во всеоружии кри-

тического метода, то при сравнении этой книги с обзором, данным Лебедевым, станет еще яснее полный застой в научной работе советских ученых по столь капитальному вопросу русской истории. Ибо нужно сказать, что в настоящее время не осталось ничего от доводов, приведенных Васильевским в доказательство своей тезы. Все его усилия установить факт похода русских на Константинополь до 860 года просто провалились. В житии Георгия Амастридского, на которое он ссылается, говорится на самом деле о русском походе 941 года, а не о каком то несуществующем походе 836 года. Что же касается жития Стефана Сурожского, на которое Васильевский опирается, то оно чисто легендарного характера. И уже, конечно, никак нельзя принять всерьез те чисто произвольные гипотезы, которые отправным пунктом этих походов на Крым (где находился Сурож) или на Малую Азию (где находулся Амастрид) определяют не Киев, а Тмутаракань. Конечно, подобное заключение, вычеркивающее два древних свидетельства военной славы русских славян периода, предшествовавшего обоснованию варягов в Киеве, может огорчить некоторых русских патриотов. Но зато возрадуются другие, так как с исчезновением двойного миража, вызванного смелостью Васильевского, выступает с особенной ясностью авторитет самой основы русской истории, — Первоначальной Русской Летописи. Первым походом русских на Византию остается нападение на Константинополь при патриархе Фотии, столь точно датированное 860 годом. Этот факт ни в коем случае не ставит под сомнение ученость Васильевского. Но современная критика не может, конечно, следовать за ним, когда он пытается оспаривать данные Летописи, опираясь на агиографические памятники более чем сомнительного происхождения.

Вот что следовало бы сказать в 1944 году, давая обзор работ, во многих частях уже устаревших. Правда, разбор трудов Успенского, сделанный Б. Горяновым, указывает на более солидное знакомство с вопросом и лучшее знание источников. Но и Горянов видно тоже совершенно незнаком с современной иностранной литературой, и это приводит к тому, что настоящая роль Успенского в истории византиноведения, роль столь крупная и столь славная, выявляется далеко не достаточно*).

*) Заметим мимоходом, что западный византинист не напечатал бы теперь несколько раз подряд, как это делает Горянов, несуществующее имя А к о м и н а т, называя так двух братьев — историка Никиту и афинского епископа Михаила. Уже более десяти

Отсутствие критического подхода чувствуется и у Горянова, ибо совершенно непозволительно воспроизводить, как он это делает, без каких либо оговорок, устаревшие идеи Успенского о влиянии, которое будто бы оказало распространение славянских поселений в Империи на социально-экономическое развитие Византии. А. А. Васильев в своей «Истории Византии», резюмируя старый спор по этому вопросу, заключает: «В настоящее время следует, по нашему, окончательно отбросить идею о славянском влиянии на образование новой структуры Империи»*).

Мы достаточно часто протестовали против невежества, проявляемого западными учеными по отношении к русским работам, — невежество, которое задерживало развитие европейского византиноведения, — чтобы не остеречь советских ученых, так мужественно восстанавливающих эту науку в России, от пренебрежительного отношения ко всему, что создано в этой области византинистами иностранными. По курьезной иронии судьбы, верно тому же достопочтенному А. А. Васильеву, который так долго и так заслужено проводил работу по осведомлению западных ученых с трудами Успенского, Васильевского и др., придется теперь ознакомить своих соотечественников с тем колоссальным вкладом, который их английские, французские, немецкие, итальянские и греческие коллеги внесли в дело мирового византиноведения. И было бы особенно пикантно, если бы ему пришлось также взять на себя труд напомнить русским ученым о работах Панченко, основные положения которого противостоят положениям Успенского...

**
*

Пожелание это я высказал несколько месяцев тому назад, после ознакомления с содержанием «Исторического Журнала» и «Бюллетеня Академии Наук» за 1944 год. Я рад, что не опубликовал тогда же этих отрывочных заметок по поводу

лет мы знаем, что А к о м и н а т является испорченной формой имени Х о н и а т (носители которого происходили из города Хоны во Фригии).

Следует отметить, что последний библиографический обзор зарубежных византиноведческих журналов был, насколько можно судить по «Вестнику Академии Наук СССР», № 5-6, 1945, дан С. П. Кондратьевым в 1938 году (в «Вестнике Древней Истории», № 4).

*) Стр. 327-328 (цитируем по французскому изданию).

указанных случайных материалов, ибо теперь я могу снабдить их заключением, показывающим, что в Советской России делаются попытки улучшить дело византиноведения.

В мире советской исторической науки произошла новая революция. Как и все прежние изменения в научной ориентировке, которые одно за другим удивляли, поражали, а иногда и гальванизировали научных работников этой страны плановой науки, этот последний переворот является настоящим coup d'Etat, ибо исторические дисциплины и те, которые ими занимаются, получили беспрекословный, настоятельный приказ, формулировка и цели которого чисто политические. Если держаться одного только текста новых инструкций, то еще можно было бы усомниться в правильности этой оценки, но достаточно назвать источник, откуда они исходят, чтобы все сомнения исчезли. Что же касается самого факта перемены курса, то за него говорит новое название журнала, который с осени 1945 года заменил ликвидированный «Исторический Журнал». Этот последний выпустил еще пять номеров в 1945 году. Шестой же номер, июньский, так и не появился в свет. Вместо него начал выходить научный ежемесячник под названием «Вопросы Истории». Редакционное предисловие к первому номеру этого издания, озаглавленное «Задачи Журнала», является настоящим манифестом о причинах и характере произведенной реформы. Приведем несколько выдержек из него:

«Институт Истории Академии Наук СССР приступает к изданию нового периодического органа под названием «Вопросы Истории» вместо выходившего ранее «Исторического Журнала». Центральный Комитет ВКП(б), рассмотрев содержание «Исторического Журнала» за последнее время, признал, что «Исторический Журнал» ведется неудовлетворительно и не отвечает своему назначению. «Редакционная коллегия журнала, — говорится в постановлении ЦК ВКП(б), — не справляется с возложенными на нее задачами и не обеспечивает ведения журнала на надлежащем научном уровне. Журнал не разрабатывает важнейшие проблемы советской исторической науки, зачастую наполняется статьями и материалами, не имеющими отношения к истории или лишенными научного значения. Редакция «Исторического Журнала» слабо связана с научно-исследовательскими учреждениями и недостаточно привлекает к участию в журнале наиболее квалифицированных историков». Центральный Комитет партии постановил реорганизовать «Исторический Журнал» в журнал «Вопросы Истории» и о п р е д е л и л о с н о в н о е

направление нового журнала (курсив наш), обязав редакционную коллегию коренным образом улучшить работу журнала, прекратить публикацию статей, не имеющих отношения к исторической науке, сосредоточив внимание и силы историков на научной разработке вопросов истории СССР и всеобщей истории».

Общая политика нас здесь не интересует, — и к этому документу мы подходим исключительно с точки зрнеия развития византиноведения в Советской России. В указе, подобном только что процитированному, нужно уметь отделить то новое и конкретное, что в нем содержится, от старого и условно обязательного. В этом первом номере журнала марксистская фразеология нашла себе убежище, главным образом, на страницах его введения-программы. Статьи же, там напечатанные, носят чисто научный характер, если не по новизне результата, то во всяком случае по намерению их авторов, а также по научному аппарату (библиографии), которым они снабжены. В нем чувствуется реакция против статей чисто пропагандистского характера, которых было много в «Историческом Журнале». Верным показателем такого характера статей была подлинно религиозная мания в цитировании «священных текстов»,—мания, которой еще совсем недавно были подвержены самые серьезные авторы. Просматривая же первый номер «Вопросов истории», мы замечаем, что ссылки на Маркса и Энгельса стали попадаться значительно реже.

К этому надо прибавить две другие особенности, которые можно назвать в высшей степени утешительными. Всякий, кто знаком с новейшими публикациями в области истории, испытывает вполне понятное чувство отталкивания от тех часто пустых выдумок, которыми славится Н. Державин. Приятно видеть, что ему достается довольно сильно, хотя еще и не в достаточной мере, от профессора В. Пичеты, который дает разбор его вздорной книги: «Происхождение русского народа — великорусского, украинского, белорусского» (Москва 1944). Второе симптоматическое явление, наряду с этим намечающимся пробуждением способности к критике, это пожелание, выраженное в редакционной статье, привлечь к сотрудничеству в журнале зарубежных историков, работы которых журнал будет охотно помещать на своих страницах, если только их авторы «разделяют принципиальные позиции советской исторической наук» (увы, ограничение это является почти что запретом!).

Нам остается показать, хотя бы на одном примере, как эта

новая установка отразилась на работах византинистов, сотрудников «Вопросов Истории».

Профессор Н. Грацианский посвятил двадцать страниц деятельности Константина и Мефодия. Его библиография несколько устарела. Из работ Дворника он, повидимому, знаком только с его книгой «Славяне, Византия и Рим в IX в.», другие же, более новые и блестящие исследования этого автора, как работы об истино-византийском характере житий Кирилла и Мефодия и о пресловутом «втором расколе патриарха Фотия», — который автор расценивает как историческую мистификацию, Н. Грацианскому, очевидно, неизвестны. И уж, конечно, ему совершенно неизвестны работы, которые за последние годы появились в Америке и Европе (исключение составляет книга Г. Вернадского, вышедшая в 1943 г. и статья A. Vaillant, «Les lettres russes de la vie de Constantin», но, думается, что этой последней статьи Грацианский сам не читал). Н. Грацианский, наверное, очень удивится, когда узнает из «Byzantion'a», т. XVII и «Annuaire de l'Institut de Philologie et d'Histoire Orientales et Slaves», т. VII, как далеко ушла вперед международная историография в области славяно-византийских исследований за время последней войны. Он там найдет, что вопрос о пресловутых «русских письменах», найденных в Крыму Константином-Кириллом, больше не должен «сокрушать головы славянским исследователям», ибо эти мнимо-русские письмена, предшествовавшие славянскому и русскому алфавитам, являются, как это доказал A.Vaillant и еще лучше Р. Якобсон, ничем иным, как сирийскими знаками (лучшие рукописи говорят: «сурскими», а не «русскими»). Н. Грацианский будет также поражен открытием, сделанным г. Гонигманом, который совершенно по новому освещает вопрос об епископстве Мефодия.

Если в России действительно имеется желание продвинуть вперед изучение византийской истории и вместе с ней истории первоначальной Руси, то уж, видно, придется им решиться на сотрудничество иностранных ученых и при том не только таких, которые «разделяют принципиальные позиции советской исторической науки»*). **Анри Грегуар**

(Перевод с рукописи **А. Бургиной**)

*) Мною только что получен присланный мне из Москвы упомянутый выше «Византийский Сборник», под редакцией М. В. Левченко, 273 стр. В следующем номере «Нового Журнала» я дам обзор этой интересной книги.

В. А. МАКЛАКОВ. **Первая Государственная Дума (воспоминания современника).** Париж, 1939.

Книга эта, лишь недавно дошедшая до Америки, является, по указанию автора, непосредственным продолжением предыдущей («Власть и общественность на закате старой России»). Подобно своей предшественнице, она лишь в очень условном смысле может быть названа «воспоминаниями», Это скорее «ретроспективная публицистика», поскольку в ней автор пытается осмыслить прошлое в свете последующего политического опыта. Такой подход не только вполне законен, но и может дать результаты, ценные как для политика, так и для историка. В. А. Маклаков совершенно прав, когда он не боится поставить вопрос, как пошла бы история России, е с л и б ы в 1906 году либеральная русская общественность действовала иначе, чем она действовала на самом деле. Вопреки распространенному убеждению в бесплодности таких рассуждений от «если бы», подобные гипотетические построения очень полезны, а может быть даже и необходимы, для правильнаго понимания исторических событий.

Для тех, кто знаком с предыдущей книгой В. А. Маклакова (главы из нее первоначально появились в «Современных Записках»), основная тенденция новой его книги не явится неожиданной. Это в сущности развенчание Первой Думы (автор говорит о ее «незаслуженной канонизации»), связанное с суровой критикой тактики кадетской партии. Полемизируя с тем освещением конфликта между Думой и правительством, которое в свое время было дано П. Н. Милюковым и М. М. Винавером, В. А. Маклаков доказывает, что «агрессором» в этом столкновении была Дума, тогда как правительство только оборонялось. Для этого конфликта, имевшего, по мнению автора, роковые последствия, не было достаточных оснований. Новые Основные Законы были подлинной конституцией — вопреки заявлениям кадетских вождей, «умышленно смешивавших конституцию с парламентаризмом». Знаменитые «три замка», о которых писал Милюков, не были непреодолимым препятствием. На основании контситуции Дума могла внести законопроекты и о расширении избирательного права и о реорганизации верхней палаты. Что же касается ответственности министерства, то она вообще устанавливается практикой, а не законом.

Думе нужно было прежде всего укрепить новый конституционный строй, используя все предоставленные им возможности, как для проведения неотложных реформ, так и для постепенного улучшения самой конституции. В этом, казалось бы, и должна была заключаться основная задача партии русского либерализма. В действительности же «победивший в 1906 году русский либерализм проиграл свое

дело». Произошло это потому, что в Первой Думе кадетская партия, изменив своей природе, стала не на конституционную, а на революционную позицию. Отсюда — и объявление Основных Законов «нарушением прав народа», и утверждение о невозможности «органической работы», и отказ в сотрудничестве с правительством, и попытки вторжения в область прерогатив конституционного монарха. Подлинными конституционалистами в Думе были гр. Гейден и Стахович, кадетские же вожди оказались пленниками революции.

В ряде глав В. А. Маклаков подвергает подробному анализу различные стороны думской деятельности и приходит к очень неблагоприятным для Думы выводам. Программа думских работ, как она была формулирована в ответе на тронную речь, была набором общих мест, и правительственная декларация, по мнению автора, была много яснее и содержательнее. Резко-отрицательное отношение Думы к этой декларации В. А. Маклаков считает несправедливым и тактически глубоко ошибочным. В бурном заседании 13-го мая Дума окончательно избрала свою дорогу, «резко оттолкнув протянутую ей правительством руку». В этот день «торжествовала трудовицкая идеология и кадеты говорили трудовицкие речи». Тем самым Дума скомпрометировала возможность мирной конституционной эволюции.

Законодательная деятельность Думы дала скудные результаты — и не в силу внешних препятствий, а по вине самой Думы. Не давая движения правительственным законопроектам, Дума в то же время не обнаружила особого искусства в проявлении собственной своей законодательной инициативы. Немногие принятые Думой законопроэкты В. А. Маклаков считает крайне неудачными. Так «декларативный» закон об отмене смертной казни был «технически никуда не годным», а думский аграрный законопроект, совершенно не затрагивавший старого крестьянского землевладения и не намечавший никаких мер к улучшению земледельческой техники, был продиктован чисто политическими соображениями: лозунг принудительного отчуждения был рассчитан «не на успокоение, а на обострение политического конфликта». В том же духе и в тех же целях пользовалась Дума и правом запросов, разумное пользование которым могло бы, по мнению автора, явиться путем к постепенному утверждению в России парламентаризма. Для обличения незакономерности действий властей Думе самой надо было оставаться на почве закона, а не пользоваться запросами как агитационным оружием в борьбе против правительства.

Общее направление деятельности Думы было одним из основных факторов, сделавших роспуск ее неизбежным. Другим была неудача переговоров об образовании думского министерства, вина за которую автором возлагается на ту же либеральную обществен-

ность. Продолжая старую свою полемику с П. Н. Милюковым, В. А. Маклаков доказывает, что инициатива Трепова была чисто личной и несерьезной, а предложение П. Н. Милюкова, настаивавшего на партийном кадетском министерстве, не имело никаких шансов на успех. Напротив, переговоры о коалиционном министерстве, инициаторами которых были А. П. Извольский со стороны правительства и Н. Н. Львов со стороны общественности, носили вполне серьезный характер и имели все шансы на успех. Да и по существу подобное соглашение между «разумной частью бюрократии» и широким фронтом либеральной общественности гораздо больше отвечало бы потребностям момента нежели партийное кадетское министерство. Соглашение это оказалось невозможным из-за сопротивления кадетских вождей, и после того для правительства не оставалось другого выхода кроме роспуска Думы: «Думу пришлось распустить для спасения конституции». В самом роспуске Думы автор не видит ничего противоконституционного, чем и определяется его безоговорочное осуждение Выборгского воззвания.

Блестяще написанная и читающаяся с огромным интересом, книга В. А. Маклакова, конечно, вызовет много возражений. Логическая аргументация автора очень убедительна — если принять исходную его точку зрения. Но именно здесь, в области общей его исторической концепции, открывается поле для критики со стороны тех, кто по иному читает до-революционную историю России. Найдутся среди читателей В. А. Маклакова такие, которые не согласятся с основным его утверждением, что после 1905 года «для дальнейших реформ революции больше не было нужно». Но даже и те, кто с этим утверждением склонны будут согласиться, могут по иному подойти к вопросу о распределении ответственности за срыв «мирной конституционной эволюции». Временами трудно отделаться от впечатления, что автор видит вину русского либерализма там, где на деле была историческая его трагедия. Так ли уж несомненно, что в 1906 году кадеты могли стать господами положения — даже если бы они следовали по тому пути, который В. А. Маклаков считает единственно правильным? В этом вопросе заявления автора не свободны от некоторых противоречий. Если в одном месте своей книги он противопоставляет кадетов, как передовую интеллигентскую группу, «отсталому и потому в общем консервативному населению», то в другом месте он видит силу трудовой группы в том, что «ее настроение тогда встречало отклик повсюду» — «оно было общедоступно; почти каждой душе оно было понятно и сродно». Не преувеличивает ли В. А. Маклаков, с другой стороны, и роковое значение допущенных кадетами в Первой Думе тактических ошибок? Если бы в России того времени были достаточно прочные исторические основания для «мирной конституционной эволюции»,

то могли ли бы эти ошибки с а м и п о с е б е сорвать эту эволюцию, как бы велики они ни были? Дело не в том, что эта эволюция была невозможна — я не менее В. А. Маклакова далек от этого рода исторического фатализма. Вопрос заключается в том, можно ли при обсуждении ее неудачи игнорировать или преуменьшать значение других факторов и, в первую очередь, значение правительственной политики — если не в эпоху Первой Думы, то в дальнейшем. И можно ли действительно объяснять эту политику, со всеми ее роковыми последствиями, тем, что после опыта Первой Думы и монарх и его министры потеряли доверие к либеральной общественности?

В своем вступлении автор как бы извиняется за то, что его воспоминания, против собственной его воли, оказались «не вполне чужды современности». Жалеть об этом едва ли приходится. Быть может главное достоинство книги В. А. Маклакова заключается в том, что, при всей спорности ее выводов, она, с делающей честь ее автору смелостью, ставит вопросы, не только являющиеся основными для понимания исторической судьбы России, но имеющие жизненное значение и для настоящего времени.

М. Карпович

G. GAFENCO. Préliminaires de la guerre à l'est. 399 pp. Egloff. Fribourg (Suisse), 1944.

Автор этой книги, вышедшей в Швейцарии в 1944 г., но только недавно полученной в Америке, с декабря 1938 г. по май 1940 г. состоял румынским министром иностранных дел, а с июня 1940 г. по июнь 1941 г. — румынским посланником в Москве. С обоих постов он имел возможность непосредственно следить за развитием событий, составивших прелюдию ко второй мировой войне, и ее первый акт, прошедший под знаком дружественного нейтралитета СССР по отношению к воинствующей Германии. Свои наблюдения и размышления он и предлагает читателю в очень гладкой, временами даже блестящей форме.

Книга состоит из двух частей. Первая посвящена систематическому изложению событий, начиная с подписания московского пакта (23-го августа 1939 г.) и кончая разрывом его в порядке «блицкрига». В своем изложении автор пользуется двумя приемами. Во-первых, довольно скудный фактический материал (ибо участники драмы, как известно, пользовались даром слова для того, чтобы скрывать свои мысли) восполняется пространными суждениями о том, что должно было в тот или иной момент предстоять перед умственным взором Гитлера, Сталина, Риббентропа, Молотова и т. д. Догадки автора часто весьма правдоподобны, но конечно не могут заменить подлинных исторических источников, которые ныне, в связи с нюренбергским процессом, частично предаются гласности. Во-вторых, г. Гафенко при каждом удобном случае пользуется аналогией с франко-русскими отношениями за тильзитский период: московский пакт — это Тильзит, берлинский визит Молотова — это Эрфурт, последний доклад фон-Шуленбурга Гитлеру — это последняя перед войной беседа Коленкура с Наполеоном, и т. д. Аналогия местами довольно убедительна, но она уже много раз была использована, а злоупотребление ею приводит к затушевыванию коренных различий; впрочем, на последних г. Гафенко останавливается в заключении, не замечая, что тем самым он вносит некоторую непоследовательность в свой труд.

Во всей первой части лишь изредка можно найти сведения основанные на прямом наблюдении и при том неизвестные или мало известные. Красочен рассказ о том, как Сталин приехал на вокзал провожать Матцуоко, увозившего с собой пакт о нейтралитете (13-го апреля 1941 г.), как он будто бы расцеловал всех представленных ему военных атташе, а германскому сказал: «с вами мы навсегда останемся друзьями» (в несколько иной версии рассказ этот можно найти и в книгах некоторых американских корреспондентов). Интересен также рассказ об одной беседе автора с германским послом. По словам последнего, настаивая на отмене интерна-

ционального режима в устьях Дуная, Молотов подчеркнул, что он особенно этого добивается, чтобы стереть клеймо неудачной для России крымской войны.

Вторая часть книги повествует о тех же приблизительно событиях, но со специально румынской точки зрения и в несколько более широком захвате времени, а именно с мюнхенского пакта — в одном месте автор метко называет оба пакта, мюнхенский и московский, преступными. В этой части много больше, чем в первой, сообщений, основанных на непосредственном участии автора в событиях. Изложение наглядно показывает трагедию «промежуточных стран», начавшуюся с Мюнхена и углублявшуюся с каждым этапом в развитии совето-германского сотрудничества. В сущности, выхода для них не было. К чести автора, он настаивал на сопротивлении германским требованиям о присоединении Румынии к оси и покинул министерский пост, когда король принял обратное решение. В Москве г. Гафенко пытался ослабить неблагоприятные для Румынии последствия присоединения, но, как сознается, не имел ни малейшего успеха. В качестве исторического документа ценна запись последнего его разговора с Молотовым, уже после начала войны. В этом разговоре Молотов сказал между прочим: «Мы однажды воевали за вашу независимость». Мы — это русские. Народный комиссар иностранных дел не сделал, значит, цезуры из революции 1917 г., которая в свое время официально почиталась гранью времен, не имеющих между собою ничего общего. Возврат к национально-историческому прошлому, в частности возрождение политики расширения империи, проходит красной нитью через суждения г. Гафенко. Стоит отметить следующее, глубоко верное замечание автора: «Возрождаясь, старая Россия указала новой России цели расширения, не теряющиеся более в заоблачных высях всемирного большевизма, но отвечающие неизменным данным политического и географического характера». Когда г. Гафенко писал свою книгу (она помечена декабрем 1942 г.), он еще не мог предвидеть, что сочетание коммунистического интернационализма и имперской традиции, может, по крайней мере на время, залить огромные пространства, не отвечающие «данным политического и географического характера», в том числе и отечество автора.

Н. С. Тимашев

P. De AZCARATE. **League of Nations and National Minorities—An Experiment.** Translated from the Spanish. Columbia University Press, New York, 1945 $2.00

H. LAUTERPACHT. **An International Bill of the Rights of Man.** Columbia University Press. New York, 1945. $3.00

Названные книги в значительной мере говорят об одном и том же. Но тогда как Аскаратэ, пробывший больше десятка лет в Секции Меньшинств при Секретариате Лиги Наций, и директор этой Секции, обращен в прошлое, излагает и оправдывает практику Лиги Наций, другой автор, профессор кэмбриджского университета Лаутерпахт, крупный авторитет в науке международного права, думает больше о будущем — предлагает и обосновывает Международный Билль о правах человека, о котором и до него говорили, но лишь в самых общих чертах.

Аскаратэ отказывается философствовать о проблеме меньшинств. Он даже не скрывает своей неуверенности в том, что эта проблема вообще может быть разрешена, на подобие физической или математической проблемы. Он предпочитает поделиться своим «опытом», «впечатлениями», «чувствованиями», как материалом для будущих попыток урегулировать этот болезненный вопрос. Эта скромная задача заслуживает всякого внимания и признания. Но, к сожалению, автор очень съузил и ее. И после прочтения его книги мало что становится известным из той «секретной дипломатии», которую вели различные органы Лиги Наций в целях улажения споров и конфликтов, возникавших в связи с «гарантией» прав меньшинств, возложенной на Лигу Наций.

Никто не усомнится в «добрых намерениях» Аскаратэ, в его желании сохранить беспристрастие. Но так вышло, что он оказывается почти всегда безоговорочным адвокатом былой политики Лиги. За неудачу ответственны меньшинства, большею частью; правительства стран, в которых живут меньшинства; наконец, мировое общественное мнение, недостаточно интересовавшееся проблемами меньшинств (стр. 130), — но никак не аппарат Лиги Наций и выработанная им процедура защиты меньшинств. В некоторых случаях автор не только глубоко заблуждается, но и явно несправедлив. Наиболее кричащим примером этого может служить его положительная оценка «мудрой политики» польских правителей в отношении к еврейскому меньшинству (34) и турецких — в отношении к армянам (55).

Аскаратэ не согласен ни с политическим подходом к решению споров о меньшинствах, — такой подход всегда пристрастен и связан с принуждением, — ни со строго юридическим подходом. Он сравнивает последний с практикой своего прославленного земляка

«рыцаря печального образа» Дон Кихота, который тоже хотел бороться за справедливое отношение к угнетенным и оскорбленным, а на деле только вредил окружающим. Аскаратэ высказывается в пользу «сверхнациональных», или международных методов воздействия против нарушителей права меньшинств. Но как этого достичь, избегая политического и юридического подхода, автор не объясняет. Мы склонны думать, что это и не может быть объяснено. Что же касается защищаемой Аскаратэ практики Лиги Наций по отношению к меньшинствам, то вряд ли подлежит спору, что оппортунистическая уступчивость в отношении к более сильным свила себе первоначально гнездо именно здесь, в обращении с правительствами, которые беззастенчиво нарушали свои обязательства перед меньшинствами: политика Мюнхена зачалась в Женеве.

«Международный Билль о правах человека» трактует тоже о правах меньшинств, но не в первую очередь, а лишь как об элементе более общей проблемы. Вся книга Лаутерпахта может быть рассматриваема как пространная объяснительная записка ученого и эксперта к выработанному им законопроекту.

Книга состоит из обширного введения, в котором мотивируется — исторически, сравнительно-юридически и морально-политически — необходимость признания естественных прав человека в м е ж д у н а р о д н о м порядке. В первой части говорится о первичных и общепризнанных правах человека: личной свободе, запрете рабства и принудительного труда, свободе религии, слова и мнения, союзов и собраний, неприкосновенности помещения и переписки, о равенстве перед законом, праве на гражданство, на эмиграцию и репатриацию. Вторая часть, статьи 10-14, включают более спорные политические, культурные, экономические и социальные права: право иметь правительство по собственному усмотрению, право сохранять свое культурное своеобразие, право на работу, на одинаковые условия для образования, на помощь в случае безработицы.

Отличие этой категории прав от предыдущей в том, что их, как правило, трудно охранять одними внутри-государственными средствами. Они требуют международного признания и защиты. Третья часть, ст. 16-20, предусматривает процедуру охраны изложенных прав: внутри-государственный порядок, перед обыкновенными и специальными судами, и порядок международный — перед Верховной Комиссией, которую должна создать Организация Объединенных Народов, перед Советом этой Организации и будущим Международным Судом.

Было бы ошибочно думать, что выработанный Билль утопичен или что автор не учитывает реальной обстановки. Обосновывая общие основы Билля и каждую из его 20 статей, автор отмечает, что он умышленно не включил ряд прав — по их спорности с общей

или практической точки зрения. Не приходится, однако, скрывать, что проект Лаутерпахта мало созвучен господствующим ныне общественным настроениям и политическому «климату». Билль о международных правах человека, помимо других своих достоинств, может стать как бы антитезой Сан-Франциской Хартии — регулятивом или программой, которую человечество вынуждено будет принять раньше или позже, если ему суждено жить под властью права, а не произвола и угрозы атомных бомб. Если бы билль полностью — и честно — был осуществлен, это было бы небывалой еще в истории подлинно-мировой социальной революцией.

Не можем не подчеркнуть специального значения, которое имеет заключительная глава книги Лаутерпахта — «Меньшинственные договоры в отношении к Биллю». В этой главе автор дает свое авторитетное заключение по вопросу, которому посвящена была нами подробная статья в № 9 «Нового Журнала», — отменяет ли билль о правах человека необходимость международной защиты меньшинств или нет? С большим удовлетворением можем отметить полное совпадение — иногда даже текстуальное — наших взглядов, хотя Лаутерпахт упомянутой статьи, конечно, не читал, когда заканчивал свою книгу.

Не вследствие этого случайного факта, однако, мы позволяем себе утверждать, что книга Лаутерпахта замечательна и переживет наше время. Она останется потому, что в ней подведен отчетливый итог прошлому: идеологическому противопоставлению прав человека правам государства, или индивида — обществу, и той реальной борьбы, которая стояла за идеологическими разногласиями на протяжении 700-летнего хода истории. Автор поставил себе и гораздо более трудное задание: дать практическую, ю р и д и ч е с к у ю формулировку началам, которые в течение веков провозглашались лишь отвлеченно, морально-политически. Для этого он должен был быть в одно и то же время и философом права, и историком, и политиком, и юристом. Проф. Лаутерпахт отлично справился с этой задачей, обнаружив солидные познания во всех этих областях.

Прошлое служило для него лесами и материалом для построения будущего. Он не умалчивает и не обходит трудностей, стоящих на пути осуществления Билля. В то же время он и не отступает, не капитулирует перед тем, что его взгляды несозвучны господствующим ныне оценкам. Из опыта прошлого Лаутерпахт не мог не вынести заключения, что неприемлемое сегодня очень легко становится необходимым и общепризнанным завтра. И мы можем лишь высказать пожелание, чтобы работа Лаутерпахта, незаменимая сегодня лишь для профессиональных юристов, в ближайшем же будущем сделалась настольной книгой и у политических и государственных деятелей.

М. Вишняк

Alexander BARMINE. One Who Survived, N. Y., Putnam, 1945. 337 pp. $3.75

Про книгу Бармина можно сказать, что она «читается как роман». Да и в содержании ее есть достаточно «романического». Но, конечно, не в этом ее главная ценность. Она важна и интересна прежде всего, как показание свидетеля — одного из немногих, которому судьба дала возможность рассказать внешнему миру о пережитом в Советской России. Как свидетельское показание, книга производит впечатление подлинности и достоверности, то есть отвечает тому основному требованию, которое к ней можно предъявить.

В ней пожалуй мало «нового» — в смысле сенсационных разоблачений или хотя бы в смысле сообщения неизвестных важных фактов. В основном она скорее подтверждает те общие представления, которые сложились у нас на основании ранее читанного и слышанного. Но она наполняет эти общие представления конкретным содержанием и тем самым не только подкрепляет их достоверность, но и делает их гораздо более живыми. Советская карьера автора обеспечила значительную широту круга его наблюдений: он служил и в Красной Армии, и как «хозяйственник», и как дипломат. Некоторые из занимаемых им постов были достаточно ответственными, чтобы позволить ему соприкасаться с верхами коммунистической партии и наблюдать работу советской государственной машины в самом ее центре. Все это увеличивает ценность его показаний.

Трудно дать в этой небольшой заметке сколько-нибудь исчерпывающий перечень богатого содержания книги, и придется ограничиться лишь некоторыми примерами. Очаровательны по своей красочности и пикантности главы 14-15, в которых рассказывается о том, как советизировалась Бухара. Главы о пребывании автора консулом в северной Персии (в Гилене) сейчас приобрели особую злободневность: автор показывает, как несмотря на официальный отказ от экстратерриториальных прав и концессий, советская политика в Персии на деле была направлена к созданию русской сферы влияния; договор 1921 г. фактически не исполнялся. Из рассказов автора о внутри-партийной борьбе после смерти Ленина ясно, как мало был тогда известен Сталин в партийных кругах и как неожиданно — по крайней мере для молодых коммунистов — было его возвышение. Очень ярко изображена в книге бюрократическая централизация, воцарившаяся в советской государственной машине в сталинскую эпоху. Приходится удивляться тому, какие технические мелочи обсуждаются иной раз в Политбюро и решаются самим Сталиным (главы 28-29). Драматичны главы, посвященные убийству Кирова (автор изображает его, как сторонника более либерального режима,

и говорит об его огромной популярности в партии) и последовавшим чисткам. Интересны подробности, связанные с выборами 1937 г. (по новой конституции): многие из первоначально намеченных кандидатов были вычищены и имена их на избирательных бюллетенях в последнюю минуту были заменены новыми; другие были вычищены уже после избрания, но еще до созыва сессии Верховного Совета; и наконец позднее, в промежутке между двумя сессиями высокого учреждения, около четверти народных избранников были устранены, причем таинственно исчезли и несколько членов президиума!

Рост внутри-партийного террора и явился одним из двух факторов, побудивших автора в конце концов порвать с советским режимом и стать невозвращенцем. Другим, повидимому, было соприкосновение с западным миром, с его соблазном личной свободы. Но, порывая с режимом Сталина, автор сохранил несколько романтическое отношение к более ранним годам большевистской революции. Россию Ленина он явно идеализирует. Он находит возможным сказать о самом Ленине, что тому была совершенно чужда жажда личной власти. Он сильно преувеличивает размеры «свободы высказывания», которой в ленинские времена якобы могли пользоваться меньшевики и другие оппозиционеры. И он так же преувеличивает, когда говорит о «богатой и бесконечно экспериментальной умственной жизни» в России в эпоху Нэпа. Чувствуется, что ему не хватает здесь мерила для сравнения — сравнения не только с тем, что последовало, но и с тем, что предшествовало. Поразительно, до какой степени опыт до-революционной России не существует для автора. Это конечно можно объяснить особенностями личной его биографии. Но странно, что и его заграничный опыт не отразился на той оценке, которую от дает раннему периоду советского режима. Это тем более странно, что в своем заключении он выступает сторонником хозяйственной системы, построенной на началах частного предпринимательства. Получается несколько причудливое сочетание защиты капитализма с романтически окрашенными воспоминаниями о «героическом периоде» большевистской революции.

М. К.

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Литературно-политическое издание, выходящее раз в три месяца.

●

Цена одной книги по предварительной подписке 2 доллара; цена двух книг — 4 доллара; цена трех книг — 5 долларов. В розничной продаже книга стоит 2 доллара 25 центов.

●

Адрес редакции:

Mrs. M. Zetlin, 112 W. 72nd Street, New York, N. Y.

Tel: ENdicott 2-9893

Там же принимается подписка.